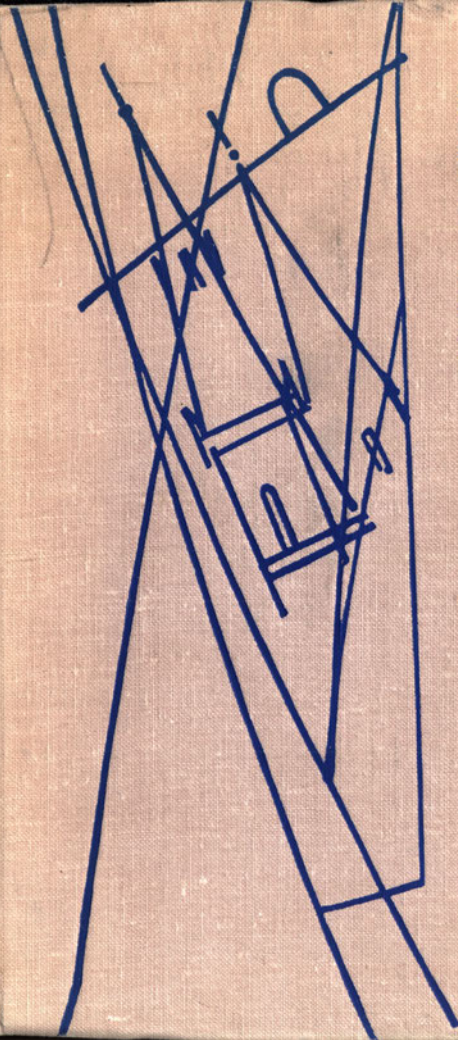


ТОМАС • БЕЗ НАСТАВНИКА • ВАЛЕНТИН



ТОМАС ВАЛЕНТИН

БЕЗ НАСТАВНИКА

1932 год.

МОЛОДАЯ ТЕАТРА



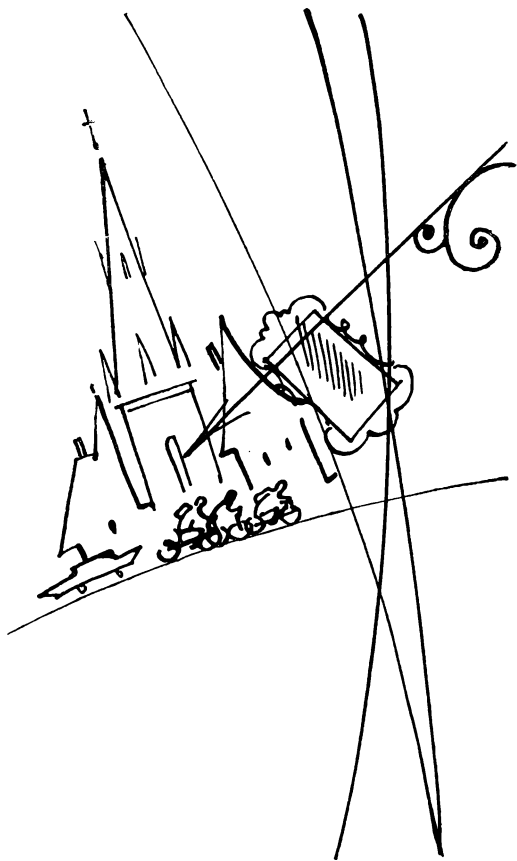






ТОМАС  
ВАЛЕНТИН

## БЕЗ НАСТАВНИКА



ТОМАС ВАЛЕНТИН

РОМАН

**БЕЗ НАСТАВНИКА**

Перевод с немецкого

Издательство ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия». 1969

**И  
В15**

# **Thomas Valentin**

## **Die Unberatenen**

**Перевод И. Млечиной и С. Шлапоберской**  
**Предисловие И. Млечиной**  
**Художник Н. Кузнецов**

*Валентин Томас*

БЕЗ НАСТАВНИКА. Роман. Пер. с нем. И. Млечиной и С. Шлапоберской, 1969.  
304 с.

Редактор *Л. Васильева*

Художественный редактор *А. Степанова*

Технический редактор *В. Майоров*

Сдано в набор 27/IX 1968 г. Подписано к печати 28/1 1969 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Печ. л. 9,5 (усл. 15,96). Уч.-изд. л. 16,7. Тираж 65 000 экз. Цена 1 р. 02 к. Т. П. 1968 г., № 408. Заказ 1695.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сушеская, 21.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Студенческие волнения прочно вписались в картину современной общественной жизни ФРГ. Уличные демонстрации, митинги, манифестации в университетских аудиториях, схватки с вооруженной полицией, аресты, пущенные в ход дубинки и водометы — все это стало характерной приметой политической ситуации в стране. Убийство полицией студента Бенно Онезорга в Западном Берлине, которое известный писатель Генрих Бёль расценил как «чудовищный случай публичного преступления, содеянного государственной властью», и покушение на лидера левого студенческого движения Руди Дучке, в которого стрелял профашистски настроенный молодчик, стали кульминационным пунктом этих событий, отразивших глубокий конфликт между западногерманской молодежью и обществом, в котором она живет.

«Сегодня важнее всего осознание того факта, что между активным, способным, все понимающим меньшинством молодой интеллигенции и государством, всем обществом существует непреодолимая пропасть», — писала газета «Крист унд вельт». А журнал «Дер монат» так комментировал события: «Большая и, вероятно, самая важная часть молодого поколения отчужденно относится к этому государству и этому обществу... Молодежь восстает, потому что видит фальшь гладких и блестящих фасадов, несовершенство того, что старшие поколения выдают ей за образцовый порядок...»

Впервые за многие десятилетия германской истории студенчество выступило с прогрессивными социальными и политическими требованиями. Это больше всего насторожило и испугало бюргера, привыкшего к тому, что «бурши» всегда были оплотом консервативных сил, реакционных режимов.

Шумная, вызывающе одетая — тоже в пике бюргерской солидности — молодежь западногерманских и западберлинских высших учебных заведений вышла на улицы. Вышла, чтобы протестовать против чрезвычайных законов, против усиливающегося влияния неонацистской партии, против воинствующего антикоммунизма, который годами навязывался в качестве официальной государственной доктрины, против «непреодоленного прошлого», воплотившегося для молодых немцев в поколении отцов. Вышла, чтобы сказать «нет» обществу «всеобщего процветания».

Размышляя над студенческими выступлениями, потрясшими страну, писатель Гюнтер Хербургер в статье «Банкротство отцов» говорил о причинах этого движения: «Молодежь, которая ищет примеров для подражания, чувствует себя обманутой. Германское го-

сударство было побеждено в 1945 году. Никогда больше не обладать оружием, говорилось тогда, быть нейтральными... Вместо этого у нас снова армия, мы в НАТО, многие из тех, кто в нацистские времена занимал руководящие посты, снова в партиях, правительстве, снова у власти... Молодые люди, которым нужны ясные ориентиры, становятся недоверчивыми...»

Роман Томаса Валентина «Без наставника» вышел в 1963 году. Он словно предваряет бурные эпизоды последних лет и многое в них объясняет. Эта книга обнажает самые корни спора между поколениями в ФРГ, раскрывает причины глубокой неудовлетворенности молодежи, повествует о ее попытках обрести духовную самостоятельность. Роман Томаса Валентина — повествование о жизни школы, в которой отразились противоречия современной западногерманской действительности с ее внешним процветанием, скрывающим тяжелую и затяжную внутреннюю болезнь. Не случайно западногерманская критика оценила роман как «беспощадное разоблачение и обвинение», как «анализ» состояния общества, констатирующий его «дряхлость и упадок».

Автор пишет о предмете, который ему знаком в мельчайших деталях. Он бывший учитель, после войны пятнадцать лет проработал в школе, отлично знает ее проблемы. Школа и школьники дали ему первый и самый важный материал для писательского творчества. Романы «Ад для детей» и «Преследование», с которыми он выступил в начале шестидесятых годов, обратили на себя внимание западногерманских читателей и прессы, отметившей, что Томас Валентин — «один из наиболее значительных новых голосов» в литературе ФРГ. Рассказывают, что Герман Гессе, выдающийся мастер немецкой литературы XX столетия, на вопрос, кто из молодых писателей ему особенно близок, назвал Томаса Валентина.

Героям романа тягостно и одиноко — и дома и в школе. Они безуспешно пытаются найти ответ на вопросы жизненной важности, стремятся понять, для чего, во имя чего живут. Молодые люди томятся от сознания бесперспективности бытия в стране, где решающим оказываются не подлинные человеческие и гражданские доблести, а соблюдение казенных внешних приличий.

Восемнадцатилетний Йохен Руль активнее других протестует против мира взрослых — мира фальши, убожества мысли, политического приспособленчества. Юноша восстает против системы воспитания, преследующей одну правильно разгаданную им цель: пополнить ряды преуспевающих, ряды благополучных прагматиков, первоклассных потребителей, первоклассных делателей денег, безотказных и покорных избирателей.

Руль не теряет надежды всколыхнуть стоячую воду, пробудить дремлющую совесть учителей. Но напрасно он и его друзья апеллируют к взрослым, ждут ответа. Их не слышат: все кругом словно оглохло. И молодые люди вновь — в который раз — приходят к горестному убеждению, что они — поколение, оставшееся без наставника.

И в самом деле: можно ли считать подлинными наставниками молодежи людей, которые в силу традиций или предрассудков, собственной трусости или обывательской апатии уходят от ответа и ответственности, уклоняются от прямого разговора и даже созна-



тельно дезориентируют своих воспитанников? Юность поколения отцов была отмечена зловещей тиранией нацизма. Теперь поколению, духовно искалеченному лживыми и жестокими наставниками, доверено калечить души новых поколений. Этот чудовищный парадокс становится одним из главных мотивов в романе Томаса Валентина.

Тема отцов и детей обретает в книге чрезвычайно актуальный смысл. Переключаясь с сегодняшними событиями в Западной Германии, она звучит с какой-то пронзительной силой. «Отцам», в сущности, глубоко безразличны судьбы подопечных, для многих учителей их ученики — просто «оловянные солдатик», или «нравственно неполноценные пигмеи», или заклятые враги. Между ними стена непонимания, взаимной ненависти, глухой вражды...

Самые разнообразные средства художественного отображения словно мобилизованы автором по сигналу тревоги, тревоги сердца и совести, чтобы всколыхнуть душу читателя, заставить задуматься над происходящим.

Томас Валентин прибегает к распространенной в западной литературе технике монтажа: отдельные эпизоды из жизни школы чередуются с внутренними монологами героев, почти протокольной записью уроков, живым, выразительным диалогом, в котором использование «суперсовременных» выражений и жаргонизмов позволяет точнее воссоздать атмосферу школы. Разнообразные средства современного письма — внешне беспристрастная передача обрывков услышанных разговоров, невысказанных мыслей, сложные литературные и исторические ассоциации, чередование временных плоскостей, реминисценции, которые у западных художников нередко оказываются самоцелью, здесь органически и тонко вплетены в ткань повествования. Для автора все это способ углубленного проникновения в психологический мир персонажей.

Писатель использует тонкие и точные инструменты, чтобы отразить живую «связь времен», соотнесенность с прошлым. Без обращения к прошлому «отцов», без анализа их нравственной позиции в годы нацизма неполной была бы характеристика учителей, родителей. Во внутренних монологах, которые вмонтированы в повествование, обнажается подлинная сущность этих людей, раскрываются потайные пружины их поступков. И становится поистине страшно, когда оказываются сброшенными благообразные, надетые «для приличия» маски.

Томас Валентин не прибегает к «биологическому» или «психологическому» толкованию конфликта между поколениями, столь распространенному среди исследователей Запада, склонных интерпретировать эти противоречия как извечное и естественное состояние, коренящееся в самой природе человека. Писатель раскрывает социальный и политический характер столкновения между отцами и детьми. Молодежь вправе винить старших за позорное прошлое, за молчаливое соучастие в преступлениях перед человечеством.

В книге выражен суровый приговор поколению, которое «заварило кашу», предоставив молодежи «расхлебывать» ее, поколению, которое и поныне «торжественно хранит в шляпных картонках свои боевые кресты и медали».

Почти символический характер обретает в романе фигура немецкого учителя. Это тот самый учитель, который в свое время так преуспел, помогая Гитлеру готовить бездушных и бездумных солдат вермахта, самонадеянных «героев» 1939 и 1941 годов, мечтав-

ших покорить мир. А до этого прилежно растил пушечное мясо для германского кайзера, любовно пестовал тупого и самодовольного верноподданного. Гип, прозорливо угаданный в романах Томаса Манна «Будденброки», Генриха Манна «Учитель Гнус», Ремарка «На западном фронте без перемен». Томас Валентин продолжает традицию, добавляя новые четкие штрихи в эту зловещую картину.

Антигуманистический, фельдфебельский дух накрепко вшел в самые стены школы. И несколько честных, думающих учителей в силу своей идейной ограниченности не могут ничего этому противопоставить.

Учитель Грёневольд, которому больше других симпатизирует автор и доверяет Руль, находится в плену обывательских представлений о социалистических странах. Он сам признает, что не знает, где искать выход из «трагического тупика». В конце романа Грёневольд утверждает, что бороться за «справедливость, правду, свободу» надо «здесь», в Федеративной республике. Но слова остаются словами — несколькими страницами раньше Грёневольд сам признал свою слабость, свое бессилие, неумение и нежелание бороться.

Руль самостоятельно определяет для себя путь. В его решении бежать в Польшу сказывается и растущий интерес западногерманской молодежи к социалистическим странам. Герои романа много спорят и размышляют о судьбах своего народа, о прошлом и будущем страны. Мысленно они все чаще обращаются к другому германскому государству — Германской Демократической Республике, все чаще вовлекают ее в круг своих раздумий и споров. И хотя многие из молодых людей заражены предрассудками, а иные настроены откровенно враждебно — официальная пропаганда цепко держит в плену их сознание, — все же былой скептицизм по отношению к ГДР перестает быть ходовым товаром. Томас Валентин — один из немногих писателей Федеративной республики, который освещает эту проблему без предвзятости. Не случайно роман «Без наставника» был издан в ГДР и получил там положительный отклик.

В статье, которая цитировалась выше, Гюнтер Хербургер пишет: «То, что молодежь слышит от многих политиков и учителей, часто находится в полном противоречии с действительностью. Молодые люди потеряли доверие... Они испытывают сверлящую потребность в правде...»

Эти слова очень живо перекликаются с идеей романа. «Сверлящая потребность в правде» — главное, что характеризует героев книги, их первая и самая важная гражданская добродетель.

*И. МЛЕЧИНА*

## ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

### Учащиеся:

Руль — Фавн.  
Затемин — Лумумба.  
Шанко — Дин<sup>1</sup>.  
Клаусен — Пий.  
Адлум — Лорд.  
Мицкат — Джонни.  
Курафейский — Анти.  
Гукке — Бэби.  
Муль — Трепло.  
Тиц — Капоне.  
Фарвик — Дали.  
Петри — Пигаль.  
Нусбаум — Ча-ча.

### Учителя:

Гнуц — Дуболом.  
Випенкaten — Медуза.  
Грёневольд — Ребе.  
Д-р Немитц — Пижон.  
Криспенховен — Попс.  
Виолат — Брассанс.  
Нонненрот — Буйвол.  
Хюбенталь — Факир.  
Годелунд — Рохля.  
Куддевёрде — Нуль.  
Харрах — Рюбецаль.

Бекман — Забулдыга (дворник),  
а также семьи, друзья и подруги.

---

<sup>1</sup> Известный английский футболист. (Здесь и далее прим. перев.)



*...ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы.*

Ф. Достоевский

# I

Серая коробка из стекла и бетона, втиснутая в базальтовую ограду, ждет сигнала тревоги.

Мимо длинного ряда домов, пестрящих рекламой, сквозь марево холодного рассвета, погромыхая, ползет к вокзалу почтовый поезд.

Дымчатый щенок беззаботно носится среди мусорных корзин.

Небо гудит от колокольного звона — густого, тяжелого, властного: кафедральный собор, церковь Сердца Иисусова, лютеранская церковь, Богоматерь-заступница.

И вдруг стеклянная клетка школы вспыхивает огнями: яркие лучи рассекают двор на сотни золотисто-черных ромбов.

На всех этажах петухами заливаются звонки.

Без четверти восемь.



Д-р Немитц вышел, толкнув стеклянную дверь, сложил расписание уроков, сунул его в нагрудный карман позади очешника, подышал на заочеченевшие пальцы, развернул газету, начал читать. Вынырнув из-за угла, в ворота городской средней школы № 3 въезжал на велосипедах головной отряд учащихся — заспанных, озябших, зеленых от никотина. Колеса скрипели по сухому шлаку, скрежетали тормоза, глухо стучали шины об пол сарая.

Д-р Немитц свернул газету, поглядел на свои наручные часы, спустился по ступенькам подъезда на школьный двор. Он вбирал в себя приветствия — угрюмые, почтительные, бодрые, злобные; отвечал короткими, хотя и дружелюбными, кивками налево, направо; потом побрел наискосок к глухому углу двора, постанывая чуть слышно: «О Фортуна!»

Когда он достиг дальнего угла — без пяти минут восемь, — в узкое пространство между зданием и оградой влился основной поток учащихся — бурливый, рокочущий, шумный.

Д-р Немитц плавно повернулся, поднял меховой воротник, натянул на уши берет и вразвалку побрел обратно, взошел по ступеням подъезда и воздвигся — насмешливо-снисходительный — над звонками, говором, свистом, нарастающим топотом. Обрывки фраз...

*...математику сделал never on «Боруссия» вот это кадр есть у тебя «Поларис» Хрущев уехал был спектакль читать франсэ а ты ездил у нее каждая по пуду здорово изголодался у тебя о'кэй по закону божьему шут с ним старик травит Джона слушай ведь в чистилище...*

Подкатил «190 Д» — Хюбенталь; «дофин» — Ноненрот; черный «фольксваген» — Кнеч; «ДКВ» — Гнуц; томатный «фольксваген» — Матушат; «фиат-600» — Виолат; песочный «фольксваген» — Матцольф; «фиат-500» — Гаммельби; «веспа» — Крюн и мотороллер — викарий. Куддеверде и Гodelунд вместе вышли из-за угла, пешком. Поклоны, рукопожатия, щелканье зажигалок; коллегияльность.

*...воскресенье хорошо проверял тетради мой ишиас этот Ульбрихт в концерт 6-го «Б» просто трагедия ваша супруга четыре верно Пикассо на зональную границу опять ваша барышня куда на пасху жалованье служащим это скандал Уве заработать свой хлеб...*

Бекман в сером халате вылез из дворницкой, поздоровался униженно, раболепно, не глядя в лицо. Д-р Немитц снисходительно улыбнулся, протянул ему руку, сделал знак дежурным, те уже дожидались на лестнице. Они ринулись в коридор, схватили ящики с бутылками — молоко и какао, потащили по классам, в двенадцать комнат.

Хрипло заверещал звонок, с точностью до секунды: восемь ноль-ноль. Бекман набросил крючок на дверь. Из вестибюля валила толпа — ученики, учителя, во главе — Гodelунд.

...на большой перемене надо будет позвонить архитектору. Сэкономлю двадцать пфеннигов. Он бессовестно мало занимается стройкой. Такие типы в заказах теперь не нуждаются. И еще эти семь процентов! Промышленники взвинчивают цены. Денег у них куры не клюют. Может быть, взять другого? Как фамилия того, молодого? Новомодные выкрутасы. На четыре-пять тысяч дороже. Не по карману. На восточной стороне еще один балкон, расстояние шесть метров. Верно ли это? Надо порасспросить. Они только и знают что болтать. И потом лестница слишком уж крутая. Марта стареет, да и я тоже! Поехать бы с нею в Вильдбад. Когда-то это стоило не так уж дорого. Касса не даст и пфеннига. Подать заявление о материальной помощи? Если не придется выкладывать еще. А здесь какие окна? Откидываются наружу. Конечно, это влетит в копеечку. Но все-таки можно осилить. Если бы только мальчик выдержал. Еще два-три семестра. Рената неплохо пристроилась. Такая блестящая партия! Может быть, удастся передать квартиру Немитцу. А во что обойдется свадьба? 6-й «Б», 6-й «Б», 6-й «Б», 6-й «Б»... Апостол Павел. Надо бы еще раз прочитать этого Швейцера.



Прошло добрых тридцать лет. Все руки не доходят. И Барта тоже. Куда только я его сунул? Так, дверь опять открыта. Конечно, это Мицкат...

— Доброе утро!

— Доброе утро, господин Гodelунд!

— В первый день недели мы споем с вами хором «Неисповедимы пути твои», строфы первая, шестая и двенадцатая, сочинение — чье сочинение, Петри?

— Пауля Герхардта!

— Верно!

В углу у окна Курафейский поднял руку.

— Как правильное сказать: «сочинение Пауля Герхардта» или «сочинено Паулем Герхардтом»?

— Или: «сочинил Пауль Герхардт»? — добавил Муль.

— Вас я не вызывал!

Гodelунд скользнул глазами по лицам обоих: они были непроницаемы, сосредоточенны, безмятежны.

— Это не имеет никакого значения, — сказал он и сел за электрическую фисгармонию.

— Я как-то читал в учебнике стилистики, что форма «сочинение Пауля Герхардта» — это очень дурной стиль.

Гodelунд заметил, что инструмент не включен в сеть, встал и подошел к розетке.

— В учебнике стилистики? — переспросил он, глядя снизу вверх.

— Да.

Гodelунд выпрямился и внимательно взглянул в лицо Курафейскому. Оно было по-прежнему непроницаемо, серьезно, сосредоточенно.

— Ну да, это нельзя назвать классически правильным языком, — сказал Гodelунд неуверенно и уступчиво, — но это укоренилось. Так сказать, узаконено привычкой. Обиходная речь.

Он опять сел за фисгармонию.

— А как должна звучать эта фраза на классически правильном языке? — спросил Курафейский.

— Герхардтово сочинение «Неисповедимы пути твои», — раздумчиво вставил Муль.

— И на сей раз я вас не вызывал, Муль! А теперь прекратим этот нелепый и в высшей степени бесплодный

спор. Начинаем петь! — Гodelунд уверенно ударил по клавишам.

Но уже в конце первой строфы фисгармония, всхлипнув, умолкла.

— Петри, сейчас же отдай мне записку!

Петри не колебался ни секунды.

Гodelунд поднял очки на лоб и прочел: «Один вопль из дудки Сэчмо стоит всей этой небесной жижицы!»

Гodelунд аккуратно сложил записку и спрятал ее в свой блокнот.

— Мы встретимся у Филипп<sup>1</sup>, дружок, — предрек он довольно мрачно. — Кроме того, я поручаю тебе протокол сегодняшнего урока.

— Должен ли я упомянуть об этом инциденте? — спросил Петри.

— Не прикидывайся глупее, чем ты есть. Нет, конечно, не должен. Иначе мне пришлось бы занести этот «инцидент» в классный журнал.

— О'кэй, — сказал Петри и сел на место.

— А теперь — шестую строфу!

Голос Гodelунда, исполненный твердой веры, звал за собой:

Надейся, грешный человек,  
Надейся и не падай духом...

...Пауля Герхардта? Паулем Герхардтом? Герхардтово? По мне, никакой разницы нет. Что им от меня надо? Часто я просто не понимаю, что им надо. Если хочешь контакта со своими учениками, овладей их языком — этим варварским и примитивным жаргоном нашего времени. Если хочешь сохранить их доверие! А этого ты хочешь. Сохранить? А разве ты им пользуешься?.. Прежде, бывало, кто-нибудь из учеников вечерами заходил ко мне домой — что-нибудь спросить или взять книгу. Тогда это временами даже раздражало; теперь никто не приходит. Ах нет, как же — Руллы! Странный парень. Кидается из одной крайности в другую и все чего-то ищет — чего же, собственно? Я и раньше-то не больно хорошо разбирался в людях! Может быть, Нонненрот и прав: «Болтун без тормозов!» Сэчмо — это тот

---

<sup>1</sup> То есть «придет час расплаты». В 42 году до н. э. у Филипп войска Антония и Октавиана разбили Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря.

самый негр с трубой. The king of jazz<sup>1</sup>. Слушать невозможно. Месть чернокожего. В 5-м «А», нет, это было здесь, в 6-м «Б», кто-то принес пластинку этого Армстронга. Религиозные песнопения. Spirituals. Ужас! Рычащая горилла! Уже двенадцать минут потеряно. Но разве я могу, разве имею право просто отмахнуться от их вопросов? Даже если это бред? Нет, только не на уроках закона божьего...

Годелунд захлопнул крышку фисгармонии и сел за первую парту — она была свободна. С минуту он раздумывал, не прочитать ли ему утреннюю молитву, но не стал.

— Мицкат, доложи нам о прошлом уроке закона божьего...

Мицкат перерыл три тетради, пока не нашел свою запись — истрепанный листок из блокнота.

— В начале урока закона божьего, в субботу, мы встали. Потом мы пропели песнь пятисотую...

— Песнь сто сорок вторую, Мицкат, сто сорок вторую!

— Извините, господин Годелунд, я точно не запомнил.

— Дальше!

— ...строфы первую, третью и девятую. После этого мы прочитали молитву. Псалом сто тридцатый. Наконец нам было разрешено сесть, и часть класса принялась делать уроки.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мы начали трудиться. Согласно изречению: «Молись и трудись».

— Мицкат, ваш тон мне давно уже не нравится! Дальше!

— Законоучитель начал что-то рассказывать о восточной церкви.

— Нет, Мицкат, не «что-то», извольте поточнее!

— О значении икон в восточной церкви.

— Наконец-то. Дальше!

— Преподаватель показал нам цветные открытки, которые он приобрел за собственные деньги, чтобы мы уяснили себе, как выглядят иконы. Кроме того, в Рек-

---

<sup>1</sup> Король джаза (англ.).

лингхаузене есть музей икон. Вдруг на задних скамьях кто-то пискнул. Все засмеялись. «Что вы опять хихикаете? Это я вас так насмешил или закон божий?» — спросил преподаватель.

— Мицкат, я уже не раз объяснял вам, что вашим жалким остромам в протоколе не место. Кроме того, я вряд ли мог выразиться так плоско, как вы мне приписываете.

— Стенограмма, господин Гodelунд. Когда мне приклепывают протокол урока, я стенографирую, чтобы получилось совсем live<sup>1</sup>.

— Совсем что?

— Live.

— Ладно, читай дальше!

— Расследование не привело ни к каким результатам, и после обычных наставлений преподаватель еще несколько минут сверлил нас своим стальным взглядом и...

— Мицкат, я не шутя требую, чтобы вы перестали нести этот неслыханный вздор и перешли, наконец, к делу!

— Мы узнали, что иконы — это изображения святых, на которые молятся люди, принадлежащие к восточной церкви. Затем мы узнали, что на пасху иконы заворачиваются в плат, где вышит возлюбленный господь наш Иисус...

— На котором вышит Иисус...

— ...на котором вышит Иисус. Христиане восточного блока...

— Восточного блока? Такого выражения, Мицкат, я в своей жизни не употреблял!

— Нет, но я полагал, что христиане восточного блока...

— Говори просто, не примешивая политику: люди, принадлежащие к восточной церкви.

— Люди, принадлежащие к восточной церкви, обожествляют иконы. Когда они молятся на свои иконы, они верят, что говорят с богом. Они пытаются подтвердить истинность своей веры цитатами из библии, которые нам зачитал наш преподаватель...

— Вы запомнили эти стихи из священного писания?

— Нет.

---

<sup>1</sup> Живо (англ.).

— Ага! Вот тут как раз и пригодилась бы ваша стенография! Это очень важная проблема. Дальше, пожалуйста!

— После этого преподаватель зачитал нам другие места из библии, где утверждается прямо противоположное.

— Прямо противоположное? Это в высшей степени неточно, Мицкат. Надо говорить: где доказывается, что их воззрения ложны. Дальше!

— Затем, как из года в год, преподаватель стал спрашивать у нас песнь «Неисповедимы пути твои». Он начал с последних букв алфавита и заставлял каждого пропеть две строфы. Мой черед наступил на строфе седьмой, но пропеть ее я не сумел...

— Очень жаль, Мицкат, очень жаль!

— Потом мы читали библию. Послание апостола Павла к Филимону. На этот раз преподаватель начал с первых букв алфавита и заставлял каждого прочитать по складам два стиха. Дело в том, что мы пользовались переводом библии доктора Мартина Лютера, напечатанным таким шрифтом...

— Готическим шрифтом!

— ...напечатанным готическим шрифтом, которого мы не знаем.

— Что весьма достойно сожаления, Мицкат. И это в последнем классе немецкой школы!

— Но наш преподаватель познакомил нас и с современным переводом. Ничего современного я в нем не нашел. Такими словами не купишь теперь и дурака.

— Мицкат, я в последний раз призываю вас к порядку, но уже действительно в последний.

— В наши дни так никто не говорит. Правда, никто не говорит теперь и так, как Лютер, но пятьсот лет тому назад он просто выхватил эти слова у людей из рта. Наш преподаватель сообщил нам также, что перевод Лютера более возвышенный и образный, зато translation...

— Изложение...

— ...зато изложение господина Менге более точное.

— Филологически более точное, Мицкат, — вот что я сказал! Это вовсе не значит, что оно теологически точное. Заметьте себе разницу!

— Когда раздался звонок, мы опять встали. Молит-

ва. Преподаватель пожелал нам светлой радости в воскресенье, хотя было вовсе не рождество. Мы ему тоже.

— Садитесь, Мицкат. Не стыдно вам разыгрывать из себя классного шута? Но должен признать, что вы хоть слушали внимательно. Откройте еще раз ваши учебники на странице сто семьдесят первой, Новый завет, «Послание апостола Павла к Филимону». У меня есть подозрение, что кое-что из этого послания вам еще не совсем понятно. Хотя никто из вас — к сожалению, приходится повторять это снова и снова, — никто не задает мне вопросов! Ну-с, сегодня мы проработаем это краткое, но очень содержательное послание апостола Павла здесь, в классе. Прежде всего, кто был этот Филимон, к которому обращался апостол?

...Рохля опять ни черта не понял. Глаза ему засыпало, что ли? И в ушах пробки. Из Савла в Павла! Господи, он мелет уже целых двадцать пять минут! А какой у нас следующий? Физика. Тут у меня порядок. Пятый урок рисование. Ча-ча мог бы одолжить мне рисунки Кики. С их помощью уже человек шесть заработали четверку. Шестой — франсэ. Тут дела похуже. Если Брассанс начнет спрашивать слова — я сел. Зараза этот Рохла, посадил меня за первую парту. Сейчас как раз зыркает в мою сторону. Ручки сложим, бог поможет! А послание-то вовсе не Павел сочинил. Онассий, нет, Онисим. Ну и имена были у этих парней! В следующий понедельник я пас. Хоть выплюсь по-человечески. Весь этот закон божий — ерунда. Рохла ничего не знает. А когда его о чем-нибудь спросишь, делает вид, будто ведет телерепортаж прямо с неба. Зацепить его, кто такой был Онан? «Наслаждение без раскаяния». Эти золотые рыбки таращат глаза, как шлюхи в окнах борделя. На днях Капоне пустил в террариум сероводород. Одна старая жаба подохла. Как Рохла ругался! Я и не думал, что он на это способен. Если разобраться, то он вполне подходящий современник. Крови не жаждет. У католиков новый викарий. Кажется, с головой. Они там говорили про Адольфа. Пристать мне к Рохле с вопросом, что опаснее — атомная бомба или сексбомба? Ага, уже трещит будильник! Что еще надо этому Анти...

— У меня есть еще вопрос, господин Гodelунд!

— Пожалуйста.

— Вот вы говорили о воскресении во плоти — как это можно себе представить? Допустим, что в году от рождения Христова шестьдесят таком-то на голову нам грохнется, скажем, атомная бомба: пятьсот мегапокойничков. Что же, все они так сразу и встанут по трубе архангела?

Гodelунд напряженно всматривался в лицо Курафейского. Оно было по-прежнему безмятежно, сосредоточенно, серьезно.

— И самое главное, как мы потом соберем свои кости, если нас всех разнесет на кусочки? — спросил Мицкат.

— Был звонок! — вмешался Адлум.

— Помолимся! — сказал Гodelунд.

— Отче наш, иже еси на небесех...

Нонненрот сидел в учительской, курил и читал футбольный журнал.

Гodelунд мелкими шажками прошел мимо него, широко распахнул окно и только тогда поздоровался с коллегой.

— Надеюсь, вы хорошо провели воскресенье! — Он пытался изобразить на лице улыбку.

Нонненрот оторвался от журнала и языком перебрал сигарету в другой угол рта.

— Эти дубины из клуба «Шальке» опять проиграли в Дортмунде! Ну и мазины! Привет, господин Гodelунд.

— Вот как? — сказал Гodelунд, обтирая салфеткой яблоко.

Нонненрот опять углубился в свой спортивный журнал.

— Позвольте вас спросить, сколько сигарет выкуриваете вы за день?

— Сорок!

— И вы находите, что это полезно?

— Нет, но и не так вредно, как женитьба!

Гodelунд улыбнулся кисло и снисходительно, подошел к умывальнику и принялся тщательно мыть руки. В дверь постучали.

Нонненрот поднял глаза, энергично потер себе нос и



снова уткнулся в журнал. Гodelунд неторопливо вытер руки, затем открыл дверь.

— Большое спасибо, коллега, — сказал входя Куддевёрде, — я не мог сам открыть: у меня руки заняты.

Он положил на свое место за общим столом стопку альбомов для рисования.

— Скажите, не знаете ли вы случайно художника по фамилии Руо, современного? — Куддевёрде четко выговорил фамилию.

— Француз?

— Да, Руо.

— Нет, не знаю, — ответил Гodelунд, просматривая план своего следующего урока.

— Тот, что рисовал рахитиков? — откликнулся Нонненрот.

— Это, видимо, религиозный художник, — сказал Куддевёрде и с надеждой взглянул на Гodelунда. — Он рисовал главным образом витражи для церквей.

Гodelунд открыл библию и стал перечитывать какое-то место.

— У него все святые — яйцеголовые рахитики, если это тот, которого я имею в виду, — добавил Нонненрот. — Гибрид архангела Гавриила с товарищем Периклом.

— Этот художник жив? — спросил Гodelунд.

— Понятия не имею. И нисколько не интересуюсь. Спросите коллегу Немитца. Ведь он у нас дока по части этой современной дребедени.

— Я думаю, вы путаете Руо с кем-то еще, — усомнился Куддевёрде. — Фарвик из шестого «Б» принес мне несколько репродукций. Мне они показались совсем неплохими.

— Ну, конечно, Фарвик, кто же еще. Лучше бы этот заумный питомец муз подучил биологию. Путает хромосомы с гонококками.

Звонок возвестил конец пятиминутной перемены. Гodelунд аккуратно уложил в портфель библию, учебник и свои записи и направился в класс. Спор о Руо тем временем продолжался.

В коридоре стояли Кнеч и Криспенховен и смотрели, как Хюбенталь рисует на запотевшем стекле схему атомного реактора.

— Прихватите меня с собой, дорогой коллега! — воскликнул Хюбенталь, когда Гodelунд, сдержанно

улыбаясь, мелкими шажками прошел мимо них по коридору. — «И мой путь ведет в катакомбы!» Физика в шестом «Б».

Годелунд слегка замедлил шаг, пока Хюбенталь не поравнялся с ним.

— Доброе утро! — Он вяло ответил на пожатие Хюбенталья. — Мне в четвертый «Б». Был бы рад узнать, что вы хорошо провели воскресенье.

— Спасибо! Провел, как обычно. Опять ездил с мамой до зональной границы. Новый «190 Д» покрывает это расстояние за какой-нибудь час. А расстояние немалое — километров сто двадцать.

— Сигарета есть?

— Старик, подожди хоть до большой перемены!

— Во дворе, что ли, дымить!

— Можно пойти в сортир!

— Да брось! Давай!

— Бери, так и быть. Тут всего две. Одну оставь мне!

— Наверх пойдешь?

— Вон<sup>1</sup>. Трепло, Пигаль и Бэби уже там.

Мицкат и Шанко стремглав промчались по свежешкрашенному коридору, состроив гримасы Харра-ху — тот был дежурным учителем и стоял у окна, к ним спиной. Мицкат извлек из кармана ключ, открыл дверь на чердак, запер ее за собой. Они медленно взобрались по неосвященной чердачной лестнице.

— Пароль, товарищи?

Голоса стоявших наверху гудели, как саксофоны.

— Ротхендле!

— Добро пожаловать, товарищи! Милости просим в курилку славного шестого «Б»!

Мицкат и Шанко подсели к остальным на цементный пол возле батареи и закурили.

— «Ротхендле» — сигарета работаг! — сказал Петри и опустил глаза на свои бейсбольные ботинки.

— А также снобов.

— «Ротхендле» — ладан для Федеративной республики!

— «Ротхендле» — курево униженных и оскорбленных.

---

<sup>1</sup> Ладно (франц.).

— И бродяг.  
— И маленького человека.  
— Трепло, ты острил и получишь!  
— Да перестаньте вы, — заворчал Адлум. —  
Еще рано состязаться в остроумии. Кроме того, скоро  
будет звонок.

— Но помочиться-то человек имеет право!  
Затяжки становились глубже и чаще. Под низкой  
шиферной кровлей висел дым.

— Рохля сегодня опять был как вяленая рыба, —  
сказал Нусбаум и зевнул во весь рот.

— Анти здорово его поддел!

— Анти? Ну, где ему.

— Зато он так считает.

— Страшно интересно.

— Во всяком случае, Рохля — набожный болван, —  
сказал Шанко.

— Старик, закон божий — это ведь горький хлеб.

— Рохля делает, что может. А может он мало.

Муль встал и носком ботинка погасил свой окурок.

— Церковь — величайший театр мира, — с важно-  
стью сказал он.

— Ерунда на постном масле!

— Слушай, в воскресенье мне пришлось-таки с моей  
мамой подать в храм. Причастие и тому подобные  
штучки. Думаешь, хоть кто-нибудь следил за службой?  
Кроме меня, ни один человек. Остальные набожно кле-  
вали носом или глазели на баб. Противно вспомнить!  
Я ловил каждое слово священника. Ведь удовольствие  
то дешевое. Лекция с музыкой да еще глоток вина  
в придачу — и все задаром. И все-таки это халтура.  
В этой лавочке сам преподобный отец не верит в то,  
что он нам преподносит. Кому нужна теперь вся эта бе-  
либерда — голуби с изречениями в клюве и тому по-  
добное? Наши братья на Востоке тоже еще не отдела-  
лись от этого, разве что...

— Заткнись, Трепло, ты в этом ни черта не смыс-  
лишь!

— Но вы-то, католики! У вас ведь прямой провод  
к самому небесному боссу.

— В таком тоне я с тобой разговаривать не буду.

— Демократия! У нас демократия. Дай ему выска-  
заться.

— Пий, старина, не строй из себя дурака! Подумай

хоть пять минут обо всем этом цирке — и ты сам потащишь свой нимб к старьевщику! Неужели ты можешь всерьез сказать, что в наше время найдется человек — если только башка у него не набита опилками, — который еще способен верить в святого духа и в эту вашу деву Марию? Известно ведь, что ее обрюхатил какой-то GI<sup>1</sup>. Римский легионер по имени... ну, как его?.. Пант... Забыл! Завтра я тебе скажу точно.

— Меня это не интересует, — сказал Клаусен, пытаясь в потемках разглядеть время на своих наручных часах. — Ты свинья, Трепло, и потому для тебя весь мир — сплошной свинарник.

— Бросьте вы эту вашу позднехристианскую дискуссию. По-моему, гораздо важнее вот что: кто из вас слушал вчера радио Восточной зоны? — спросил За-темин.

— Брехунец? Еще чего! Лучше уж списывать сортирные стишки.

— А тебе не вредно бы разок послушать, товарищ. Сэкономить деньги на репетитора по истории Германии!

— Интересно, что за песенку крутят теперь наши восточные братья на своей пропагандистской шарманке?

— Все ту же, красную.

— Там показывают неплохую передвижную выставку, уважаемые господа справа! Хорошенькие документки по делу Глобке и К<sup>о</sup>.

— Старые басни!

— И насквозь тухлые!

— Я тоже про это слышал. А знаешь, если хоть четверть из того, что они там говорят, правда, выходит, в нашем западном раю что-то прогнило. Прогнило до костей.

— А ты только сейчас заметил?

— Ехал бы ты обратно, Лумумба!

— Qui sait, qui sait<sup>2</sup>.

— До тринадцатого августа ты бы мог встретить на дороге не одну тысячу беженцев.

— Может быть, ты найдешь возле стены или в колючей проволоке еще парочку беглецов, которых подстрелили твои «товарищи»!

— Паршивая штука эта стена!

---

<sup>1</sup> Government Issue — казенного образца (англ.); жаргонное наименование американского солдата.

<sup>2</sup> Кто знает, кто знает (франц.).

- А кто ее построил?
- А кто заставил ее построить?
- Пошел вон!
- Коммунист!
- Народ ландскнехтов и мучителей!
- Спроси как-нибудь Ребе, что он об этом думает, — посоветовал Адлум.
- И спрошу, — сказал Затемин.
- По-моему, его цвет — розовый.
- И твой тоже. Верно, Дин?
- Ты про кого? Про Ребе?
- Вот тут ты и промахнулся!
- Красный цвет — гарантия на будущее. У этого еврейчика губа не дура.
- И вовсе он не еврейчик.
- Кто, Ребе? Скажешь тоже. Носище, как у пророка Аввакума.
- Вы, черти, уже восемь минут десятого! — закричал Петри и кинулся к лестнице.
- Без паники! Факир всегда на десять минут опаздывает.
- Ребята, делаем вид, будто только что опорожнили свой мочевой пузырь, — посоветовал Мицкат, кубарем скатываясь по лестнице.
- Кому дать мятные таблетки?
- Атас, Факир!

...горемыка этот Гodelунд. Никаких радостей в жизни. Жена и дети сосут его, как пиявки. Ну, зато он чист душой и уповает на бога. Много от этого толку! Где ключ от уборной? Вот он. Если ввинтить в эпидиаскоп цветное стекло, получится движущееся изображение. Хорошая идея. И ее можно осуществить с помощью обычного маленького электромотора. Блестящая идея. Сейчас же подать заявку на патент. Пока кто-нибудь не опередил. Наверняка уже кто-нибудь выскочил.

Какой-нибудь паршивый американец. Сколько они перехватили у нас патентов! А с ними — и денег без счета. И все же у них там учитель начальной школы может со временем стать профессором Гарвардского университета, если у него есть мозги. А у нас? Ты пришишь к месту до пенсионного возраста. Я и сегодня уже точно знаю, сколько буду зарабатывать через десять и

сколько через двадцать лет. Столько же, сколько Кнеч, Куддеверде или тот же Гodelунд, а ведь это ничтоже-ства! В то время, как мне ничего не стоит получить доктора. Черт с ним! Что тут на днях изрек этот остряк Нонненрот? «Если тебе не по зубам то, что ты любишь, люби то, что тебе по зубам». Надо будет рассказать Хельге. Нет, лучше не стоит. Она в последнее время такая раздражительная. Критический возраст. А может быть, она с тобой не так уж безумно счастлива? Ерунда. Что мне нужно — это новый цветной объектив, Ф: 1,9/50 мм. И автоматическое включение диакопа. Дорогая штука. Будь у меня дети, я бы не мог всего этого себе позволить — лабораторию, новую машину, камеры. При таком-то жалованье! Радуйся, что у тебя их нет! В наше мерзкое время плодить детей — нет уж! Чтобы снова заселить Хиросиму, Берлин или Дрезден для новой атомной бомбы? Для этого надо быть сверх-оптимистом. Но что же делать с Хельгой? На пасхальные каникулы съездить с ней в Гарц? Но без цветного объектива в Гарц ехать незачем. Стоп, у нас в 3-м «Б» есть Крауке — фотомагазин. Поговорить с папашей: у парня дела плохие, Криспенховен ставит ему одни двойки. Можно будет дать ему несколько дополнительных уроков по математике — и все в порядке. Рука руку моет. 6-й «Б», эта шпана опять запустила проигрыватель, но они хоть интересуются техникой...

— Здравсьте, ребята!

— Здравсьте, господин Хюбенталь.

— Садитесь.

Муль остался стоять.

— Господин Хюбенталь, я забыл свой протокол.

— Забыл?

— Да.

— Забыл составить или забыл принести?

— Забыл составить.

— Ну, это по крайней мере честно. На следующем уроке физики ты сделаешь сообщение — ну, скажем, об индуктивном напряжении. Понял?

— Да.

Затемин поднял руку.

— Скажите, господин Хюбенталь, что, инструкция не задавать уроков на понедельник еще не отменена?

Хюбенталь довольно усмехнулся.

— Ах, уж этот мне господин Затеми́н! Как он всегда хорошо информирован! Обо всем, кроме домашних заданий. Нет, Затеми́н, эта инструкция еще не отменена. Кстати говоря, лично я считаю эту инструкцию дурацкой, но так уж решили господа чиновники, и я подчиняюсь. Подчиняюсь этому филантропическому установлению, вот почему вам еще ни разу — чего вы, по-видимому, даже не заметили — не приходилось выполнять к понедельнику мои задания. Подтверждаю это снова со всей определенностью. Я выслушиваю по понедельникам лишь ваши, так сказать, добровольные сообщения для пополнения счета — вашего, не моего!

— Ха-ха-ха!

— Благодарю за аплодисменты. Итак, предложение принято единогласно. Гукке, читай.

Затеми́н сел на свое место и принялся демонстративно что-то записывать в блокнот.

— Можно отсюда? — спросил Гукке.

— Стань перед классом! Покажи-ка свою тетрадь! Действительно, твоя. Ну и мазня — будто пьяная швабра прогулялась! Читай.

— «Трансформатор состоит из двух соединенных между собой катушек, первичной и вторичной, и железного сердечника...»

— Иди к доске и нарисуй трансформатор звонка.

Гукке замешкался, стал перебирать мелки.

Нусбаум раскрыл под партой учебник физики и, спрятавшись за спину Мицката, выставил книгу перед Гукке. Тот начал рисовать.

...опасный парень этот Затеми́н. Беженец из Восточной зоны, к тому же еще из Саксонии. Если смотреть просто по-человечески, могут быть, конечно, и трагические случаи, но в общей массе... Каждый такой беженец приносит с собой мириады коммунистических бактерий. Каждый. Даже если там он считался противником режима. Якобы считался. Это переносчик заразы. Его отец как будто снова в Хемнице, в так называемом Карл-Маркс-Штадте! После того, как здесь он потерпел крах! И остался должен семьдесят тысяч — наших денег! А об этом даже нельзя сказать вслух. Хотел бы я знать, что бы сделали с нами, если бы нам пришлось бежать



отсюда, с Запада, в Верхнюю Силезию, к этим полячишкам? Подумать страшно. Ясное дело, парень где-то пронюхал, что я служил в СС. Нынче все знают всё, что им совсем не нужно знать. Демократия: раззвонить во все колокола то, что должно храниться в строгой тайне. Взять хотя бы Америку. Русские оказались куда хитрее. Мыс Канаверал. Неудача за неудачей. В школе то же самое. Школьная демократия — это просто свистопляска! Импорт из США! Одно надо сказать: при Адольфе дисциплина была образцовая. А теперь: родительская опека, совет учащихся и прочие церемонии. За каждую оплеуху могут притянуть к ответу. Каждая контрольная, каждый кол — юридически оспоримы. А государство даже и не думает защищать своих служащих. Оно играет в демократию, а внакладе остаемся мы. Авторитет летит ко всем чертям. Как у Гodelунда, Куддеверде, Кнеча. Вся эта юная банда вьет из них веревки. А когда кто-то начинает мести железной метлой, собственное правительство ставит ему палки в колеса. Счастье еще, что как воспитатель я не знаю никаких трудностей. Этого только не хватало. За этим Затемином надо будет последить. И за Шанко, за Мицкатом. За Курафейским — тоже. Стоит мне только услышать эти фамилии...

— Похоже на упитанный коровий зад, но все-таки кое-что. Теперь скажи-ка мне, Гукке, где ты впервые в жизни столкнулся с трансформатором?

— В коридоре — звонок.

— Так-то оно так, но тогда ты еще вряд ли мог до него дотянуться. Вместе с тем, как мне представляется, твои родители в своей неизреченной доброте подарили тебе на рождество — ну, Гукке?

— Электрическую железную дорогу!

— Совершенно верно! Еще один-единственный вопрос — и ты спасен. Нельзя сказать, что физика — твоё хобби, а?

— Нельзя.

— Это заметно, Гукке, и как еще заметно. Так вот: как относится напряжение в трансформаторе к числу витков?

Нусбаум придвинул учебник ближе к Гукке и постукал линейкой по формуле, напечатанной жирным шрифтом. Но Гукке был близорукий.

— Не знаю я, — обиженно буркнул он.

— Прискорбно, Гукке! Ну, может быть, ты по крайней мере знаешь, как грузят уголь, — на всякий случай. Садись!

Хюбенталь взял кусок красного мела, стал спиной к доске и с ошеломляющей быстротой начал писать какую-то бесконечную формулу.

— После того как мы без особого успеха столько времени занимались слаборазвитыми народами, — весело сказал он, — вот несколько лакомых кусочков для немногих присутствующих здесь представителей просвещенного человечества. Универсальное уравнение Гейзенберга. Ну, кто хочет взять слово по этому поводу? Ты, Гукке, вряд ли?

...Вот издевательство. Подлое издевательство! Знает ведь, гад, что никто из нас не понимает, что он там наколдовал на доске. Универсальное уравнение Гейзенберга! Хотел бы я знать, существует ли оно вообще. Не можем даже проверить. Разве что Анти мог бы. Пожалуй. Надо его спросить. Один все-таки нашелся. Один-единственный. А нас двадцать человек. Для чего же мы выбирали Рулля старостой? Он должен бы сейчас поднять руку, встать и заявить: «Вето!» А он сидит, уткнувшись носом в стол, кропает свои афоризмы и знать ничего не знает. Трус! Нет, он вроде бы не трус. Никак его не раскушу. Факир кривляется, а Фавн играет в молчанку. Ча-ча мне хоть подсказывал. Правда, без толку. Эта двойка меня угробит! По математике, а теперь еще и по физике — все, я накрылся. Отец меня выгонит. Вчерашняя сцена у дверей спальни была ой-ой! Прямо не знаю, что я буду делать. «Выкину дармоеда на улицу, если он еще раз застрянет. Теперь уж можешь не сомневаться!» И все-таки, кроме отца, у меня никого нет. Если б он только знал! Что тогда? Не могу я ему этого сказать. Хорошо еще, что они опять спят вместе! Только это их и связывает. Мамаша бесится, что я вообще существую. Не будь меня, она могла бы дать деру. Я уже два года не слышал, чтобы она смеялась. У кого еще из нашего класса такая заваруха дома? Наверное, у Джонни. Надо слушать. Факир — коварный тип. Если он меня сейчас зацепит, а я не отвечу, больше он со мной во-

зиться не станет. У Дина вообще нет отца. И у Ча-ча тоже. Погибли или пропали без вести. Ну зато им хоть трястись не перед кем. И все же надо будет помириться с отцом. Если я следующую контрольную по математике напишу на тройку, Попс придирааться не станет. Он ничего парень. Ага, Фавн все-таки заговорил.

— Господин Хюбенталь, класс этого не понимает.

— Курафейский, это правда?

— Я не слушал, господин Хюбенталь.

Факир осклабился. Звонок. Стирает с доски. Аллилуйя!..

— Видели вы шведский фильм «Майн кампф»? — спросил Виолат, пытаясь открыть бутылку с аперитивом. — Сегодня его опять дают в учительском клубе.

— Нет, не видел. А надо?

— Стоит.

— У меня все это прошлое вот где сидит! — заявил Нонненрот.

— Я бы тоже сказал: что было, то миновало. Надо уметь подвести черту.

Харрах отсчитал свои эндокринные пилюли и проглотил их, запив соком черной смородины.

— «Хочешь жизнь прожить толково, прошлое отринь сурово!» — сказал Гёте, — процитировал д-р Немитц.

— Что для меня всего непонятней, так это почему мы, немцы, вечно копаемся в застарелой грязи, вместо того чтобы всецело посвятить себя будущему! Так что же обижаться, когда это делают русские или англичане? Хотя и у них тоже рыльце в пушку. Но мы-то, мы сами зачем гадим в собственном гнезде? Ни к чему это. По крайней мере я так считаю.

Хюбенталь достал из своего ящика музыкальную шкатулку размером не больше спичечной коробки.

Она заверещала: «Германия, Германия превыше всего».

Все засмеялись.

— Швейцарская прецизионная работа. Обошлась мне в тридцать марок.

— Какая прелесть! — воскликнул Матцольф. — Можно посмотреть?

— Ради бога!

— А режиссер этого фильма случайно не еврей? — спросил Нонненрот.

— Фильма «Майн кампф»?

— Да!

— Чего не знаю, того не знаю, — сказал д-р Немитц. — Попробуйте спросить коллегу Грёневольда.

Нонненрот осклабился.

— Он дежурит во дворе!

В дверь постучали. Д-р Немитц пошел открывать.

— Это для вас, господин Нонненрот, — сказал он и поставил на стол для заседаний, возле учителя биологии, большое чучело попугая.

— Я не хотел вмешиваться в ваш разговор, — сказал Гodelунд, — но и с христианской точки зрения подобное — как бы выразиться поточнее? — подобное нежелание простить вовсе не похвально.

— И тем не менее понятие «коллективная вина» было придумано человеком с вашего факультета, — съязвил Нонненрот.

— Неудачная формулировка.

Харрах оторвался от ученических тетрадей.

— Неудачная формулировка? Сказано более чем мягко, уважаемый коллега! Политический мазохизм — вот как бы я это назвал. Коллективная вина! Про себя могу сказать одно: я решительно никакой вины за собой не чувствую. И думаю, что так же обстоит дело с большинством нашей нации. С тем ее порядочным большинством, которое лишь выполняло свой проклятый долг, свою повинность.

— Не кипятись, Генрих, это вредно для твоей щитовидки, — сказал Нонненрот.

— А ваше мнение, господин викарий?

Викарий положил репродукции с изображениями святых в свой молитвенник.

— Я полагаю, что понятие «коллективная вина» часто толкуют превратно, — сказал он. — Не могу себе представить, чтобы досточтимый глава вашей церкви имел в виду какое-либо иное толкование этого понятия, кроме чисто теологического.

— Теперь совсем другой вопрос: вчера я смотрел этот фильм, к сожалению, вместе с женой, — сказал Гаммельби. — Насколько все это вообще соответствует действительности? Сегодня, слава богу, можно опять доискиваться исторической правды.

— Пока еще, — вставил Нонненрот.

Д-р Немитц подмигнул ему.

— Конечно, делались некоторые вещи, которые вообще недопустимы. Прежде всего вся эта затея с евреями была неумной — согласен. Это восстановило против нас весь мир, иначе мы бы выиграли войну еще в сороковом году.

— Дюнкерк! — сказал Харрах.

— Вот именно. Это промах самого Гитлера. Но вернемся к моему вопросу: разве это подлинные фотографии и документы — те, что тычут нам в лицо вот уже восемнадцать лет? Ведь их же фабрикуют американцы, французы, англичане и русские — или евреи.

— После моего пребывания в плену я больше не верю ни единому их слову, — заявил Матушат. — Они только и делают, что смешивают нас с дерьмом!

— Что касается лжи — в этом Черчилль несколько не уступит Геббельсу!

— Одно можно сказать с уверенностью — и тут нас никто не собьет: простой человек, рядовой немец не имел другой возможности получить информацию, кроме как сверху — от Адольфа, Германа и Юппкена<sup>1</sup>. Я, во всяком случае, ничего, ну ровным счетом ничего не знал о концлагерях и т. д. и т. п.

— И вы не одиноки, уважаемый коллега. Что касается организованности и сохранения государственной тайны — в этом они знали толк.

— Не только в этом.

Раздался звонок. Кончилась большая перемена. Грёневольд вернулся со двора, где он дежурил. Разговор на секунду оборвался.

— Мы тут как раз обсуждаем вопрос, можно ли было во время войны узнать правду о сущности «третьего рейха», уважаемый коллега Грёневольд, — сказал д-р Немитц. — Лично я, откровенно говоря, думаю, что, если не брать в расчет каких-то счастливых исключений, это было невозможно. А ваше мнение?

— На фронте или в тылу, господин доктор?

— Скажем, в тылу.

— Были иностранные радиопередачи.

— Английские, например?

---

<sup>1</sup> То есть от Гитлера, Геринга и Геббельса.

— Или из Беромюнстера<sup>1</sup>.

— Но слушать иностранные радиопередачи было опасно для жизни.

— Разве не опаснее для жизни было не слушать их? Все в учительской поднялись.

— Были также иностранные газеты. До войны существовал...

— Издалека многое выглядело иначе, — сказал д-р Немитц, когда они вышли из учительской.

— Это верно.

Годелунд подошел к Грёневольду.

— Я не слушал иностранных радиопередач и не читал иностранных газет никогда, — сказал Годелунд. — Я доверял государству, у которого состоял на службе! Можете вы это понять?

— Я могу вас понять, господин Годелунд. — Грёневольд смущенно улыбнулся. — Я даже слишком хорошо вас понимаю.

— В девчачий питомник заглянем? — спросил Шанко.

— Фигня это все.

Рулле уселся на каменную ограду и критически разглядывал бутерброд, который только что развернул.

— Тогда пошли наверх, подымим.

— Неохота.

— Ты что, с утра уксуса напился?

— Сбегу я, брат, отсюда!

Шанко оперся руками о стену, прыгнул и сел рядом с Руллем.

— Дай откусить. Поругался с отцом?

— Не без того.

— А в чем дело?

— Да все из-за работы.

— Не нашел пока ничего?

— Есть уже.

— Где?

— На машиностроительном. Так хочет отец.

— А ты?

— А я хотел бы учителем или в этом роде.

---

<sup>1</sup> Город в Швейцарии, где во время второй мировой войны была американская радиостанция.

— Долбилый?

— Вот уж нет.

— И поэтому решил сбежать отсюда? А куда?

Оба разом соскочили с ограды и, по локоть засунув руки в карманы, смешались с толпой ребят, заполнивших школьный двор на большой перемене.

— Ты пойми, старик, здесь ведь черт те что делается!

— Где? В школе?

— И в школе тоже. Этот Факир — просто гад ползучий.

— Опять сегодня кривлялся, как паяц. Наверное, без этого жить не может.

— А как он отделал Бэби! В лайковых перчатках. И сколько иронии! Не выношу учителей, которые везде подпускают иронию!

— Так ведь дома он под каблуком у своей Хельги.

— Ну и черт с ним! От всей этой трепотни все равно ничего не изменится. Надо что-то делать, Дин!

— А что бы ты хотел изменить?

— Ты пойми, ведь они нас совсем за людей не считают. А в классе и половина ребят этого не чувствует. Они только над Рохлей издеваются — дался им этот несчастный старикан. Как только не стыдно! Кто знает, может, в старости и мы такими будем. Ему помочь надо — он ведь и огрызнуться не умеет! А вот Факир...

— У Факира хоть что-то есть в башке.

— Да, физика и математика. И точка.

— А тебе чего еще надо? Оскар Хюбенталь — преподаватель средней школы по математике и физике. Что от него еще требуется?

— Так ведь не один Факир меня бесит. Шут, Рохля, Пижон, Буйвол, Медуза, Рюбецаль — все хороши, на кого ни глянь. Единственное, чем от них отличается Факир: почти все остальные ни черта не смыслят в своих предметах.

— А Ребе?

— Ребе — это совсем другое дело. И Попс. Брассанс тоже. Ну, а еще кто?

— Может быть, новый.

— Может быть.

Из-за угла пристройки, где был спортивный зал, им махал Нусбаум и чертил в воздухе какие-то загадочные кривые.

— Лолло! — сказал Шанко. — Опять они там пускают слюни на это вымя. Вот кого не перевариваю.

Руль достал из верхнего кармана куртки потрепанную книжку.

— Читал?

— Сент-Экс. Знаю. Романтик за штурвалом! Но ты мне все-таки как-нибудь дай ее. Только ведь и это не поможет. Пожалуй, я мог бы принести тебе кое-что получше.

— А что?

— Что ты имеешь в виду, говоря об изменениях?

— Ты пойми, ведь всем этим людям просто нечего нам дать! Нечего — и все. Должны мы как-то с этим бороться?

— Ну как так нечего: собрание прописных истин старого Запада. Да еще ирония. И грамматика. И атомные формулы. Чего тебе еще надо?

— Чего-нибудь такого, что может помочь, — ответил Руль. — Ведь надо же знать, что помогает человеку. В общем в этом роде.

— Звонят. Пошли послушаем Пижона, этого стилигу. Может быть, он тебе что-нибудь подскажет.

...типично эмигрантское мышление. Но не лишен интеллекта. Впрочем, и Нонненрот тоже. Человек, действительно наделенный интеллектом, не может не вызывать у меня симпатии. Даже если у него путанные, устаревшие взгляды, вот как у Грёневольда. В неприятном характере может быть *haut gout*<sup>1</sup>, но глупость непростительна. Между прочим, интересно, что у Грёневольда есть интеллект, но совершенно нет чувства юмора. У этого полуеврея — или кто он там еще — слишком трагическое выражение лица. Вечная серьезность раздражает. Хорошо бы показать ему мою статью. Любопытно, что он скажет. У Куддевёрде нет своего мнения — нет кругозора. Я уже сколько раз отмечал: учителя рисования ничего не смыслят в живописи. Арегси<sup>2</sup>. Следствие того факта, что настоящий художник вряд ли может стать учителем рисования.

---

<sup>1</sup> Что-то очень привлекательное (франц.).

<sup>2</sup> Суждение (франц.).



Параллель: учителя музыки. Например, Шут. Конечно, бывают исключения. А в литературе? Тут дела обстоят иначе. «Руркумпель»<sup>1</sup> выходит ежедневно тиражом в двести тысяч экземпляров. Значит, его читает приблизительно восемьсот тысяч человек. А литературную страницу? Скажем, половина — четыреста тысяч. Таким образом, каждый сто сороковой житель Федеративной республики прочитает мою статью. «Педагогические функции современного искусства». Почему они не поместили ее в субботнем номере? Ну ничего, для Ренаты появление этой статьи сегодня — после всего, что было в субботу, — прямо точка над «i». Punctum ripcti<sup>2</sup>. А где эта точка у нее самой? Пикантная девочка! Аморальна, как настоящая французенка. Если бы Гodelунд только знал, кто та «подруга» в Касселе, к которой она ездила. Статья ей, несомненно, будет приятна. Я уже не раз наблюдал это явление: именно у необразованных, у совсем примитивных женщин, короче говоря, у самок интеллект возбуждает чувственность. Не только деньги. Справедливый товарообмен. Десять часов пять минут. Она уже два с половиной часа сидит за машинкой. Дурацкая профессия. Интересно знать, флиртует ли она одновременно со своим шефом? У нее были какие-то подозрительные пятна на шее. И все-таки не верится. Зачем ей меня обманывать? Ведь она получает все, что ей нужно. Что касается меня, это другое дело. Ирена — идеальное дополнение в духовной сфере. Надо будет позвонить ей сразу же после обеда. Страшно интересно, что она скажет о статье. Конечно, без критики не обойдется, но в целом она скорее всего одобрит. Образованная женщина. Какой у меня класс? 6-й «Б». Идейно вооружить их к выпуску, как говорится на этом мерзком школьном жаргоне. «Состояние современной литературы». Обзорная лекция. Конечно, только в общих чертах. Не копаться в материале, идти вперед. Как бы там ни было, в гимназии св. Петра коллега Корвин еще не проходил этого в выпускном классе. Позор! До чего мы дойдем, если наша молодежь вступит в жизнь, не имея понятия об авангарде: о Джойсе, Прусте, Брохе, Кафке...

— С добрым утром, господа! Приветствую вас!

---

<sup>1</sup> «Рурский горняк» (нем.).

<sup>2</sup> Точка точек (латин.).

— С добрым утром, господин доктор!

— Садитесь, пожалуйста! Кто у нас сегодня выступает? Желающие, прошу! Ну, так как же? Господа, я же ясно сказал: решайте сами, кто из вас на каждом уроке литературы — вплоть до пасхи — будет прочитывать нам какое-нибудь стихотворение современного автора — само собой разумеется, по собственному выбору, я только хочу, чтобы стихотворение было прочитано — это тоже само собой разумеется. Итак, прошу! Надеюсь, что не требую от вас слишком многого — за месяц до выпуска! Руль, пожалуйста. Кого из современных немецких поэтов вы избрали?

— Готфрида Бенна.

— Бенна — превосходно! Это, несомненно, самый тонкий из всех немецких поэтов-экспрессионистов. Наряду с Георгом Траклем<sup>1</sup>, конечно. При этом я хотел бы еще раз подчеркнуть, что экспрессионизм — это специфически немецкий и весьма крупный вклад в культуру двадцатого века. Поэтому мы простим Бенну его нацистские заблуждения в самом начале тысячелетней империи. *Ergare humanum est*<sup>2</sup>. Начинайте, Руль!

Руль засунул обе руки в карманы брюк, втянул голову в плечи и с мрачным видом стал перед классом.

— «Прекрасная юность» Готфрида Бенна.

— Минутку, Руль! Я предложил бы так: Готфрид Бенн, «Прекрасная юность». Звучит лаконичнее, жестче, современнее. Согласны?

Лицо Руля приняло еще более угрюмое выражение. Он снял очки и потер их о свой черный свитер.

— Готфрид Бенн, «Прекрасная юность», — пробурчал он.

Рот девушки — она долго лежала в камышах —  
Был весь изгрызен.

Когда вскрыли ей грудь, в пищеводе зияли дыры.

Но вот в углубленье под диафрагмой

Нашли выводок крысят

Одна маленькая сестричка подохла.

Остальные грызли печень и почки,

Пили холодную кровь: здесь прошла их

Прекрасная юность.

Но смерть унесла их тоже — легко и быстро:

Всех крысят побросали в воду.

Ах, как малышки пищали!

<sup>1</sup> Австрийский поэт (1887—1914) — один из зачинателей экспрессионизма в поэзии.

<sup>2</sup> Человеку свойственно заблуждаться (латин.).

Вяло дочитав стихотворение, Руль неуклюже плюхнулся на свое место.

Класс ржал. Мицкат пищал наподобие тонущих крысят. Нусбаум мял в руках носовой платок.

Д-р Немитц скрестил на груди руки и с улыбкой превосходства спокойно ждал, когда утихнет общее веселье.

— Человек, незнакомый с природой современной лирики, мог бы неправильно истолковать ваш гомерический хохот, — с удовлетворением сказал он. — Тем не менее вы бессознательно подметили самую существенную черту не только в лирике великого — впрочем, здесь опять-таки истерически крикливого — Готфрида Бенна, но и в современной литературе вообще — жуткий юмор, *humour macabre*! Если мы попытаемся вникнуть в суть этого раннего стихотворения Бенна, то ее можно будет выразить так: трагедия юного существа, девушки — молодой, красивой, полной надежд, но больной. Смертельно больной — ведь речь идет о самоубийстве. И потом, эта изумительная в своей жути картина, это гениальное изуверство — крысиное гнездо в девичьем теле! А в заключительной строке — жесткой, но восхитительной, со всей силой проявляется тот самый *humour macabre*, о котором я вам говорил. Это уже искусство, господа. Больше чем искусство.

Кстати, где вы уже встречали этот мотив — «Река и самоубийство юной, цветущей девушки»? Ну-с, обратим свой взгляд на Англию? Ага, Клаусен?

— Шекспир, Офелия, — сказал Клаусен.

— Правильно. В «Гамлете». А где мы найдем это в современной литературе, которая лишь облачает в новые одежды — в соответствующую времени форму — старые, вечно актуальные тревоги человечества? Так где же?

— У Брехта.

— Совершенно верно, Затемин. «Когда она утонула и погрузилась на дно...» На следующий урок я принесу вам пластинку — Лотта Ления, вдова композитора Ления, великолепно читает эти стихи — «Балладу об утонувшей девушке». Производит большое впечатление. Ну-с, а теперь *in medias res*<sup>1</sup> — обратимся к нашему

---

<sup>1</sup> Прямо за дело (латин.).

Кафке. Сначала протокол... Нет, Руль, с вас на сегодня довольно — Клаусен, пожалуйста!

Клаусен вскочил, как всегда, немного торопливо и вдохновенно начал читать свой протокол.

— В начале урока Фарвик продекламировал стихотворение Ганса Арпа «Opus null». Господин доктор Немитц рассказал нам о дадаизме в Цюрихе, Берлине и Париже, к которому отчасти примыкал Ганс Арп, который был к тому же еще и скульптор...

— Преимущественно, сказал бы я, преимущественно скульптор...

— ...преимущественный скульптор. После этого господин доктор Немитц познакомил нас с творчеством знаменитого немецкого писателя Франца Кафки, который принадлежит к числу писателей, проложивших путь для современного романа и теперь уже может считаться мировой литературой...

— Крупнейшим именем в мировой литературе!

— Сначала мы обратились к биографии Франца Кафки. Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в Праге. Он был еврей. Его отец, Германи Кафка, очень строгий человек, так же как отец Геббеля, достиг благосостояния и почета. По окончании школы Кафка изучал химию, германистику и право...

— Un moment<sup>1</sup> — тут вы меня неправильно поняли, Клаусен. Он не занимался одновременно химией, германистикой и правом, а изучал эти науки одну за другой — это важно для понимания его биографии. Так или иначе, только изучение последней из них — юриспруденции — он успешно завершил. Теперь вам ясно?

— Да.

— Очень хорошо. Пожалуйста, читайте дальше.

— Франц Кафка получил диплом, но стал всего лишь мелким служащим в бюро по страхованию от несчастных случаев на производстве. От этого он очень страдал. Франц Кафка жил в Праге, Берлине и недалеко от Вены. Он умер 3 июля 1924 года от туберкулеза. При жизни его произведения не имели большого успеха. Сегодня это мировая литература.

— Ну, Клаусен, пожалуй, вы все немножко упрос-

---

<sup>1</sup> Минуточку (франц.).

тили — так ведь? В вашей работе больше участвовало сердце, чем голова. Ничего, для начала нам этого достаточно. В ходе наших занятий мы еще успеем сделать необходимые дополнения.

А теперь — *ad fontes*<sup>1</sup>: откройте книги! В нашем издании это будет страница седьмая. Затемин, пожалуйста, читайте вслух. Пока до середины страницы двенадцатой, до слов: «...на тот маловероятный случай, если бы вдруг понадобилось...» Руль, вы что — спите?

...вот дешевка. Такая дешевка — все, что он тут несет. Хоть и пахнет ученостью. А может быть, и не пахнет. Не мне судить, я-то ведь не ученый. Откуда мне им быть? Вот Ребе — ученый. А Пижон просто много знает. Но и только. Как человек, который изучил устройство санитарной машины, а отвезти больного не может — не умеет водить. У Дали есть пластинка Бенна. Здорово читает, без нажима. Но он когда-то уверовал в нацистов. Почему Пижон нам об этом не рассказывает? Это ведь поважнее, чем весь его коктейль из иностранных слов. Опять я забыл. *Nimouir poige*<sup>2</sup>. В стихотворении я ничего такого не заметил. В углубление под диафрагмой увидели выводок крысят. Юмор? Да это же протест — вот это что! Взрыв бешенства против определенного образа жизни. Протест, горький, как кошащее дерьмо. Крысята — это мы. По уши в дерьме нашего мерзкого образа жизни. И проводим в дерьме прекрасную юность. В компании Пижона, Факира, Рохли, Шута и Нуля. Нечего сказать, преподавательский состав. К счастью, не весь; только половина. Я хочу стать учителем. Учитель — это в тысячу раз важнее, чем механик. Отец не желает. Сначала — в бундесвер. «Но смерть унесла их тоже — легко и быстро: всех крысят побросали в воду». Плавать они не умели. Захлебнулись. Требуется тренер по плаванию для крысят. Этот Кафка мне нравится, но я его не понимаю. Пижон все понимает. Я понимаю каждое слово, но ни одной фразы в целом. Каждую фразу, но ни одной главы. О чем идет речь, я вроде бы схватываю, но ведь он разумеет под этим что-то другое. А вот

---

<sup>1</sup> К первоисточникам (латин.).

<sup>2</sup> Черный юмор (франц.).

что? Этот Кафка тоже захлебнулся, как крысенок. Надо узнать о нем побольше — Пижон дает нам какие-то жалкие крохи. Интересно, Ребе что-нибудь о нем знает? Еврей. А что это, собственно, такое — еврей? Здесь, в школе, я слышал, что евреи написали библию, а потом несколько тысяч лет подряд дурачили все человечество; при Гитлере их пускали на мыло; теперь этого больше уже не разрешают. Еще был Эйхман. Гейне был еврей, и Маркс, и Эйнштейн. И Кафка. Надо поговорить об этом с Ребе. Но ведь он может только слушать часами, а сам при этом не говорит ни слова. Не отвечает. Лучше уж я пойду к Попсу. У того всегда находится время для нас, он не капризничает. И кое-что знает. Надо еще раз прочесть текст. «Чтобы вы добрались до смысла!» Знаем мы эти штучки! А сам Пижон опять читает свою «АДЦ»<sup>1</sup>. Ненавижу эту газету! Говорят, будто она хорошая, но я ее ненавижу. Вот уже три года, как на каждом уроке литературы нам вместо лекции суют под нос эту «АДЦ». А потом начинается жвачка. Брехта он собирается разделить таким же способом. Дали достал мне Брехта из Восточной зоны; издание — класс! И еще пластинки. Дали бывает иногда похож на Пижона — такой же пустобрех. Ученый болтун — и больше ничего. Они кое-чему научились, но и только...

«Искусство в эпоху техники» — интереснейшая тема. Все хорошее и стоящее уже было сказано. Антитезис техники — *Poiesis*. «Творческая бесприютность» — так называет это Хейдеггер. Превосходно! «Язык — обитель бытия». Великолепный образ. Надо будет достать его лекции. Поговорю об этом с Иреной. «Творчество — это ясновидение сущего». Подчеркнуть! И еще: «Прекоммуникативная стадия языка немыслима». Кто это сказал? Разумеется, Бубер. Его знаменитый принцип диалога, философия «на ты» — это моя формулировка, Ирене она показалась необыкновенно точной. Тут я действительно силен. Отличался еще в семинаре. Статью вполне можно развернуть в эссе. «Поэзия как духовная задача в школе, готовящей к университету» — что-нибудь в этом роде. Поизящней сформулировать!

---

<sup>1</sup> «Альгемайне дойче цайтунг».

Но это еще можно придумать. Тема как будто напрашивается сама собой...

— Что, Фейгеншпан?

...— Мы перечитали текст, господин доктор!

— Хорошо! Вопросы есть? Надо сказать, что этот текст труднее всего поддается расшифровке и интерпретации. Пожалуйста, господа, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ведь мне именно за это и платят, хотя и не очень щедро. Лумда?

— К. — это сокращение от «Кафка»?

— И да и нет, Лумда. Герой, трагический герой «Процесса» с точки зрения биографической, конечно, не писатель Франц Кафка. Но можно сказать так: писатель Франц Кафка просматривается в образе своего героя — следовало бы, пожалуй, выразиться еще точнее: своего антигероя! Это значит, что на совершенно другой базе, а именно — на базе человеческой сущности... короче говоря, на его долю выпали духовные испытания, сходные с теми, что предстоят Иосифу К. в начале романа. Понятно?

— Да, — сказал Лумда.

— Руллы!

— Господин доктор Немитц, мне кажется, что я дурак.

В классе раздался одобрителный смешок.

Д-р Немитц удивленно поднял брови.

— Я ни черта не понимаю. Единственное, что мне понятно, — это рисунок на обложке и выражение «без наставника».

— Без наставника?

— Да. Так говорил Кафка о своей юности. Он всегда метался из стороны в сторону потому, что у него не было наставника.

— Верно. Припоминаю. Его отношения с отцом были действительно крайне сложными и полными внутреннего напряжения. Существует письмо Кафки к отцу — я как-нибудь принесу его вам, оно в высшей степени показательное: это как бы самоанализ, который сразу же раскрывает нам всего Кафку.

— Я уже читал это письмо, господин доктор. Оно очень слезное.

— Слезное?

— Я хочу сказать, что от него можно зареветь. Я...

— Да, тут вы совершенно правы, Руль: вся эта кафкианская ситуация — мрачная и щекотливая. Но не огорчайтесь, Руль; общими усилиями мы найдем подход к этому блистательно сложному комплексу. Затемин?

— Был звонок, господин доктор!

— Хорошо. К следующему уроку я попрошу подготовить особенно точный протокол. Это наш долг по отношению к Кафке, господа. Всего доброго.

Харрах поочередно обходил в учительской своих коллег с каким-то списком в руках и спрашивал каждого:

— Придете в субботу играть в кегли?

— В котором часу?

— В семнадцать пятнадцать, у «Старого Фрица».

— Нет, — без обиняков сказал д-р Немитц. — Вы знаете, уважаемый коллега, у меня лекции — мне очень жаль!

— Разве в вечернем университете еще есть занятия?

— Зимний семестр кончается только тридцатого апреля.

— Ну что ж...

— Мог бы немножко порастрясти жирок! — вмешался Нонненрот. — Это способствует пищеварению, укрепляет член и придает заднице свежий цвет лица!

Д-р Немитц смущенно молчал, разглаживая свою газету.

— Господин Нонненрот, господин Нонненрот! — сокрушенно произнес Гodelунд.

Нонненрот весело расхохотался.

— Знаю, знаю, уважаемый коллега, вы считаете меня величайшим засранцем нашего века, — невозмутимо сказал он. — Ничего, я и сам так думаю. Не зря же меня шесть лет подряд воспитывал Иван. Привет из Воркуты! Товарищи, обучайтесь боксу, и вы почувствуете, что такое жизнь!

Гodelунд снисходительно улыбнулся.

— Так пойдешь ты в среду играть в кегли?

— Я? Неужели ты еще не безнадежен? Нет, дружок, меня ты не загонишь теперь даже на собрания католи-



ческого рабочего союза, где сидят и греются в теплых шубах. Девять лет у Ивана, из них три года окопной вошью и шесть лет военным преступником! А когда я вернулся — тридцать три килограмма живого веса, — меня первым делом погнали на денацификацию. И как ты думаешь, кто заседал в трибунале и орал на меня, зачем-де я ходил с кружкой для сбора денег в кампанию «зимней помощи»? Бывший начальник наших окружных военных курсов! Уже опять с брюшком и опять на высоком посту. Нет, приятель, с тех пор ты не заманишь меня даже в союз козлов отпущения «Серенький козлик».

— Если все думают так, как вы, тогда давайте сразу же закроем наш кегельный клуб, — обиженно сказал Харрах.

— Ну нет, ради меня этого делать не стоит. Ведь демократическое большинство идет — сам шеф...

— Нет! Совещание директоров.

— Хюбенталь, Криспенховен, Кнеч...

— Идем.

— Гodelунд, Куддевёрде, Гаммельби...

— Идем.

— Випенкатен...

— Нет, на этот раз я не смогу. Мне надо подлечить зубы.

— В моей едальне тоже завелся червяк, — заявил Нонненрот и оскалил свою щербатую челюсть.

Д-р Немитц с оскорбленным видом отвернулся и протянул Грёневольду газету.

— Может быть, вас заинтересует моя статья, — сказал он вскользь.

— Безусловно, — ответил Грёневольд.

Затрещал звонок, возвещая начало четвертого урока.

Д-р Немитц и Куддевёрде одновременно встали.

— Вы ссылаетесь на Ван-Гога? — спросил Грёневольд, на секунду отрываясь от чтения.

— Да. Я считаю его экстатическим мистиком современного искусства. Своего рода Достоевским в живописи.

— А знаете вы, что в свое время некоторые из его картин были причислены к «выродившемуся искусству»?

— Это мне неизвестно, — сказал д-р Немитц.

— Ван-Гог? А вы не ошибаетесь? — Куддеверде был не на шутку испуган.

— Нет, это точно. Почитайте, что пишет о нем Розенберг в «Мифе двадцатого века». Это очень показательно.

— Этой чудовищной бессмыслицы я никогда не читал, — решительно заявил д-р Немитц.

— И «Майн кампф» тоже не читали?

— «Майн кампф»? Но позвольте, коллега! Куддеверде, а вы читали «Майн кампф»?

— Нет.

— Ну вот видите! Извините, уважаемый коллега Грёневольд, но вы, по понятным причинам, составили себе несколько искаженное представление о том, что читала интеллигенция «третьего рейха». «Лотта в Веймаре» ходила по рукам в те времена; люди прямо-таки с азартом искали ключ к «Мраморным скалам»<sup>1</sup>. Для более непритязательных умов существовал Вихерт. Но «Майн кампф» — об этой книге для нас вопрос не стоял.

— А до тридцать третьего года тоже нет?

— До тридцать третьего года образованные люди в Германии только краем уха слышали о Гитлере: какой-то там крикун из баварской пивной. Конечно, я знаю, что коллеги из начальной школы быстро поддались чарам этого пролетария, но что касается меня, то я могу с чистой совестью заявить: ни Розенберга, ни Гитлера я никогда в жизни не читал.

— А вот я читал, — сказал Грёневольд.

— Так не бывает! — горячился Гукке. — Без судебного ордера никакая полиция, а значит, и гестапо не имеет права ни на обыск, ни на арест.

— Как бы не так, Бэби!

— Да ты загляни хотя бы в наш учебник истории. В приложении написано черным по белому...

— Может, это относится только к западным демократиям, — сказал Адлум.

— К Восточной зоне уж наверняка не относится.

Затемин вернул Клаусену протокол последнего уро-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду роман реакционного немецкого писателя Эрнста Юнгера.

ка истории, который он переписал в велосипедном сарае, и как бы между прочим спросил:

— Откуда тебе это так хорошо известно?

— Не валяй дурака, Лумумба! Сам ведь каждый день слышишь. Неужели, по-твоему, там правовое государство? Даже Беньямин<sup>1</sup> и та с тобой не согласится.

— Я только спросил, откуда тебе это известно.

— Откуда известно? Да из газет, парень, из радио-и телепередач!

— Из каких радиопередач?

— Из наших!

— Ах, наших! Но «Голос Америки» не наш голос, даже если он доходит до нас по черному каналу.

— Оба вы идиоты, — сказал Курафейский. — Каждый день наскакиваете друг на друга, как два петуха — красный петух по кличке Лумумба и черный по кличке Пий. Пощадите мои нервы! Мне все это до лампочки.

— И стена тоже?

— И стена, братец.

— И Берлин?

— И Берлин.

— И воссоединение?

— И воссоединение.

— Этого ты будешь ждать еще, качая на коленях внуков! — сказал Мицкат.

— У Пия не будет внуков. Он пойдет в священники, — предрек Нусбаум.

— Да кто у нас еще верит в воссоединение? — спросил Шанко. — Неужели кто-нибудь всерьез считает, что сам святой Конрадин, последний император священной римской империи германской нации, действительно надеется на воссоединение?

— И этот туда же! — Курафейский воздел глаза к небу и заломил руки.

Клаусен не мог удержаться от смеха.

— Я бы хотел знать, во что веришь ты, — сказал он. — Я имею в виду твои убеждения. Ведь во что-то ты должен верить?

У Курафейского отвисла челюсть.

— Подавай мне каждый вечер ящик холодного пива и теплую девочку в постель, — сказал он, — и я тебе проголосую хоть за воссоединение, хоть за НАТО, за

---

<sup>1</sup> Бывший министр юстиции ГДР.

восточный блок, за Берлин, Москву, Пекин, Вашингтон, за Одер, Нейсе, за социализм, за капитализм, за Кеннеди, Никиту, Аденауэра и сверх того — еще за Иоанна XXIII.

— Подонок! — в один голос сказали Клаусен и За-темин и оторопело уставились друг на друга.

В эту минуту Петри, карауливший в коридоре, у полуоткрытой двери в класс, крикнул:

— Тихо! Ребе идет!

...рискованно осуждать кого-либо из них! Сам я все это время пробыл за границей. «Эмигрантам события представляются в несколько искаженном виде», — сказал недавно д-р Немитц. «Чем вы занимались там эти двенадцать лет?» — спросил министр. Мы-то знаем, чем мы занимались. А они разве могут это сказать про себя? Нет. Вот что самое невероятное! Я теперь уже не думаю, что они лгут, когда слышу их слишком наивные ответы. Если и лгут, то лишь немногие; большинство не лжет — они просто уже забыли! Этот народ, который я так люблю, снова поражен душевной болезнью — прогрессирующей атрофией исторического сознания. Ну, а документальные фильмы, благонамеренные телепередачи, поток книг? Казалось бы, все это доказывает обратное. Но в действительности люди ведут себя, как будто ничего не было. Становится жутко, когда подумаешь, до чего легко стряхнули они с себя эти двенадцать лет. Все это, конечно, было, но ведь было! И к тому же было в стране, которая по случайности называлась Германией. Актеры трагедии провалились в преисподнюю, осталась безобидная публика, которая испытала много горя, но вот уже восемнадцать лет с превеликим усердием, энергией, добросовестностью и твердой верой в бога отдается делу восстановления. Пресловутые немецкие добродетели, сумма которых обманчиво представляется миру, как некое чудо. «И жизни новой цвет пестрит среди развалин». И на прахе двадцати пяти миллионов убитых возшло пятьдесят пять миллионов немцев, нажившихся на войне. Нет, нет, нет, ты ожесточился, ты несправедлив. Ты нарушаешь первое правило критики, которое внушил тебе еще твой отец! «Никогда не рассуждай вообще! Вспомни о том, сколь бережно и терпеливо господь вершил свой суд над Содомом».

Отец. Над ним самим вершили суд отнюдь не бережно и не терпеливо: «Сгинь, еврей!» Надо будет как-нибудь пригласить к себе Криспенховена, а может быть, и Виолата, чтобы снова научиться доверять людям. Без доверия я здесь жить не смогу — прежде всего не смогу преподавать. Даже если в каждом классе найдется всего десять человек — пусть хоть десять. Это уже астрономическая цифра. Надо говорить с ними, и не только в школе. У себя дома тоже, с каждым в отдельности. Первым делом надо поговорить с Руллем. Вид у него, как у отлученного от церкви католика, который рыдает возле исповедальни. «Но хоть десять человек можно среди них найти!» Десять? А я сам? Сам я не вхожу в это число. Только отчаяние удерживает меня от того, чтобы примкнуть к многочисленной армии процветающих — благополучных и забывчивых. Надо запросить визу! Придется опять уехать отсюда: мне здесь искать нечего, а они нашли все, что им нужно, — забвение и успех...

— Здравствуйте! Садитесь.

— Здравствуйте, господин Грёневольд!

— Кто нам зачитает протокол? Петри!

— В начале урока истории, в прошлый четверг, преподаватель опрашивал нас по заданному материалу. Тема: «Гитлеровская политика свершившегося факта». Этот метод — *fait accompli* — приносил Гитлеру успех до 1939 года.

Ученики, которые были вызваны, к счастью, подготовились, потому что Гитлер нас интересует. Из беседы с преподавателем, которая за этим последовала, мы узнали кое-что о сопротивлении Гитлеру внутри Германии. С самого начала у Гитлера имелись открытые противники: священники, политические деятели, бывшие профсоюзные функционеры, художники, военные, ученые, а также совсем простые люди, не принимавшие гитлеровского режима.

Однако объединить все эти группы и отдельных противников Гитлера в активное движение Сопротивления не удалось.

Причин этому три. Первая: иностранные державы недостаточно поддерживали Сопротивление против Гитлера. Вторая: гестапо работало безотказно. Даже в собственной семье люди не могли доверять друг другу.

Третья: между отдельными группами Сопротивления существовали значительные политические и религиозные разногласия.

...уже то, в каком порядке он перечисляет причины неудач Сопротивления, показывает, как отчаянно цепляются они за ту мысль, что не Германия — нет, а весь остальной мир виноват во всем, что они сами теперь, искренне потрясенные, называют «величайшей трагедией Германии». И что в конце концов было все-таки преступлением. Одним из самых кровавых преступлений в истории человечества, совершенным правительством Германии с ведома и одобрения подавляющего большинства немецкого народа, которое избрало и поддерживало это правительство. Довольно многочисленная фаланга — вплоть до горького конца. Это неопровержимые факты, однако они пытаются их опровергнуть! Этот вот Мартин Петри — толковый, порядочный парень; целый год он ждет не дожидается летних каникул, чтобы можно было опять поехать во Францию — удить рыбу на берегу Марны с приятелем-французом. Он, конечно, путает порядок причин бессознательно. Но эта ошибка не случайность: кто-то другой, многие другие путают сознательно, во мгновение ока они меняют местами причины и следствия. Совершенно сознательно и методично.

Не нацисты, нет, русские и поляки виновны в том, что теперь существует эта гноящаяся рана по Одру — Нейсе. Кто они, эти люди, что своим политическим шулерством ставят под угрозу будущее и снова морочат немецкий народ? Нет, ведь, положив руку на сердце, я и сам не верю, что это делается со злым умыслом — из реваншизма, как называют это те, другие, которые сами взяли реванш. Все происходит из-за того, что человечество испокон веков никак не отстирает грязное белье — белье Пилата... Белье трусости, оппортунизма...

— Ты забыл назвать по меньшей мере одну причину провала антифашистского Сопротивления, Петри.

— Борцы Сопротивления были бессильны! Я хочу сказать, у них не было бомб и так далее.

— Шанко!

— Не нашлось человека, который отважился бы уничтожить Гитлера.

— Гукке!

— Немецкий народ, широкие массы не поддерживали Соппротивление. Возьмем, например, двадцатое июля. Мой отец говорит, что в его роте к тому времени почти все уже были против Гитлера, но для порядочного немца существовал только один путь: сначала выиграть войну, а уж потом посадить Гитлера на цепь! Все другое было бы предательством и государственной изменой.

— Как, Гукке? Речь идет о двадцатом июля 1944 года, и вы говорите: «сначала выиграть войну»?

— Да! Мой дядя был в Пенемюнде. Если бы не эти трусливые собаки саботажники, англичане уже в 1944 году стояли бы на коленях. Шестьсот шестьдесят тонн «фау» мы могли бы ежедневно...

— Минутку, Гукке, мы сейчас снова вернемся к этому. Только сперва один вопрос; что тебе приходит на ум, когда ты слышишь выражение «народный трибунал»?

— Народный трибунал? Да, был такой — в Нюрнберге. Там судили всех, кто представлял идеи национал-социализма. Строго говоря, это было несправедливо. Немцам там не дали и слова сказать. Их просто засудили. Большинство обвиняемых были повешены.

— Есть другие мнения? Нусбаум?

— Справедливо-то оно, пожалуй, было. На скамье подсудимых сидели и настоящие бандиты. Но юридически это неправильно. Закона, согласно которому их повесили, раньше не существовало.

— И эти слова — «народный трибунал» — никому из вас больше ничего не напоминают? Фейгеншпан?

— Народный трибунал был вовсе не в Нюрнберге. Так древние германцы называли свой родовой суд.

— Ремхельд!

— Народные трибуналы бывают только в коммунистических странах при показательных процессах.

— Затеми?

— В «народном трибунале» в Берлине под председательством Роланда Фрейслера разыгрывался процесс участников заговора двадцатого июля.

— Да, именно разыгрывался. Удивительно, каким выразительным может быть наш язык, верно? Так вот, в числе обвиняемых находился граф Шверин фон Шваненфельд. Когда Фрейслер спросил его, почему он примкнул к мятежу против Гитлера, состоялся, как гласит протокол, следующий диалог:

«Шверин. Я подумал о многочисленных убийствах.

Фрейслер. Об убийствах?

Шверин. Совершенных в Германии и за ее пределами.

Фрейслер. Вы гнусный подонок! Вы раскаиваетесь в собственной подлости? Да или нет — раскаиваетесь?

Шверин. Господин председатель...

Фрейслер. Да или нет, я требую четкого ответа!

Шверин. Нет!»

Или вот еще: ты, Гукке, может быть, когда-нибудь расскажешь это своему отцу и поговоришь с ним на эту тему, — обер-лейтенанта Вернера фон Гефтена тот же Фрейслер спросил, почему обер-лейтенант нарушил клятву верности своему фюреру. Он ответил: «Потому что я считаю фюрера воплощением злого начала в истории!» Гефтен погиб, так же как Шверин и его друзья, во имя той убежденности, того достоинства, той человечности и того светлого разума, которые содержит в себе этот ответ!

Прежде чем мы снова вернемся к разговору о двадцатом июля, — а мы должны еще раз поговорить об этом, и даже как можно подробнее, — до этого я постараюсь сообщить вам фактические сведения, точные данные о периоде между 1938 и 1944 годами. Наша следующая тема называется: «Начало второй мировой войны».

...мой отец говорит: «Грёневольд преподает вам историю как иностранец! Все происходило совсем не так. Ведь его здесь даже не было. Держу пари, что он еврей». Не знаю. Он же посещает нашу церковь. Но бывают и крещеные евреи. Впрочем, меня это мало интересует. Роже из Шалона тоже еврей. А мне это все равно, как и ему все равно, что я немец! Он даже рассказал мне несколько стоящих еврейских анекдотов. Например, про автобус, который идет в Тель-Авив... что там дальше? Жалко, забыл. В следующий раз возьму да и спрошу Ребе, еврей он или нет. Его обо всем можно спрашивать, он никогда не увиливает, не делает sidestep<sup>1</sup>, он порядочный человек. И я не думаю, что он мне снизит отметку за то, что я малость напутал

---

<sup>1</sup> Шаг в сторону (англ.).



насчет Сопротивления. Наверно, будет тройка. Сойдет. Больше-то я и не заработал. История меня не интересует. Каждый говорит по-своему. Вот Лумумба здорово знает новейшую историю. Он каждый вечер слушает радио ГДР. А те рассказывают всю эту белиберду опять же на свой лад. На левый лад. Поди тут разберись. Что это там Ребе плетет про радиостанцию Глейвиц? Это ж чистый детектив! Если я сегодня за обедом расскажу это дома, отец опять так раскипятится, что вся еда остынет. Это сделали поляки, говорит он. Это сделали нацисты, говорит Ребе. Ну их всех к чертям — и тех и других — с их вонючей политикой! Соединенные Штаты Европы — вот единственно стоящее дело.

От Урала до Лиссабона. Осталось три минуты. Сегодня вечером пойду с Гиттой в кино. Хоть бы она не вздумала привести с собой Карин! Та потом тащится сзади, как собачонка, до самого дома. Если Лорд отдаст мне марку за сигареты, то у меня хватит еще на две порции эскимо в «Милано». Тридцать секунд. Теперь Ребе еще придумал доклады! Я молчу. Тройка мне в самый раз. Конечно же, вызвался Фавн...

— Она дура, а он тоже юрист! — сказал Нонненрот. — Если правительство на три четверти состоит из юристов — откуда здесь взяться святому духу?

— Не думаю, что причина в этом, — заявил Харрах. — Учителя начальных школ устроились неплохо, штудиенраты — тоже. Я вас спрашиваю, господа, почему? В чем дело?

Нонненрот махнул рукой.

— Могу вам точно сказать: кума учителя из лесной школы и кума учителя из степной школы тянет за уши профсоюз, а у господ с высшим образованием сидят в ландтаге их бывшие дружки — корпоранты!

— Корпорация студентов-католиков! — сказал Матцольф.

— Вот именно.

— Преподаватели профессиональных училищ и учителя приготовительных классов — все получили прибавку, все, кроме нас.

— А ведь здесь есть какая-то преднамеренность.

— Вот, вот. Чувствуешь предвзятость, и просто не хочется работать.

— Вы только сейчас это заметили? Я еще два года назад писал об этом в союз.

— В союз! Да перестаньте вы говорить об этом союзе!

— Кто, по-вашему, ведет переговоры с финансовым комитетом? Неужели союз? Нет, президиум! А это совсем другое дело, господа.

— Правильно. А вы, шутки ради, хоть раз поинтересовались, кто сидит в президиуме? Три директора и два вице-директора, — сказал Матцольф.

— Вы только послушайте!

— У кого крест, тому и благодать.

— Никак не пойму, чего вы так волнуетесь, — сказал Нонненрот. — Зачем вы вступили в этот ублюдочный союз? Я больше таких вещей не делаю.

— Ну, ваша позиция тоже неправильна, уважаемый коллега! — горячился Хюбенталь. — Надо, чтобы кто-то представлял наши интересы, не то в один прекрасный день нас вообще затрут.

— Чувствуете вы теперь, откуда ветер дует? СПГ не препятствует тому, чтобы среднюю школу у нас засосало снизу и ее поглотила бы начальная, а ХДС отдает нас на съедение сверху, то есть гимназии!

— Детки, хотите — сердитесь, хотите — нет, а меня все это интересует, как прошлогодний снег, — сказал Нонненрот. — Те несколько лет, что мне осталось здесь ишачить, я уж как-нибудь перетерплю. А там — мое почтение, дедушка собирает почтовые марки!

— Что ж, дорогой коллега, если у вас уже вообще не осталось ни капли идеализма...

— Слушайте, бросьте вы эту свою болтовню об идеализме! Стоит мне только услышать это слово, как у меня начинается трясучка, — сказал Нонненрот и резко постучал костяшками пальцев по столу. — Еще Вильгельм в четырнадцатом году внушал его моему родителю. В результате тот быстро схлопотал себе березовый крест. Потом явился сапожный подмастерье из Гейдельберга<sup>1</sup> и тоже долдонил про идеализм! А потом — бездомный художник от слова «художник»<sup>2</sup>, и пожалуйте — девять лет в России — тоже идеализм! Нет,

---

<sup>1</sup> Фридрих Эберт (1871—1925), президент Веймарской республики, был сыном портного из Гейдельберга и в юности обучался шорному ремеслу.

<sup>2</sup> Имеется в виду Гитлер.

детки, на это ухо Вилли глух — отныне, присно и во веки — аминь!

Годелунд приложил палец к губам.

— Секретарша, — тихо сказал он.

Нонненрот обернулся.

— Что нового в ставке фюрера?

— Сбор пожертвований в пользу Конго, — ответила фрейлейн Хробок.

Нонненрот скорчился от смеха.

— Сейчас мы соберем этим чертям деньги, а они потом на наши же средства вооружат против нас свою черную армию, — проворчал он. — Эх, парень, парень, когда мы в России подыхали от голода...

— Слава богу, на сей раз виноваты не злые немцы!

— А нам кто-нибудь давал средства? — спросил Гаммельби. — В конце концов мы же не идиоты.

— Собирать им деньги, чтобы они могли купить себе больше баб.

— И золотую кровать.

— Говорят, у Нкрумы триста костюмов.

— Если бы только это. А вот они покупают в Москве самолеты на наши деньги, интересно знать, против кого они их потом пошлют?

— Да, но в этом деле есть ведь и политическая сторона, — заметил Годелунд.

— Африка же становится коммунистической! За исключением, пожалуй, Южно-Африканского Союза. Это для меня ясно, — сказал Матцольф.

— Да, но народ там бедствует!

— У нас у самих есть бедняки!

— Например, пенсионеры.

— Самое плохое социальное обеспечение во всей Европе!

— Да, но вернемся к вопросу о жертвованиях...

Годелунду все не удавалось изложить свои идеи.

— Да что говорить, эти черномазые просто не желают работать!

— Они вообще не умеют обращаться с деньгами!

— Как малые дети!

— Да, но ведь мы делаем все это не из одной только гуманности, — снова заговорил Годелунд. — За всем этим кроется просто-напросто страх перед русскими! На днях я беседовал с одним господином из Бонна, который действительно в курсе дела...

— Послушались бы нас в сорок пятом, так Западу не пришлось бы теперь дрожать перед Иваном! — сказал Хюбенталь.

— Во всяком случае, нас, немцев, в Африке любят.

— Потому что мы обходимся с ними, как с людьми.

— А не то что французы: цап-царап, чтобы *grande Nation*<sup>1</sup> могла загорать на Ривьере, а в Брюсселе кто-то изображал из себя великого человека!

— Шарль д'Арк!

— Генрих, не оскорбляй предмет поклонения наших древних вождей, — сказал Нонненрот.

Зазвенел звонок.

— Вон Микки бегают по двору и рыщут, чего бы пожрать. Есть у тебя еще бутерброд с колбасой?

Руль сунул руку в объемистый карман своей куртки.

— Зельц!

— Вон!

Шанко разнял бутерброд. Они подошли к дворницкой и присели на ступеньки.

Шанко свистнул в два пальца и приподнял над землей кусочек зельца.

— Поди-ка сюда, дворняга! — сказал он. — Куш!

Пес послушно растянулся на черном шлаке школьного двора под слабыми лучами мартовского солнца, положил голову на передние лапы и выжидательно уставился на ребят.

Шанко разломил зельц на куски и самый большой кусок палкой пододвинул к морде собаки. Остальные он бросил чуть подальше, на расстояние одного-двух метров.

Пес задрожал, скосил глаза и стал облизываться.

— Черт с тобой, жри! — позвал Шанко, но, как только собака вскочила, крикнул: — Это от Гитлера! Пошел!

Пес выгнул спину, уперся передними лапами в землю и замер. Только глаза его перебегали с кусков колбасы на Шанко и обратно.

— Ну! Жри уж! Ну, Микки!

Пес засеменял к остаткам зельца, секунду помед-

---

<sup>1</sup> Великая нация (франц.).

лил, потом двинулся дальше, но, только он хотел схватить добычу, как Шанко пронзительно крикнул:

— От Гитлера! Пшел!

Пес заскулил и, отвернув морду, улегся среди разбросанных кусочков колбасы.

— По-моему, это гадость, — сказал Руль.

— Что?

— Да эта пытка.

— Забулдыга тоже гоняет его туда-сюда, пока даст ему что-нибудь проглотить.

— Забулдыга!

— Старик, да ведь это готовый номер для цирка! Или для балагана!

— Эй, Микки! — сказал Руль и протянул дворняжке самый большой кусок колбасы. — Можешь слопать! Это не от Гитлера, от Аденауэра!

Пес не двигался с места.

— У него тоже своя гордость есть, — сказал Шанко. — Думаешь, он так и позволит водить себя за нос!

— Не слушай его, Микки! Вон те куски — от Аденауэра. Жри!

Пес подбежал и жадно проглотил маленький кусочек.

— Паразиты чертовы! Не троньте собаку!

В дверях уборной стоял Бекман, посасывая погасший окурочек.

— Вы же сами любите с ним возиться, — сказал Шанко. — Иначе бы не стали его дрессировать.

— Одно дело — когда взрослый, а другое — когда сопляки. Поняли? И катитесь отсюда, пока не надавал по шее!

Шанко опустил руку в карман.

— Как насчет сигареты, господин Бекман? После стаканчика пива — покурить одно удовольствие.

Ворча что-то себе под нос, Бекман спустился с крыльца. Он взял у Шанко сигарету и сунул ее себе за ухо.

— Только чтоб сами не смели курить!

— Боже сохрани! Мы держим сигареты только для вас!

Пес тем временем подполз под лестницу, где были сложены брикеты угля, и торопливо проглотил колбасу.

...если только это не рак. Врачу я не доверяю. Что значит опухоль? Метастазы. Я должен настаивать на том, чтобы ее перевезли в университетскую клинику. Прямо на этой неделе. Там более современные методы. Обстрел электронами. Сколько это будет стоить? В крайнем случае можно взять государственную ссуду. Если только это не рак. Сорок четыре года — в наше время для женщины это еще не старость. И надо же, чтобы это случилось именно теперь, когда парни стали, наконец, зарабатывать, и неплохо. А до последнего времени она ни разу не болела. Боже меня сохрани показать, какие меня иногда мучают страхи. Пятый урок — неужели этот чертов пятый урок нельзя отменить? Тогда бы я мог хоть раз попасть в клинику утром. 6-й «Б» — что я давал им на прошлой неделе? Понятия не имею. Просто ужас, сколько они задают вопросов. Если только это не ...

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, господин Куддевёрде!

— Садитесь! Фарвик, чем мы занимались на последнем уроке рисования?

— Протокол вел Тиц, господин Куддевёрде!

— Хорошо! Тиц, читай, пожалуйста.

— Тиц не может читать, господин Куддевёрде!

— Почему не может? Ну, я спрашиваю, почему Тиц не может читать?

— Потому что он отсутствует, господин Куддевёрде!

— Ага! Он отсутствует. Значит, Тиц отсутствует. Довольно часто, как я замечаю. А причина? Староста!

— Справки еще нет, господин Куддевёрде, — сказал Клаусен. — Тиц отсутствует сегодня первый день.

— Ну, тогда пусть читает... Мицкат!

— Не моя очередь, господин Куддевёрде.

— Не твоя очередь? Что это еще значит — не твоя очередь? У меня каждый всегда на очереди.

— Но я не записывал.

— Что ж, тогда устно. Давай рассказывай.

— Значит, так. Сначала, после перемены, мы пошли в рисовальный зал и расселись там. На передних местах всего несколько человек, большинство — на задних. Потом явился господин Куддевёрде, наш художественный воспитатель, и стал что-то рассказывать нам

о рисунках пером. Но вскоре он прервал свой рассказ и призвал нас взяться за работу. Тема была: вестфальский фахверковый дом. Кто забыл дома перо, должен был набросать эскиз плаката. Тема — реклама. Я нарисовал эскиз: «Носи пуловер, как у Лолло, и у тебя не будет прыщей». Но преподаватель так же мало интересовался моим прелестным эскизом, как мало интересуется сейчас моим замечательным докладом, потому что он изо дня в день делает одно и то же: изучает расписание автобусов.

— Громче, Мицкат. Никто не может разобрать, что ты там бормочешь!

— Хорошо, господин Куддевёрде! Мы продолжали, значит, прилежно трудиться, делая уроки, как на всех уроках. Некоторые особенно проворные ребята в конце первого часа даже сдали свои рисунки учителю. Господин учитель сказал: «Если будете продолжать в том же духе, то сможете получить в аттестате четверку». В течение второго часа господин преподаватель сначала показал нам рисунки пером некоторых бывших учеников этого заведения — все они вышли из школы почти гениями. Прирожденные художники-перовики. Раньше люди были хоть и глупее, чем в нашу проклятую эпоху, зато куда серьезней. Поэтому мы должны прилежанием возместить то, чего не хватает нашим учителям по части интеллекта.

— Михалек, Ремхельд, Муль, что здесь смешного! Хамье бестолковое! Мицкат, я же тебе сказал, перестань мямлить.

— ...и вот, в течение второго часа рисования, который называется у нас рабочим часом, все очень напряженно трудились, потому что глава о белках совсем не маленькая.

— Громче! Не цеди сквозь зубы, мальчик!

— Мы быстро навели последний глянец на свою работу, которой угрожала опасность в виде бесценных советов нашего преподавателя.

— Перестань чепуху молоть, Мицкат!

— Вскоре особа учителя покинула нас на довольно долгое время по причине какого-то важного заседания. Начался весьма пикантный разговорчик о нашем предстоящем классном вечере. Ах ты черт, что тут только не говорилось про девочек с изюминкой, дешевых куколок и про ценные кадры. Когда господин преподава-

тель, наконец, все-таки вернулся, он нашел, что мы слишком уж расшумелись.

— Рассказывай дальше, я тут недалеко. Дверь не закрывать!

— Впрочем, он скоро успокоился, потому что по натуре он человек добродушный. Зазвенел звонок и грубо оборвал дальнейший подъем нашей многообещающей деятельности. Прежде чем мы устремились из рисовального зала в бурную жизнь, господин учитель рисования напутствовал нас крылатыми словами: «Ребята, поставьте стулья на столы!» Мы повиновались, но при этом не обошлось без шума, который наш преподаватель готов был истолковать как недисциплинированность. Однако мы счастливо избежали его гнева.

Итак, мы продолжали трудиться...

...если я кончу на пять минут раньше, то успею на автобус двенадцать семнадцать. Нет, надо еще зайти в цветочный магазин. Розы. Когда я в последний раз покупал ей розы? В Финале Лигуре. Мы отдыхали в Финале Лигуре, и у нее как раз был день рождения. В пятьдесят восьмом. Нет, в пятьдесят седьмом, в пятьдесят восьмом мы строились. Тогда ей исполнилось тридцать восемь. Розы. Красные или желтые? Поеду автобусом двенадцать тридцать семь. На этот я еще попаду. Изотопы. Сможет ли Хюбенталь мне все это объяснить? Физики должны кое-что в этом смыслить. Я не понял ни слова из того, что мне говорил профессор. Если только это не рак. Гамма-лучи? Что за белиберду несет этот Мицкат? Он думает, я не слушаю. Он прав: я не слушаю...

— Говори громче, Мицкат! Никто же не понимает, что ты там бормочешь!

— Хорошо, господин Куддевёрде. Итак, мы продолжали прилежно трудиться, делая уроки, как на всех уроках...

...вот наглость. Надо принять решительные меры. Этот Мицкат — один из худших. Прислали к нам из гимназии. Такие, как правило, никуда не годятся. Неудачники — люди опасные. Где классный журнал?



Я еще не взял его из учительской. Пойти и записать этого Мицката. Замечание за наглое поведение, подпись: Куддевёрде. Три замечания — посылается извещение родителям. Семь замечаний — *consilium abeundi*<sup>1</sup>. Это действует. Надо записать его! Если я не опоздаю на автобус двенадцать тридцать семь, то в час буду уже в больнице, в ее отделении. Сестры не очень-то любят, когда я прихожу в это время. Мертвый час. Что за гвалт поднимают эти архаровцы, как только повернешься к ним спиной. Здорово я их посадил. Им и сказать нечего. Только за уход — тридцать пять марок. Сколько может запросить врач? А эта штука, как ее — микроволновая спектроскопия, или что-то в этом роде. Наверно, дорого. — Громче, Мицкат! — Запишу его. Нельзя допускать, чтобы мой авторитет подрывали еще и здесь. Изотопы. Спросить Хюбенталя! Да нет, он только делает вид, что знает, важничает. Хвастун! И болтает всякий вздор. В большом Брокгаузе наверняка есть статья об этом, а Брокгауз имеется у нас здесь, в школе. Но стоит в кабинете у шефа. Ерунда, только окончательно потеряю покой. Двенадцать тридцать семь...

— Господин Куддевёрде, у меня все.

— Хорошо, садись. Достаньте тушь и перья. Сегодня мы будем рисовать доменную печь. В чем дело, Шанко?

— А можно нарисовать абстрактную доменную печь, господин Куддевёрде?

— Ну что ж, пожалуйста. Но только как следует. Приступайте. Курафейский, что тебе еще надо?

— Что значит абстрактный, господин Куддевёрде?

— Я же вам сто раз объяснял!

— Но я не понял, господин Куддевёрде!

— Беспредметный. Абстрактный — значит то же, что беспредметный.

— Разве может быть беспредметная доменная печь?

— Нет, не может. Конечно, нет. Балбес! Курафейский, ты великовозрастный балбес! Садись, наконец, за стол и принимайся за работу! В чем дело, Гукке?

— Как вы считаете, господин Куддевёрде, Пикассо действительно пишет абстрактные картины?

— Пикассо? Да, можно сказать, что он пишет абст-

---

<sup>1</sup> Строгое предупреждение (латин.).

рактные картины. Но не всегда — время от времени. Только мы не будем сейчас говорить о Пикассо. Муль?

— А какого вы, собственно, мнения о Пикассо, господин Куддевёрде?

— Это я вам скажу, когда мы будем заниматься Пикассо. Сегодня мы им не занимаемся! Сегодня мы рисуем доменную печь. Ну-ка поживее!

— Мой отец говорит, что картины Пикассо ни на что не похожи!

— Он ненормальный!

— Шизофреник!

— Кривое зеркало!

— Выродившееся искусство.

— Сжечь!

— Кастрировать!

— Тихо, тихо! Если вы сейчас же не замолчите, я приму меры! Так и быть, скажу вам несколько слов о Пикассо, раз он вас так интересуется. Но потом мы будем рисовать доменную печь! На следующем уроке вы сдадите мне рисунки. Все как один. Фарвик, ты соберешь работы. Так что сказал твой отец, Муль?

— Он считает, что Пикассо совершенно не умеет рисовать, его картины ни на что не похожи.

— Не похожи? Да, можно сказать и так. Искусствоведы называют это безнатурностью. Утрата чувства симметрии. В конце нашего курса мы еще вернемся к этому вопросу. А может быть, кто-нибудь хочет сделать доклад о Пикассо? Фарвик? Хорошо! Я уже подумываю о том, чтобы поставить тебе четверку, а может быть, и пятерку.

— Когда я должен буду сделать доклад, господин Куддевёрде?

— Ну, скажем, через неделю. Задача нелегкая. Ну да ты справишься! Есть у тебя «Энциклопедия современной живописи»? Хорошо. А то я бы мог одолжить тебе свою. Так, а теперь принимайтесь за доменную печь! Вспомните Дортмунд, Бохум, Ваттеншейд! Кто бывал в этих городах? Девять человек. Хорошо. Кто у вас староста?

— Руully!

— Хорошо. Руully, садись сюда, за кафедру. Будешь следить за порядком. Мне придется уйти на несколько минут раньше. Но берегитесь, если я услышу хоть слово! Я приму свои меры. Итак, начинайте!

...вот уж действительно Нуль! Старый хрыч! «Энциклопедия современной живописи»! Предложил бы мне хотя бы Гафтмана. Да у него и у самого нет. Он даже не знает, что это такое. Дальше Гогена и Ван-Гога — ни шагу. В лучшем случае добрался до Марка. Где уж там! Небось дальше Мака не двинулся! Как мои старики. Может быть, все-таки дошел до Марка. А в гостиной у него, конечно, висит «Башня голубых коней»<sup>1</sup>. Чтобы все сразу увидели: он на уровне. Но в спальне — три квадратных метра душеспасительной мазни «Господь мой пастырь». Лоснится от елеса. Обераммергау<sup>2</sup>. Духовная олимпиада. Я ему такой доклад отгрохаю, что он ни слова не поймет! Джонни опять устроил отличный спектакль! Надо напомнить ему о вечеринке. Jazz, poetry and painting<sup>3</sup>. Пластинка — восторг. Дэйв Брабек. Джей Джей Джонсон. Бенн. Только где я достану подходящий фильм о Пикассо? Можно будет здорово пошуметь! Джонни, Лорд, Трепло, Бродяга, Пигаль ет moi<sup>4</sup>. А Фавн? Нет, тот решает мировые проблемы. Зато парочка кадришек. Рената не придет. Ее увел этот шейх — Пижон. Габи, Лолло, Муха, Пикки, Лейла. Может быть, еще Карин. Да ну ее, эту жизнерадостную кретинку. Но музыка будет играть дольше, чем идет фильм. Ладно. Да саро!<sup>5</sup> Это как раз то, что надо. Без конца, без начала. А соберемся у Джонни, в летнем домике. Вилла, «На холме»! Если мне не удастся раздобыть подходящий фильм, я буду импровизировать углем! Black and White<sup>6</sup>. Должно получиться. Абстрактные нагие тела. В качестве натурщицы — Лолло! Неужели Трепло вчера с ней... Вранье! Мне она врезала, когда я вчера сунулся к ней. Нуль и правда опять смывается. Вот это работяга...

— Да заткнитесь вы, — рявкнул Руль. — Если сюда заглянет шеф, он вкатит нам пять страниц английского, и будем сидеть до вечера.

---

<sup>1</sup> Картина немецкого художника-экспрессиониста Франца Марка.

<sup>2</sup> Город в Баварии, где в дни религиозных праздников разыгрываются мистерии, как в средние века.

<sup>3</sup> Джаз, поэзия и живопись (англ.).

<sup>4</sup> И я (франц.).

<sup>5</sup> Сначала (итал.).

<sup>6</sup> Черное и белое (англ.).

— Знаете вы этого господина?

Годелунд протянул д-ру Немитцу через стол какую-то фотографию.

— Нет. Кто это? Киноактер?

— Я не знаю. Его фамилия мне ничего не говорит.

— А у кого вы отобрали этот снимок?

— В шестом «Б» на прошлой неделе.

— Это же пресловутый американский тенор, — сказал Нонненрот и передал фотографию дальше. — Джимми — Карузо современных дикарей.

— Ну и физиономия! — заявил Харрах и поднял очки на лоб. — И такой тип — кумир нынешней молодежи.

— Вы верите, что это действительно так? — спросил Годелунд.

— Уважаемый коллега, однажды случайно я оказался во Франкфурте, когда этот халтурщик давал, не знаю, как это назвать, концерт — не скажешь...

— Show, — сказал Кнеч.

— Да, как будто бы теперь это называется именно так. Значит, давал представление. Перед — чтобы не соврать, — перед пятью тысячами юнцов!

— Полузрелых!

— Этого слова, коллега Нонненрот, я из педагогических соображений никогда не употребляю! Но вы, конечно, правы.

— А к концу в зале не осталось ни одного целого стула!

— Я как раз и хотел это рассказать! Вы тоже слышали об этом?

— Это был не Джимми Робинсон, — сказал Виолат. — Тот жил в Федеративной республике только в качестве GI. Наверное, вы слушали кого-то другого.

— Вы удивительно хорошо осведомлены об этом выдающемся артисте, уважаемый коллега!

— У всех этих дергунчиков — золото в коленной чашечке, — изрек Нонненрот.

— Когда вы назвали это имя, я вспомнил другой случай, хотя он произошел несколько лет назад, — сказал Хюбенталь. — Тогда один из этих, пожалуй, психологически правильное будет сказать «полужеленых», — так вот, один из них написал мелом на стене Бамбергского собора...

— «Моего бога зовут Джимми» — я тоже читал об этом, — сообщил Харрах. — Это даже была девчонка.

— Разве это не кошмар?

— Ужасно. Но симптоматично.

— И это народ поэтов и мыслителей!

— Ничего удивительного, господа, — сказала Матушат, — что дисциплина, производительность труда, нравственный уровень год от года все падает.

— При таких-то образцах!

— Но неужели у нашей молодежи действительно нет других идеалов, кроме этого печально знаменитого тенора и ему подобных? — спросил Хюбенталь и с возмущением оглядел присутствующих.

— Альберт Швейцер! — предположил Гodelунд.

— Да, для безмолвных созерцателей. Но где они теперь?

— Разве интересы этих юнцов не сосредоточены целиком на девчонках?

— Ну конечно. Неужели вы думаете, что в нашем шестом «Б» кто-нибудь возводит в идеал Альберта Швейцера? Уве Зеелера — еще пожалуй или, если брать повыше, Вернера фон Брауна...

— Или Бриджит Бардо!

— Господин Нонненрот, господин Нонненрот, — произнес Гodelунд.

— Скажите, это правда, что Альберт Швейцер больше уже не немец? — спросил Матушат.

— Швейцер не немец? То есть как?

— Говорят, он принял французское подданство.

— Когда?

— После первой мировой войны.

— Первый раз слышу, — сказал Гodelунд. — Моя жена обязательно бы мне рассказала. Она с юных лет занимается Альбертом Швейцером.

— Вам это сообщил какой-нибудь француз? — Хюбенталь никак не мог примириться с новостью.

— Нет. По-моему, это было в «Шпигеле».

— Мерзкий журнал! Не читаю из принципа.

— Поверьте, господа, там сотрудничают одни подонки. А широкие массы интеллигенции попадают на их удочку.

— Подрывная тактика!

— Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но

если всякий паршивый журнальчик может забрасывать правительство грязью...

— Демократия, уважаемый коллега!

— Да, но к чему мы придем?

— Уж это мы увидим! Увидим здесь, на школьном фронте, скорее, чем кто-либо другой.

— И прежде всего в шестом «Б»!

— Что опять натворил шестой «Б»? — спросил Криспенховен, входя в учительскую.

Годелунд молча протянул ему снимок, который только что обошел вокруг стола.

— Кто принес это?

Годелунд с улыбкой пожал плечами.

— Ну, я полагаю, что хоть классного руководителя они должны были посвятить, — коротко сказал Випенкатен.

— Нусбаум!

— Ну, тогда я ничему не удивляюсь! — Нонненрот вошел в раж. — Парень таращит на тебя глаза, словно только что глотнул святого духа, но я уверен — этот посланец крестьянской бедноты все время держит кукиш в кармане!

— Мальчишка распушен до предела! Как только он ступит за порог школы, он даже не плюнет в нашу сторону!

— У мальчика нет отца, — сказал Криспенховен.

— Разве Нусбаум потерял отца? — спросил Годелунд.

— Да. На фронте.

— Ну, пожизненного права на хамство это все-таки не дает, — вставил Хюбенталь.

— Большой драмы в том, что мальчуган принес в школу этот снимок, я не вижу.

Випенкатен с минуту пристально смотрел на Виолата.

— Драмы? Драмы, уважаемый коллега, здесь, может быть, еще и нет. Но одно тянет за собой другое! Я бы мог кое-что сказать вам относительно характера этого ученика! Проработав педагогом тридцать три года, видишь глубже, чем когда только понюхаешь школы. Не примите это как выпад против молодых коллег или — тем более — против вас лично, уважаемый коллега Виолат! Кроме всего прочего, успеваемость Нусбаума по моему предмету — по стенографии — в последней четверти угрожающе снизилась.

— Аналогичный случай в моем секторе.

— Вы позволите мне взять эту фотографию? — спросил Криспенховен. — Я хотел бы побеседовать с парнем.

— Ради бога — если вы находите это целесообразным, вы же классный руководитель.

— Побеседовать с парнем! — ворчал Випенкатен. — Вот увидите, к чему приведет вся эта мягкотелость.

В дверь настойчиво постучали.

— Это шеф! — сказал Криспенховен. — Он хотел нам что-то сообщить.

Директор Гнуц обошел вокруг стола и каждому из присутствующих пожал руку — крепко, до боли. Затем он сел в кресло во главе стола, которое пустовало в ожидании директора — длинный, худой, изможденный желудочной болезнью.

— Господа! Завтра к нам прибывает новый коллега — преподаватель английского языка и истории господин Йотгримм. Я позволю себе сказать, что мы сделали удачный выбор. Капитан-лейтенант, с высшим образованием, — подчеркивая это, я отнюдь не хочу ущемить коллег, которые пришли к нам из начальной школы и, так сказать, выбились из низов. Мы рады каждому, кто исполняет свои обязанности с воодушевлением, преданностью и от всего сердца. Я хотел только сказать: у нашего нового коллеги превосходная репутация! А что касается его педагогических возможностей, то здесь я мог бы уже высказать свое суждение — ведь мы с ним ведем один и тот же предмет, — при первом знакомстве он произвел наилучшее впечатление! В полном смысле слова. Полагаю, я не встречу возражений с вашей стороны, если предложу, чтобы мы собрались здесь завтра после пятого урока как бы для введения его в должность. Нам нужно еще обсудить кое-какие вопросы нашего школьного распорядка — это можно объединить. Да, коллега Матцольф?

— Я позволю себе спросить — что, наш уважаемый коллега католик или евангелического вероисповедания?

— Евангелического. Но какое это имеет значение? Ведь вряд ли у вас, уважаемый коллега, сложилось впечатление, что при моей системе пропорция...

— Я только позволил себе спросить, господин директор. Благодарю вас!

— Странно! Ну что ж, теперь снова за работу! Всего доброго, господа! — Директор Гнуц четким и гневным шагом покинул учительскую, не закрыв за собою дверь.

— У меня есть для тебя новый анекдот про Эйхмана! — сказал Михалек.

— Это будет номер ссмыдесят восемь. Когда у меня наберется сотня, папаша купит мне самый маленький японский транзистор, четыре диапазона.

Муль вытащил из кармана джинсов записную книжку.

— Валяй!

— Эйхман пришел к апостолу Петру...

— Во-от такая борода, — проворчал Муль.

— Знаю другой: Эйхман перед повешением принял еврейство.

— Зачем?

— Затем, чтобы на виселице по крайней мере болтался еврей!

— Сила.

Муль записал.

— Еще один?

— Еще два. Что я буду с этого иметь?

— Три гвоздика.

— Четыре!

— О'кэй!

— В своей будущей жизни Эйхман должен стать генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

— Почему?

— Кроме него, никто не сможет решить проблему беженцев!

— Крепко.

— Что общего между Эйхманом и Иисусом Христом?

— По-моему, этот у нас уже есть, — сказал Муль. — Сейчас посмотрю!

Чтобы не прогадать, он дал Михалеку пока только две сигареты.

...мне бы их заботы. Педагогическое лицемерие. Нет, пожалуй, еще хуже: искренняя убежденность. Гораздо



хуже! Но в одном им надо отдать справедливость: у них есть точка зрения. А у меня нет. Утратил в возрасте двадцати лет. Оберюнгбаннфюрер Виолат. В России. И окончательно на Кубани, у предмостного укрепления. Anno diaboli 1943<sup>1</sup>. Те залегли высоко — мы карабкались, как на учениях в казарменном дворе. В шесть-семь заходов. Но они стреляли все снова и снова, когда ты этого уже не ждал. И вот кончились патроны. Или пулемет заклинило. Жарко пришлось. Но позицию мы не сдали! Дрались до последнего человека. По твоему приказу, обер-лейтенант Виолат! Последний человек уцелел, и это был ты. Новенький дослужился до капитан-лейтенанта. Наверное, вступит в кружок ветеранов. У них тоже есть точка зрения. Сегодня ночью я опять утопил весь дом в слезах. Как сказал министр: «Старый дурак — не может удержать слезы и не спит по ночам, когда думает о Хиросиме!» Про кого же он это сказал? Про Альберта Швейцера или Отто Гана? С меня хватит Кубани. До последнего человека, обер-лейтенант Виолат! Я так и не смог через это перешагнуть. Слишком ты мягок, обер-лейтенант Виолат! Спустия восемнадцать лет твой проклятый долг и обязанность — окончательно списать войну со счета. И маршировать дальше. Нет, только не это! Значит, быстро включиться в восстановление. Мы никогда не сдаемся. Вперед по могилам! Кроме того, у нас есть точка зрения, есть убежденность. Есть у Хюбенталя, у Випенкатена, у Гodelунда, у Матушата, у Гнуца — этого Дуболома. У Нонненрота точки зрения нет. Почему же, есть — наплевизм. Тоже ведь точка зрения. Его точка зрения — не иметь точки зрения. А Криспенховен? Этот уволен вчистую. Видно по нему. Пал и воскрес. В России лежит под землей, здесь же только на побывке. На пасхальные каникулы опять поеду в Париж. Один. Нечего сказать, счастливый брак!

Rue Abukir: chez Akli. «Fais la terrassel Comment ça va, mon cher?» — «Ah, il marche encore, mon copain!» — «Qu'est-ce que tu bois? Du rouge?» — «Mais oui, toujours, toujours!» — «Allez, le grand Rouge. Lentement, lentement! Tu bois comme un trou! J'ai un nouveau disque — ah, voilà mon ami pour la vie: Georges Brassens. L'artiste! Ecoute! C'est magnifique:

---

<sup>1</sup> В лето дьяволово 1943 (латин.).

...mais bêtement  
même en orage  
les routes vont  
vers des pays...

— Bonjours, messieurs!

— Bonjours, monsieur Violat!

— Asseyez-vous! Commencez à lire, Adlum!<sup>1</sup>

— Материал последнего урока: «Une esquisse biographique»<sup>2</sup>.

На перемене наш товарищ Клаусен выписал на доску из учебника полную биографию одного человека. Мосье Виолат велел стереть имя этого человека, дату его рождения, адрес, данные о родителях, избранную им профессию и так далее и вписать соответствующие данные трех наших учеников. На следующий, то есть сегодняшний, урок мы получили задание написать une esquisse biographique про самого себя и сдать его преподавателю, переписав начисто на листе формата ДИН А-4. Клаусену поручено собрать работы.

— C'est tout, mon cher?

— C'est tout, monsieur Violat!

— Très court, n'est-ce pas, mon ami?

— Je regrette, monsieur Violat!

— Quant à moi: je l'espère, je l'espère!<sup>3</sup> Курафейский?

---

<sup>1</sup> Улица Абукира — у Акли. «Пойдем на террасу! Как дела, дружище?» — «Ах, дела пока идут, приятели!» — «Что будешь пить? Красное?» — «Ну да, как всегда!» — «Давай, великое Красное. Потихоньку, потихоньку! Ты прямо бездонная бочка! У меня есть новая пластинка — ах, это мой друг на всю жизнь — Жорж Брассанс. Вот артист! Слушай! Это великолепно:

... но как странно,  
даже в бурю  
бегут дороги  
во все концы...

— Здравствуйте, господа!

— Здравствуйте, господин Виолат!

— Садитесь, Адлум, читайте (франц.).

<sup>2</sup> Биографический очерк (франц.).

<sup>3</sup> — Это все, мой друг?

— Все, господин Виолат!

— Очень уж кратко, верно?

— К сожалению, господин Виолат!

— Что касается меня — я не теряю надежды! (франц.).

— В биографии, которую мы писали на уроках немецкого, требуется указать вероисповедание. Зачем?

— Не обязательно. Но так принято. Зачем, спрашивается? Клаусен!

— Я полагаю, что от католического предприятия нельзя требовать, чтобы оно приняло на работу ученика евангелического вероисповедания, если оно может взять не менее способного католика! И наоборот, конечно.

— Ого!

— Ты, как видно, другого мнения, Курафейский?

— Этого теперь не может себе позволить ни одно предприятие, — запротестовал Муль. — Теперь главное — качество работы.

— А ученики столь же редки, как девственницы! — добавил Мицкат.

Виолат три раза постучал по кафедре шариковой ручкой.

Слова попросил Затеми́н.

— Разве взгляды Клаусена на этот вопрос не противоречат конституции? Никто не должен терпеть ущерба по причине своего вероисповедания или расовой принадлежности — ведь так, кажется, там сказано!

— Я разделяю твое мнение, Затеми́н, но я не преподаватель истории!

— А к какой расе и какой церкви, собственно говоря, принадлежит господин Грёневольд? — спросил Гукке.

— Господин Грёневольд евангелического вероисповедания. Ты же это знаешь, Гукке!

— Да, но я слышал...

— Что?

— Я бы не хотел говорить это при всех.

— Его отец сказал, что господин Грёневольд еврей, — пояснил Муль.

— Ну и что же? Если для тебя, Гукке, это такая важная проблема, то лучше всего тебе поговорить об этом с самим господином Грёневольдом! Я уверен — у него найдется что сказать тебе по этому поводу! Шанко!

— Меня гораздо больше интересует, почему в биографии, которую мы пишем на немецком, надо указывать еще профессию отца!

— Консервативный капитализм! — сказал Затеми́н.

Виолат трижды постучал по кафедре шариковой ручкой.

— Ну, когда мы знаем, из какой семьи вышел человек, это нам все-таки кое-что дает.

— Неужели вы действительно думаете, господин Виолат, что из так называемого добропорядочного буржуазного дома всегда выходят более стоящие люди, чем из общежитий пролетариев?

— Нет, Затемин, этого я, конечно, не думаю. Ну вот, мы с вами уже почти что влезли в политическую дискуссию! Почему же вы не спросили обо всем этом у доктора Немитца?

— Ему некогда, он должен читать свою «АДЦ»! — сказал Руль.

— Silence, mes amis, silence! <sup>1</sup>

— Здесь вообще можно разговаривать только с тремя учителями, — сказал Руль. — Для остальных мы всего только материал!

— Merdel! <sup>2</sup> — четко произнес Курафейский и продолжал дальше вырезать на крышке стола свои инициалы.

Виолат спустился с кафедры.

— Fini! <sup>3</sup> Дебаты окончены! — коротко сказал он. — А ты, Руль, и также Курафейский, Шанко, Затемин, Мицкат и прочие, вы все-таки еще подумайте, верно ли то, что вы здесь говорили насчет материала и т. д. Несправедливыми могут быть не только учителя! Так. Сегодня я принес вам несколько пластинок...

В дверь тихонько постучали.

Стуча каблучками, вошла фрейлейн Хробок, залилась краской и сказала:

— Извините, пожалуйста...

Класс встал, как один человек.

— ...дело в том, что получено срочное распоряжение правительства — представить данные о выборе профессии!

— Садитесь! — сказал Виолат и с минуту изучал анкету.

— Мицкат, не тарашь глаза, как сова! Присядьте, пожалуйста, на минутку, фрейлейн Хробок! Да, вот сюда, за кафедру! Так. Теперь пусть каждый из вас четко и ясно скажет мне, чем он собирается занимать-

---

<sup>1</sup> Тихо, друзья мои, тихо! (франц.).

<sup>2</sup> Дерьмо! (франц.).

<sup>3</sup> Все! (франц.).

ся после пасхи. Я буду записывать, в алфавитном порядке: Адлум?

— Работа по социальному обеспечению.

— Клаусен?

— Миссионер.

— Скушай еще ложечку у доброго миссионера, Лумумба! — пропищал Мицкат.

— Перестань кривляться, Мицкат, не то получишь затрещину! Фариан?

— Полиция.

— Фарвик?

— Школа прикладного искусства.

— Фейгеншпан?

— Бундесвер.

— Хельфант?

— Книготорговец.

— Гукке?

— Автомеханик.

— Курафейский?

— Clochard<sup>1</sup>.

— Ребята, ну не валяйте же дурака! Вы доведете меня до того, что я перестану быть учителем и стану долбилей.

— Честное слово, господин Виолат, я бы охотнее всего стал clochard'ом.

— А чем ты будешь en réalité?<sup>2</sup>

— Банковским служащим, — сдался Курафейский.

Фрейлейн Хробок взглянула на свои наручные часы и откинула со лба челку.

— Лабус?

— Магистрат.

— Лепан?

— Городская больничная касса.

— Михалек?

— Инженер-электрик.

— Мицкат?

— Торговое училище.

— Муль?

— Гимназия.

— Нусбаум?

— Сапожник-ортопед.

---

<sup>1</sup> Бродяга (франц.).

<sup>2</sup> На самом деле (франц.).

Фрейлейн Хробок вдруг рассмеялась на неожиданно низких нотах и поспешно прикрыла рот ладонью.

— Петри?

— Бундесвер.

— Ремхельд?

— Продавец. В магазине у родителей.

— Руль?

— Еще не знаю.

— За месяц до окончания? Ты что, еще не нашел себе места?

— Место есть.

— Так что же?

— Я еще не знаю, пойду ли я туда.

— Куда именно?

— На машиностроительный завод.

— Верный кусок хлеба! Это отец нашел для тебя, так ведь?

— Да.

— Ну, а ты кем хочешь быть?

— Учителем, — сказал Руль.

Виолат покачал головой.

— Подумай хорошенько, — сказал он. — Я бы теперь не пошел в учителя.

— Долбила.

— Родился, ушел на каникулы и умер!

Фрейлейн Хробок снова засмеялась.

— Silence! — крикнул Виолат.

— Пока напишем «механик». D'accord<sup>1</sup>, Руль?

— А может быть, я вообще не буду ни тем, ни другим, — пробормотал Руль.

— Ну ладно. Затемин?

— Редактор.

— Шанко?

— Инженер-строитель.

— Тиц?

— Его нет.

— Кто-нибудь знает, кем он хочет стать?

— Сборщиком конского навоза на автострате!

Виолат решительно направился к Мицкату, но не мог удержаться от смеха и сказал:

— Возьмешь на себя протокол сегодняшнего урока — не меньше трех страниц, понял?

---

<sup>1</sup> Согласно (франц.).

— Pardon, oui! <sup>1</sup>

— Тиц хочет в уголовную полицию, — сообщил Адлум.

Виолат пополнил статистику недостающими сведениями и отдал фрейлейн Хробок. Класс поднялся вместе с ней.

— Asseyez-vous, filous! <sup>2</sup>

Фрейлейн Хробок выплыла из класса.

Мицкат поглядел ей вслед и хотел что-то сказать, но, встретив взгляд Виолата, ограничился ухмылкой знатока.

Виолат с минуту смотрел в окно.

— Вы требуете, чтобы с вами прилично обращались, — сказал он, стоя вполоборота к классу. — Тогда извольте вести себя соответственно. Мицкат, включи проигрыватель! Сегодня мы займемся французскими chansons. Что мы понимаем под словом chanson?

...он должен был дать Мицкату по морде. Но мосье Брассанс не способен на крутые меры, слишком мягок. Смешно: старики непробиваемы как танк, а те, что помоложе, сразу раскисают, стоит нашему брату только пикнуть. Что-то неладно — и у тех и у других. Одни ничего не понимают, другие — все. Может быть, причина в этом. Муль опять поддел его на удочку и валяет дурака. Неужели тот ничего не замечает? Никогда не поверю. Ведь он малый умный. И тем не менее он глотает все, любую наживку. Руль не треплется. И Анти — тоже нет. Они говорят, что думают. Вот безмозглые! Здорово мне повезло, что я взял себе в отцы Адлума-старшего. Он тоже все понимает, но не киснет, а твердо стоит на своем и всегда знает, на что решиться. Во время этой их идиотской войны, которая меня ни капельки не интересует, он нисколько не утратил способности к суждению. Все здешние учителя где-то остановились в своем развитии. Гнуц, Випенкатен, Риклинг и Гodelунд — в 1918 году. Хюбенталь, Нонненрот и Матушат — в 1945-м. В субботу вечером мы с господином Адлумом-старшим опять отправимся в «Гильду»! Он совсем отпустил вожжи. А ведь я мог

---

<sup>1</sup> Извините, да! (франц.).

<sup>2</sup> Садитесь, ребята! (франц.).

бы пойти по плохой дорожке! Но не пошел. Доверие облагораживает! А вера в себя подстегивает. Правда ли, что Грёневольд еврей? Мне это безразлично. Но тогда ему следовало бы преподавать здесь что угодно — только не историю. Надо потолковать об этом с моим стариком. На него самого донес еврей-капо за то, что он, когда ехал в отпуск с фронта, бросил из вагона пачку сигарет в колонну заключенных какого-то концлагеря! Это было, кажется, в Польше. У Дина вообще нет отца. Поэтому он так злится из-за автобиографии. А учительшки ничего не замечают. Его мама-ша работала санитаркой. Может быть, она еще и в лапы к русским попала. Так или иначе, его здорово заносит влево. Исключительно из духа противоречия. Вот Лумумба — фанатик. Я думаю, он добьется своего и уедет туда. И пусть! Я не знаю ни одного человека из наших мест, который захотел бы туда вернуться. А вот здесь, на Западе, все еще попадаютсч чокнутые красные крикуны. Фавн опять психует по поводу учителей. Он принимает их чересчур всерьез: это просто функционеры профсоюза «Наука и воспитание». И несколько унтеров от педагогики. И несостоявшихся художников. И два-три неудачника, выбитые из колеи войной. Как этот мосье Виолат. Виолат терпеливо сносит все, что бы с ним ни проделывали. Интересно, он хоть к чему-нибудь еще относится серьезно? К себе самому наверняка нет. Все понимать и при этом сохранить точку зрения — этот несложный фокус ему не под силу...

— Наиболее известные у нас французские исполнители *chansons* — это наряду с Эдит Пиаф Жюльет Греко, Жаклин Буайе и Далида; среди мужчин Жильбер Беко, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Жак Брель и...

— Жорж Брассанс!

— *En effet*<sup>1</sup>, Гукке! А теперь поставь пластинку, Мицкат!

Надо перестать реагировать на каждую их попытку поддеть меня. Отвлекающий маневр. Остальные учителя просто отмахиваются от их вопросов. Осталь-

---

<sup>1</sup> Правильно (франц.).



ные. Потому-то ребята и спрашивают меня. И Криспенховена. И Грёневольда. А не остальных. В большинстве случаев их вопросы вполне искренни, даже если они задают их неожиданно, нахально. Более искренни, чем твои ответы! Руль, Курафейский, Шанко. И еще За-темин. Агитатор в миниатюре. Наверняка каждый вечер берет в постель транзистор, чтобы послушать страны восточного блока. Зачем? И верует в красное евангелие. В году 1963-м, в самом сердце федеративной Германии, за сто километров от Восточной зоны. Почему? Надо будет поговорить об этом с Грёневольдом. Еврей он или нет? Почему это их так интересует? Правда, далеко не всех, однако кое-кого. Почему? А педагогов? Некоторых тоже. Даже многих. В представлении нынешних немцев еврей — это мифический зверь: змей, сфинкс или агнец. Для меня нет. Во Франции я наконец-то немножко научился думать. Но роковые ошибки уже были сделаны! Indifférence et sentimentalité<sup>1</sup> — вот мои враги на сегодняшний день! Мицкат хотел меня спровоцировать. Зачем? Ему просто нравится быть в оппозиции. Бог с ним! Le popconformisme est un optimisme<sup>2</sup>. Сколько должно быть у них élan vital<sup>3</sup>, чтобы хоть в этой малости занять свою позицию. Глазами этого малыша Клаусена на тебя уже смотрит капеллан. «Я полагаю, что от католического предприятия нельзя требовать...» — будущий священник. Скажи хоть что-нибудь против! Или за! Indifférence — нет на свете слова, более ненавистного для меня, чем это. Потому что оно целиком относится к тебе, homme nul<sup>4</sup>. Этот Руль — самый своеобразный из всех ребят, какие когда-либо сидели у меня в классе. Совсем не такой уж развитой, но tout d'une pièce<sup>5</sup>! Бросается на волнующие его проблемы, как бык. Un triste taureau<sup>6</sup>. Труднее всех в этом классе придется ему. Но у него больше задора, чем у всех остальных, вместе взятых. «Je ne regrette rien!»<sup>7</sup>. Эта Пиаф — развалина. Развалина, пропитанная перно. И после каждого припадка

<sup>1</sup> Равнодушие и сентиментальность (франц.).

<sup>2</sup> Нонконформизм — это оптимизм (франц.).

<sup>3</sup> Жизненного задора (франц.).

<sup>4</sup> Ничтожный человек (франц.).

<sup>5</sup> Очень цельный (франц.).

<sup>6</sup> Грустный бык (франц.).

<sup>7</sup> Я ни о чем не жалею (франц.).

она становится еще лучше. «C'est vraiment la seule chanteuse blanche, qui me fasse pleurer»<sup>1</sup>. Еще три минуты. Надо кончать. Мне этого достаточно. А уж этим-то наверняка...

— Ça suffit! Au revoir, mes amis!

— Au revoir, monsieur Violat!<sup>2</sup>

— Что будете делать вечером? — спросил Шанко, когда вся ватага 6-го «Б» протискивалась в двери школы.

Клаусен: катехизис, латынь. Муль: пластинки Майлса Дэвиса. Гукке: уроки по математике. Курафейский: в кино с Кики! Мицкат: Church army club<sup>3</sup>. Адлум: плавательный бассейн.

Затемин: Привет из Восточной зоны. Придешь?

Шанко: О'кэй. Ты тоже придешь, Фавн?

Руль: Там посмотрим...

— Еще раз желаю всем всего доброго, — сказал Гodelунд, придерживая рукой стеклянную дверь. — Мне придется опять заниматься своей стройкой!

Гнуц: совещание директоров. Харрах: зубной врач. Протезы. Хюбенталь: цветной объектив Ф1,9/50 мм. Нонненрот: Na starowje, Towarischtsch! Немитц: Вечерний университет. Криспенховен: дополнительные уроки.

Виолат: Вы будете вечером дома?

Грёневольд: После семи — наверняка. Я буду очень рад...

Но в этот понедельник вечером...

## II

...Отец Рулля сказал:

— Поедешь в Австрию!

Руль перестал жевать и замер, зажав в руке поднутую вилку с картофелиной в мундире.

<sup>1</sup> Это единственная белая певица, которая заставляет меня плакать (франц.).

<sup>2</sup> — Достаточно. До свидания, друзья мои!

— До свидания, господин Виолат! (франц.).

<sup>3</sup> Армейский церковный клуб (англ.).

— Куда? — спросил он.

— В Австрию, и хватит об этом!

— Но...

— Никаких «но»! Вечные «но»! Постоянно одно и то же: «но», «но», «но» — сплошные возражения! Со мной это не пройдет! Я сказал, поедешь на весенние каникулы не в Польшу, а в Австрию, значит, так и будет! Что от тебя хотели в дирекции «Унион»?

— Велели завтра зайти еще раз.

— Со мной?

— Тебе они позвонят.

— Считаю, что это место уже за тобой.

Руль положил вилку на тарелку с недоеденной картошкой, втянул голову в плечи и сунул руки в карманы.

— Мне так неохота! — сказал он глухо.

Мать Руля вздрогнула и посмотрела на него с выражением безнадежного отчаяния, но отец остался спокоен.

— Неохота — тоже одно из ваших словечек! Неохота! Может, ты думаешь, нам хотелось в вашем возрасте брать винтовку и отправляться к черту на рога, по ту сторону Одера? На четыре года! Но свой долг мы выполнили...

— Ради кого? — спросил Руль.

Мать покачала головой и сказала:

— Мальчик, ты сам не понимаешь, что говоришь!

Отец отодвинул тарелку, зажег сигарету и принялся расхаживать вокруг стола.

— Великолечно! — сказал он. — Уважаемый сынок упрекает меня, что я четыре года подряд рисковал ради него головой. Чтобы он рос свободным человеком. Чтобы эти красные варвары не вздумали устраивать у нас свой рай. Чтобы его мать...

— Я не то имел в виду...

— Не то? Вечно вы имеете в виду не то, что говорите! Вечно! Зато глотку дерете, все знаете лучше всех! Вот благодарность за то, что вам дают образование! Как становитесь учеными, начинаете умничать и к тому же паясничать!

— Не волнуйся так, Пауль! — сказала мать.

Руль встал и бочком пробрался к двери.

— Это бесполезно, — пробормотал он. — Мы все равно не пойдем друг друга.

— Нет, вы послушайте! Вы только послушайте! — сказал отец и вдруг перешел на крик: — У моего уважаемого сына не все дома! Мы, видите ли, не пойдем друг друга! Вот будет родительский день, и я им покажу, этим учителяшкам, которые забивают вам голову. Всем этим господам Криспенховену, Виолату и особенно этому господинчику Грёневольду, представителю другой расы. Где он был, когда мы с ходу добились того, чего эти господа демократы не могут добиться вот уже восемнадцать лет, — остановили красную волну? Где он был, этот умник дерьмовый?

— Не волнуйся так, Пауль! — повторила мать. — Кто этого не пережил, тот не поймет.

Руль сел на стул у двери.

— Но почему я должен ехать в Австрию, а не в Польшу? — спросил он. — Объясни!

Отец налил себе чашку чая и снова стал расхаживать вокруг стола.

— Ты уже был в Ирландии и Греции, хватит с тебя заграницы. Австрия — это тоже неплохо, к тому же там говорят по-немецки.

— Да, но я дружу с Марекком и Яном, а не с австрийским парнем!

— Вот это-то меня и бесит! Я ничего, ровным счетом ничего не имею против поляков. Но почему ты не найдешь себе друга, который говорит на твоём языке?

— Мы говорим на одном и том же языке, хотя и не по-немецки. Мы разговариваем по-английски. И кроме того, они много знают.

— О чем?

— О Германии.

— Нет, ты послушай, Миа. Ты только послушай: эти поганые поляки много знают о Германии!

— И они не уклоняются.

— Не уклоняются? От чего, позвольте вас спросить?

— От вопросов, на которые ты мне не отвечаешь, хотя я задаю их тебе вот уже сколько лет.

— Какие же это вопросы, например?

— Ради кого вы шли туда, к черту на рога? Ради кого выполняли этот свой проклятый долг?

Отец швырнул окурки в печь и тут же взял новую сигарету.

— И что тебе отвечает на это твой приятель Марек?

— For Hitler and the devil<sup>1</sup>.

Отец перестал ходить, сел. Спичка, которую он поднес к сигарете, дрожала в его руке.

— Дай мне тоже, — сказал Руль.

Отец молча протянул ему пачку.

— И ты веришь в это? — спросил Руль-старший и глотнул воздуха.

— Что ж, это ответ, но меня он не может удовлетворить. Он односторонен.

— А что думаешь ты сам?

— Я не знаю, отец. Не знаю, что и думать. Но хотел бы знать!

— Этого Марек я больше в дом не пущу, — сказал отец.

— Но почему? Он против тебя ничего не имеет.

— Этого еще не хватало!

— Он вообще ничего не имеет против немцев. Хотя у него о немцах печальные воспоминания. С тридцать девятого по сорок третий он был в Варшаве. Со своей матерью...

— Замолчи! Варшава, Варшава, Варшава! А кто будет говорить о Дрездене, Кельне, Берлине, Гамбурге?

— Мы, мы говорим об этом! Только это совсем другое дело!

— То есть как? Это становится интересным. Почему же это совсем другое дело?

— Первые города, на которые сбрасывались бомбы, были Варшава, Роттердам, Ковентри, Ленинград. И бомбардировали их немцы.

— Вот оно что! Это тоже тебе сообщил Марек?

— Нет, Ребе.

— Кто?

— Грёневольд.

— Господин Грёневольд! Великолепно! Поляк и еврей разъясняют моему сыну суть германской трагедии.

— Но ведь это правда.

— Это неправда! Это абсолютная ложь!

Отец вскочил и подошел к книжному шкафу.

— Вот! Прочти — и получишь ответ.

Руль взял книгу.

---

<sup>1</sup> Ради Гитлера и дьявола (англ.).

— Ганс Гримм<sup>1</sup>. Но ведь это был нацист!  
— Так! Эта информация тоже исходит от Марека или Грёневольда?

— Нет, от доктора Немитца.

— От Карлхена Немитца! Да у этого хамелеона у самого рыльце в пуху! Он к концу всей заварухи печатался в «Фелькишер беобахтер»<sup>2</sup>!

— Этого я не знал.

— Зато я знаю! Твой отец гораздо больше информирован, чем ты предполагаешь. Нет, это непостижимо: именно Карлхен Немитц становится в позу и обливает помоями Ганса Гримма! Но я тебе вот что скажу: для меня Ганс Гримм был, есть и останется навсегда одним из самых великих немецких писателей, что бы там ни болтал о нем господин доктор Немитц. Ты когда-нибудь читал «Народ без пространства»?

— Нет.

— Вот видишь! А этот Немитц, этот демагог, политический жонглер, восемнадцать лет назад на брюхе пополз бы в Липпальдсберг<sup>3</sup>, если бы его только пальцем поманили. Пусть он лучше поостережется, как бы его вечные истории с бабами не...

— Паулы!

— Да об этом весь город говорит.

— Немитц признает, что Ганс Гримм написал несколько неплохих вещей, — сказал Руль.

— Ах, вот как, он это признает? Очень мило со стороны господина Немитца.

— «Судья в Кару»<sup>4</sup> неплохо написано, но...

— Но когда Ганс Гримм пишет что-то вроде «Ответа архиепископу»<sup>5</sup> или сводит счеты со всякими томми, что не устраивает господина Немитца, — причем, прошу

---

<sup>1</sup> Ганс Гримм (1875—1959) — немецкий писатель, проповедовавший шовинистские идеи, призывавший к расширению германской территории за счет колониальных завоеваний, автор романа «Народ без пространства» и других книг, оправдывающих захватническую политику фашизма.

<sup>2</sup> Центральный орган нацистской партии.

<sup>3</sup> Место, где жил Ганс Гримм.

<sup>4</sup> «Судья в Кару» — рассказ, давший название сборнику (1930 г.) шовинистически окрашенных новелл о юго-западной Африке.

<sup>5</sup> В «Ответе архиепископу» (Кентерберийскому) (1950 г.) Гримм пытается реабилитировать фашистскую Германию и снять с нее вину за развязывание второй мировой войны.

заметить, не устраивает лишь с недавних пор, — то уже человек, который написал «Судью в Кару» — и нацист и фашист. Слушай внимательно, сынок: кто не испытал этого на своей шкуре, тот не может всего понять. Запомни раз и навсегда.

— Но ведь ты испытал!

— Конечно.

— Ну и?

Отец махнул рукой и придвинул кресло к телевизору.

— Отец переутомился, — вмешалась мать. — Сходи в погреб и принеси пива. Только сначала настрой телевизор. Сегодня викторина. В прошлый раз мы все правильно отгадали.

— Еще один вопрос, — сказал Руль, вернувшись из погреба.

Отец повесил пиджак на спинку кресла и устроился поудобнее.

— Валяй!

— Почему ты не хочешь, чтобы я стал учителем?

Отец постучал кончиком сигареты по ногтю большого пальца.

— Потому что эту братию я еще больше презираю, чем врачей, — буркнул он. — А это кое-что да значит. Лет тридцать, нет, даже меньше тридцати лет назад они рассказывали всю историю как раз наоборот, сынок. «Наш путь лежит через Сталинград!» И я верил. Рисковал башкой, потому что был идеалистом. Человеком, которого эти учителяшки восемь лет подряд до тошноты наспиговывали всякой чепухой: «отечество», «долг», «честь», «мужество», «Великая Германия», «присяга», «смелость» и так далее. Только они не говорили, что все это сгнило на корню. А сейчас у этих господ на том самом месте, где была свастика, красуется черно-красно-желтая кокарда. И что еще хуже — ибо ошибаться может каждый — они забыли, что с ними произошло. И что еще хуже — тем, кто им верил и еще не успел этого забыть, они нынче вставляют палки в колеса, подрывают их авторитет перед их же собственными детьми. И что хуже всего — они считают, что были правы тогда и правы теперь. Вот что я больше всего ненавижу в учителях — они всегда правы, только задним числом! А за ошибки пусть расплачиваются другие, те, кого они со своими «идеалами» посылали в по-

ходы и кто из этих походов не вернулся — заночевал навеки в Сталинграде или в Яссах, на Монте Кассино или в Рейхсвальде. Нет, сынок, ничего из этого не выйдет. Я не допущу, чтобы ты оказался среди этих пророков, крепких задним умом. Ты будешь машиностроителем, тут по крайней мере сразу видно, если допустил брак. Кто вкалывает как следует, тех вокруг пальца не обведешь. А теперь садись и покажи, чему ты научился в своей школе. Или иди к себе в комнату.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Йохен! — сказали отец и мать одновременно.

Руль поднялся к себе в мансарду, бросился на кушетку и зарылся головой в подушку.

— Дерьмо, — пробормотал он. — Кругом дерьмо!

Он полежал с четверть часа в каком-то полудремотном состоянии. Снизу, из комнаты родителей, доносились аплодисменты участников викторины.

Вдруг он перевернулся на спину, подтянул колени к лицу и скорчился от смеха.

Точь-в-точь как Адольф, мелькнула у него мысль. Адольф, вынашивающий свои планы. Вена, тысяча девятьсот тринадцатый год, пятьдесят лет назад. Если бы у этого типа был другой отец и хотя бы два-три других учителя, может быть, наша история сложилась бы по-другому. Кабан, не разбирающий дороги, дикий кабан из Богемского леса. Пижон очень любит цитировать: «У детей есть свои учителя, у взрослых — свои поэты». Какой-то древний грек сказал. Неплохо сказал. Только где они, наши поэты? У этих древних, у классиков, были другие заботы! «Ты ищешь самое великое, самое возвышенное? Растение научит тебя: стань по своей воле тем, чем оно стало от природы, — и ты обрешь, что искал!» А нынешние молодые? Пишут иероглифами. Экзистенциалистские кроссворды. Только для жизни от них никакой пользы. Почему никто не пишет о том, что нас мучает? Почему они не бьются над современными проблемами, *in our time*?<sup>1</sup> И не помогут нам хоть как-то преодолеть прошлое? Брехт это делал. Умер. Сент-Экс пробовал. Погиб. Камю тоже мог. Нет в живых. Кто еще? Если бы я понимал Кафку! У него есть что рассказать нам, что-то очень нужное, что могло

---

<sup>1</sup> В наше время (англ.).



бы помочь пройти через жизнь. Но для Кафки нужен переводчик. А Пижон не переводит, Пижон вещает. «Умник дерьмовый» — отец прав.

Руль потянулся, провел пальцами по своим темным жестким волосам, встал и неслышно подошел к окну.

На углу перед рестораном «Вальгалла» толпились люди. Уже три недели там сияла красная световая реклама, изображавшая пышную девицу, которая неустанно била себя в грудь.

Руль выловил из кармана джинсов сухую, раскрывшуюся сигарету и закурил.

Он включил проигрыватель и поставил «When the Saints go marching in»<sup>1</sup>. Потом он побросал в портфель учебники и тетради и заглянул в расписание уроков.

Когда в комнате совершенно стемнело, он зажег настольную лампу, вытащил из ящика письменного стола стопку карточек и перетасовал их, как игральные карты. На карточке, лежавшей сверху, было написано: «Человек не вполне виновен, ибо не он начинал историю, и он не вполне невиновен, ибо он ее продолжает».

Руль еще раз перетасовал карточки и снова снял верхнюю. На этот раз он прочел: «Ты приобрел в моих глазах нечто загадочное, присущее всем тиранам, чье право зиждется на личной воле, а не на разуме».

Он перемешал в третий раз; на карточке, которую он вытянул, было написано: «Нет свободы без взаимопонимания».

Он сунул эти три карточки в карман куртки, остальные положил обратно в ящик, открыл дверь и крадучись спустился вниз, на вечернюю улицу.

Когда он пересекал вокзальную площадь перед «Милано», часы пробили половину девятого.

Шанко сказал:

— Зачем, собственно, вы нас сотворили до женитьбы?

Мать Шанко продолжала гладить, только носом шмыгнула в ответ.

— И почему вы хотя бы не поженились, когда уж дело было сделано?

---

<sup>1</sup> Когда святые идут в поход (англ.).

— Ему отпуска не дали.

— Трепотня! В бундесвере дают отпуск, когда у бабушки насморк.

— Война была!

Шанко лежал на диване в кухне и держал над собой, как зеркало, солдатскую фотографию отца в черной рамке.

— А он был недурен, мой уважаемый создатель!

Мать поставила утюг на перевернутое блюдо, подошла и вырвала фотографию из его рук.

— Ну и дрянь же ты! — пронзительно вскрикнула она.

— Да, я знаю. Безотцовщина!

Шанко вскочил с кровати, встал перед зеркалом и принялся выдавливать угри.

— Ты сделал уроки?

— Завтра утром сделаю.

— Гюнтер, ты хоть на этот раз не сплошаешь?

— Какие могут быть сомнения, старушка! А потом меня зачислят на довольствие в бундесвер, и ты избавишься от лишнего рта.

Мать так резко поставила утюг, что блюдо разбилось.

— Хватит! Нет больше моего терпения! Как ты смеешь мне грубить, бродяга ты этакий! Завтра с утра пойду к опекуну! Я не для того восемнадцать лет мучилась, чтобы...

— Ладно, ладно, старушка! Перемени пластинку. Я все равно сматываюсь.

Через темный коридор Шанко, топая, прошел в боковую комнатку, которую делил со своей сестрой — они были близнецы.

Он бросился на кровать, снял с полки «За кулисами экономического чуда» и прочел несколько страниц.

— Вот сволочи! Ну и сволочи! — сказал он громко.

В коридорчике слышались мелкие шажки его сестры; не вставая с постели, он сказал:

— Не ссудишь ли мне пару монет, систер?

— Нет! А на что?

— На кино.

— С кем?

— Вы, бабы, день и ночь только и думаете: с кем?

Шанко встал, порылся в карманах брюк, ухмыльнулся и принялся набивать гильзу.

— Что тут было с мамой? — спросила сестра и включила транзистор.

— Обычный цирк.

— Она ревела.

— Это с ней частенько бывает.

— До чего же ты противный!

— А ты прелестна, Розмари!

— На твоём месте я бы от стыда сквозь землю провалилась!

— И я на твоём тоже.

— Это ещё почему?

— У тебя опять засос на шее.

— Врешь!

— Вот, прошу убедиться, чуть ниже.

Шанко вынул из кармана зеркальце и поднес сестре. Она покраснела и стала искать пудреницу.

— Вот видишь! Деньги возбуждают чувственность. Сколько он платит?

— Позаботься лучше о том, чтобы найти работу! — сказала сестра и уселась к туалетному столику.

— Уже все в порядке, систер.

— Так я и поверила. Кому ты нужен?

— Представь себе — бундесверу.

— Кому?

— Бундесверу.

Шанко встал по стойке «смирно», потом прошелся парадным шагом по комнате.

— Ах, так вот почему ты сегодня нос задираешь! Там хоть начальство будешь уважать!

— Не надо преждевременных иллюзий, систер. Я не пойду!

— Что? По-моему, ты должен...

— Я откажусь, систер.

— Это не разрешается!

— Поверьте, что все разрешается, уважаемая систер! Слыхала ли ты о том, что такое демократия? Основной закон Федеративной Республики Германии, статья четвертая, абзац третий...

— А как ты объяснишь причину?

— Причину? Совесть не позволяет — вот и причина!

— Совесть! Трус ты, больше никто!

— Осторожно, систер, оскорбления такого рода караются по закону. Я ранний христианин, да будет тебе известно...

— Чего?

— Ранний христианин, то бишь христианин-протестант, придерживающийся библии. А Христос сказал: «Поднявший меч от меча и погибнет».

— Кто тебе вбил в голову этот бред собачий? Наверняка Лумумба!

— А ты пошевели мозгами, систер! За одного дурака, правда, двух умных дают, зато умные снимают сливки.

— Мерзкий паяц!

Шанко залился высоким жеребьячьим смехом, потом раздавил папиросу о подоконник.

— Ужинать! — крикнула мать из кухни.

Сестра отложила карандаш для бровей и вышла. Шанко так же внезапно перестал смеяться, как и начал, сунул руки в карманы и мелкой рысцей отправился следом за сестрой.

— Он должен после окончания школы идти в бундесвер. А он не желает, отказывается, — сказала Розмари на кухне.

— Надо было и его папаше то же самое сделать. Тогда я б не мучилась так всю жизнь.

— И я тоже, — буркнул Шанко.

— Ты? Тебе-то чего не хватало? Розог хороших, вот чего!

— Почему же отец не отказывался? — спросила Розмари.

— При Гитлере нельзя было. Он каждого к стенке ставил, кто не желал делать по-ихнему. Или на «курорт» отправлял.

— Куда? — спросила Розмари.

— Ну, в Дахау или где там все эти лагеря были. Мы это называли: на «курорт».

Сестра с надеждой посмотрела на Шанко.

— В настоящее время у нас демократия, — сказал он с ухмылкой. — Прелестная вещь — делай, что хочешь.

— Для тебя полезней было бы, если бы оставались порядок да дисциплина, как тогда. А то тебе не впрок...

— Ну, зачем же так горячиться, старушка? Я ведь не нарушаю закон. Напротив, я его свято соблюдаю.

Я отказываюсь идти в бундесвер, ибо мне совесть не позволяет.

— Я бы на твоём месте греха побоялась, — сказала мать.

— Господь, который сотворил железо, сотворил и кузницы, чтобы перековать мечи на орала, — сказал Шанко и скрестил руки на груди.

— Это ещё откуда?

— Образование, систер! Образование, оно одно делает пролетария джентльменом!

— Вы, нынешние, больно много читаете, — сказала мать.

— А вы, тогдашние, слишком мало читали, старушка. Иначе мы бы не сидели теперь в этой дыре.

— Нам всю жизнь вкалывать приходилось.

— Это меня не вдохновляет, — сказал Шанко и подвинул свою тарелку поближе к сковороде с жареной картошкой.

— А клянчить у тех, кто работает, — на это ты мастер.

— Ябедничать некрасиво, крошка сестрица.

— Он у тебя опять одолжить хотел? На что?

— На кино. Расширяет горизонт.

— А меня-то хоть возьмишь? — спросила Розмари.

— Что там показывают? — спросила мать.

— «Чёрные деньги».

— Это ещё что такое?

— Это грóши, добываемые с помощью всевозможных махинаций...

— И не вздумайте идти! Смотрите у меня!

— Да я это уже давно смотрела, — разочарованно сказала Розмари.

— ...или горизонтальным способом. Ляжешь в кровать — получишь взятку.

— Замолчи, или я тебе сейчас такую оплеуху закачу!

— Спокойствие прежде всего, старушка! Если бы ты умела добывать монеты, нам бы не пришлось попрошайничать.

— Я всю свою жизнь честно трудилась! И вам, кажется, хватало!

— Хватало, хватало! В том-то и дело, что не хватало! А посему мы и остаемся жалкими пролетариями в этом западном раю!

— Здесь у каждого есть кусок хлеба, не то что по ту сторону Эльбы!

— Вот голоса, которые обеспечивают ХДС победу на выборах! Путь к демократии лежит через желудок! — ухмыльнулся Шанко и принялся ковырять в зубах.

— Я в политике не разбираюсь.

— Но право голоса имеешь! Каковое и используешь, благо у нас царит демократия.

— Просто мне Аденауэр без усов и бороды милее, чем все усатые и бородатые, которых я перевидала на своем веку — и с закрученными усищами, и с подбритыми усищами, и с бородкой клинышком!

Розмари сняла чулки и спросила:

— Где у тебя стиральный порошок?

— Вон, на окошке.

Шанко закурил и улегся на диван.

— На летние каникулы, когда я ишачил на строительстве шоссе, — сказал он и глубоко затынулся, — нам пришлось укладывать асфальт возле виллы Прадека, этого бандита...

— Он когда здесь начинал, у него и гроша не было за душой, но уж больно он энергичный! Я у него еще там работала, до переезда сюда.

— А теперь у него две тысячи рабочих, семнадцать грузовиков для доставки товара, два завода, восемь миллионов на счету в банке, вилла тысяч на пятьсот, бунгало на Коста Брава, большой «ситроен», его мадам разъезжает на «альфа ромео», шикарный такой кабриолет, отделан кожей — нет уж, не от трудов праведных все это!

— Он всегда хорошо обращался со своими рабочими!

— А что ему еще остается делать по нынешним временам? За этим следит профсоюз.

— Его жена каждое воскресенье в потрясающей машине подкатывает утром с детьми к кафе «Перкун», покупает торт-мороженое на десерт, — сказала Розмари. — Я ее уже два раза видела.

— Которая жена?

— Ну, госпожа Прадек.

— Да он меняет жен как перчатки!

— Не твое дело!

— Возможно. Я хотел совсем другое рассказать, но

эта милая крошка трещит без умолку, слова не дает сказать.

— Сам трепло!

— Дай ему рассказать, Розмари!

— Так вот, укладываем мы этому гангстеру тро-туар, и вдруг что я вижу! Я прямо чуть не обалдел: возле ворот, где радиотелефон и прочие причиндалы, стоит надгробный камень, красивый такой, дорогой чер-ный мраморный обелиск, и надпись на нем золотыми буквами! И знаешь, что написано: «Здесь покоится наш любимый сеттер Алекс!»

— Ну и что ж, — сказала мать. — Прадед, видно, любил свою собачку.

— А по-моему, это просто прелесть, — сказала Роз-мари. — Настоящий могильный памятник? Как на клад-бище?

— Так, по-вашему, «ну и что ж», «прелесть»? — Шанко вскочил. — А на могиле отца в России есть мра-морный памятник? — закричал он.

— Нет, — испуганно сказала мать и всхлипнула.

— А у тебя, думаешь, будет? С золотыми буквами?

— Нет, — сказала мать.

— А вы еще говорите «ну и что ж» да «прелесть»! Подумать только, что этот гад может себе позволить поставить для своей дворняги такую фиговину!

— А кто знает, много ли счастья за этими деньгами кроется...

— Да у него «мерседес», и «ситроен», и «альфа ромео»...

— От этого счастья не прибавляется!

Шанко швырнул окурок в мусорное ведро.

— Нет, с вами каши не сваришь, ни черта вы не понимали и не поймете, — сказал он, выходя из кух-ни. — Мне еще надо за тетрадкой сходить, к Тицу.

— Не шуми так, когда вернешься, — проворчала Розмари.

— И чтоб ты мне пить не вздумал! Не нравится мне этот Тиц. Бездельник он.

— Тиц — парень не промах. Он еще всем покажет, где раки зимуют. Сила.

Шанко вывел свой велосипед из подвала и поехал по Кенигсалле. Перед баром «Адмира» он затормозил, поглазел на выставленные в витрине фотографии эст-радных красоток, проехал дальше и остановился перед

многоквартирным домом на Зонненштрассе, где жил Тиц. Он засвистел «riverside».

Тиц выглянул из окошка мансарды.

— Поднимайся!

Шанко завел велосипед во дворик и пошел наверх.

— Как атмосфера? — спросил он, запыхавшись.

— Порядок. Курева хочешь?

— Как всегда. Где твоя маман?

— Наслаждается природой. Продлила себе уикенд вместе со своим хахалем. Мне прогул записали?

— Нет. Кто тебе справку дал?

— Я и сам с усам!

— Как тебе удалось?

— По телефону все уладил.

— С кем ты разговаривал?

— С Хробок.

— И она не догадалась?

— Она же глупа, как телячья вырезка! Да если бы она и смекнула — я о ней кое-что знаю.

Тиц разбил два яйца на сковороду.

— А чего ради ты прогулял?

— Не мог упустить такой шанс, — сказал Тиц. — Если моя маман развлекается во Франкфурте, почему бы мне не сделать то же самое дома?

— С Эдит?

— Имеется кое-что получше!

— Кто?

— Ина.

— Рыжая из харчевни?

— Совершенно точно.

— Так ведь она за городом живет.

— Осталась у закадычной подруги.

— Ну и? — спросил Шанко.

— Налаженная семейная жизнь.

— Я девок этого сорта не очень-то жалую.

— Ты, по-моему, никаких не жалуешь, а? Вот кое-что для тебя: ассортимент фирмы «Марион».

Шанко полистал маленький альбом — для постоянных клиентов.

— Все бабы — шлюхи! — сказал он.

— И твоя систер? Тогда тащи ее сюда!

— Заткнись! Одолжи лучше две марки!

— Я сам на мели. Если в час зайдешь, может, что-нибудь придумаем.



— Откуда ж ты возьмешь?  
— Папаша Лепана идет играть в скат.  
— Ну?  
— А у Чарли есть ключи от машины.  
— Ну?  
— Рука руку моет.  
— Ни черта не понимаю  
— Безмозглая твоя башка: я буду изображать шофера такси.

— Такси? Где?  
— Солдатню буду катать. Возле казармы встану.  
— А как ты это сделаешь?  
— Подключи свои извилины: становишься на углу, тут они появляются. И катишь их в «Орхидею»!  
— А если попадешься?  
— Если, если! Если бы да кабы...  
— Без водительских прав, без всего?  
— Нет, по специальному разрешению Зеебома<sup>1</sup>. Вот тебе две монеты и — топай. Не нужно, чтобы Чарли тебя видел.

Шанко сунул деньги в карман, пробормотал thank<sup>2</sup> и встал.

— Ты сейчас куда? — спросил Тиц и стал втирать в голову крем.

— В «Милано». Привет!

— Привет. Может, я тоже туда загляну. Сколько ты там пробудешь?

— Самое большее час. Надо еще математику сделать.

— Сделай за меня тоже. Тетрадь воң, на шкафу.

Шанко сунул тетрадь под свитер, спотыкаясь, сошел вниз по неосвещенной лестнице и взял свой велосипед.

Надо спросить Капоне, кто ему такую колоссальную прическу соорудил, подумал он.

Было без двадцати девять, когда Шанко подошел к «Милано».

Дядя Затемина сказал:

— Ну, место тебе гарантировано! Я говорил со Шнидером.

---

<sup>1</sup> Бывший министр транспорта земли Шлезвиг-Гольштейн.

<sup>2</sup> Спасибо (англ.).

— Но у Адлума аттестат лучше!

— Зато он другого вероисповедания. И кроме того, у его отца нет поддержки в лице партии, как у твоего дяди!

Затемин передал тетке блюдо с холодным мясом и сказал:

— Тогда все в порядке!

— Этим ты обязан только мне!

— Спасибо, дядя Герман!

— И смотри не проболтайся: твой отец там, за Эльбой, служит в районной больничной кассе. Ни слова о том, что он майор народной полиции!

— Конечно!

— Эвальд будет рад, если узнает, что ты устроил Хорста в газету, — сказала тетка.

— Ну, в этом я не очень уверен! Твой зять может потребовать, чтобы мальчик вернулся в Хемниц<sup>1</sup>.

— Я туда не вернусь, — сказал Затемин.

— Когда сестра умирала, она взяла с меня клятву, что мальчик не станет красным, — сказала тетка.

— Я знаю.

— Красным? Это бы еще полбеды! После Годесберга<sup>2</sup> они совсем паиньками стали, сидят себе тихо, как мыши. Но коммунист! В нашей семье, которая только в последних поколениях дала восемь пасторов! И трех монахинь! Если бы не это позорное пятно, я бы уже давно стал председателем комиссии по делам школы и культуры!

— Один бог знает, что русские сделали с ним, когда он был в плену, Герман!

— Чепуха! Немецкий офицер не сдается и не становится коммунистом, если у него есть сила воли! Тем более если он католик! Или был католиком по крайней мере тогда!

Затемин положил вилку и нож на тарелку, скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на дядю. Тетка стала убирать со стола.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Карл-Маркс-Штадт, город в ГДР, бывший Хемниц.

<sup>2</sup> Город в Западной Германии, где в 1959 году была принята программа СДПГ, отразившая полный разрыв правого руководства социал-демократической партии с идеями марксизма и традициями рабочего движения.

— Я хотел спросить у тебя кое-что, дядя, — сказал Затемин вежливо.

— Пожалуйста, мой мальчик. Да, только вот я еще что хочу тебе посоветовать: иди в воскресенье к мессе не в одиннадцать, а раньше — в семь.

— В семь? Почему?

— Шнидер всегда ходит к семи!

— Понятно, дядя Герман! — сразу ответил Затемин.

— Я не уверен, но мне кажется, настоятель рассказывал ему, что ты тогда отказался стать служкой.

— Это было очень глупо с моей стороны. Извини!

— Я понимаю, в твоём возрасте столько соблазнов. Затемин отвел глаза.

— Еще не поздно, ты можешь исправить свою ошибку: вступи в «Братство Колпинга»<sup>1</sup>.

— Зачем?

— Шнидер — член правления.

— Хорошо, — сказал Затемин.

Дядя встал, подошел к пюпитру, на котором лежали газеты, взял «Кафедральный собор».

— Я хотел спросить у тебя кое-что, дядя.

— Ах да! Выкладывай, в чем дело.

— Как ты относишься к фракционному принуждению?

Дядя выпустил из рук «Кафедральный собор».

— И почему это тебе пришло вдруг в голову?

— Мы на уроке истории как раз говорили о партийной системе в Федеративной республике.

— Ну и что же?

— У вас в ХДС существует принуждение?

— Ни малейшего, мальчик! Кто тебе говорит такой вздор?

— Никто. Я просто подумал...

— Значит, ты неправильно подумал, мальчик. Принуждение существует только у социал-демократов, а у нас нет. У нас полная свобода мнений!

— И свобода совести?

— Само собой разумеется. Мы христианская, вернее, единственная подлинно христианская партия в Федеративной республике, мальчик! Не забывай этого!

---

<sup>1</sup> Католический союз молодых ремесленников, основанный в середине XIX века католическим священником Колпингом (1813—1865).

- Нет, я не забываю. Но...
  - Но что?
  - Я заметил, что не только СДПГ, но и вы почти всегда принимаете свои решения единогласно!
  - Почти всегда!
  - Почти всегда.
  - Ну и что же? Это нормальное положение вещей.
  - И у вас нет принуждения?
  - Ни малейшего. Мы просто все одного мнения.
- Мнения ХДС.
- Все до единого?
  - Все до единого.
  - Смешно, — сказал Затемиш. — Там ведь то же самое.
  - Где там?
  - В так называемой Германской Демократической Республике.
  - Но, мальчик, как ты можешь сравнивать?
  - Нет, я не сравниваю, там диктатура.
  - Конечно. Сталинизм.
  - А при Гитлере?
  - Тоже была диктатура. Нацизм.
  - Смешно, что некоторые люди всегда придерживались мнения правящей партии — и тогда и теперь.
  - Кого ты имеешь в виду, мальчик?
  - Ну, есть же у вас такие, они были одного мнения с Гитлером, теперь они одного мнения с Аденауэром.
  - У нас? В нашей партии? Да никогда в жизни!
- Кого ты имеешь в виду?
- Доктора Немитца.
  - Откуда ты знаешь?
  - В школе поговаривают.
  - Немитц в самом конце войны был руководителем окружного отдела пропаганды национал-социалистической партии, совсем еще зеленым юнцом. Это я признаю, но...
  - И он писал статьи в «Фелькишер беобахтер» и в «Рейх». В одной из них говорится, что Томас Манн — морально разложившийся еврей, а Бертольд Брехт...
  - Ну, конечно, это не очень красиво. «Молодость быстра на слово»<sup>1</sup>, но он и в самом деле был еврей.

---

<sup>1</sup> Слова из «Валленштейна» Шиллера.

— Томас Манн?

— Да.

— Нет, дядя.

— Как? Ты утверждаешь, что Томас Манн не еврей?

— Нет.

— Я был в этом всегда уверен.

Дядя налил себе можжевелевой настойки.

— Хочешь?

— Нет, — сказал Затемиин. — Так, значит, доктор Немитц...

— Мальчик, в твоём возрасте люди склонны к поспешным выводам. И слишком резким выводам. Ведь ты допускаешь, что человек может изменить свою точку зрения?

— Извини, дядя, ты прав. Но если бы доктор Немитц не состоял в ХДС и не был католиком, дозволено ли было бы ему менять свои взгляды как перчатки?

— Мальчик, этого ты не понимаешь.

— Не понимаю.

— Немитц — учитель, стало быть, государственный служащий. Государственный служащий обязан подчиняться своему правительству и своему государству. Он не имеет права...

— Думать, как ему заблагорассудится.

— Хорсти, и какая муха тебя сегодня укусила? Послушай, государственный служащий должен по одежке протягивать ножки. Не то может случиться, что он останется голый. А так и замерзнуть недолго. И к тому же его выбросят на улицу. Кое-кто из твоих учителей имеет печальный опыт!

— После сорок пятого?

— Да.

— Это было несправедливо.

— Справедливость, несправедливости! «Не судите, да не судимы будете», — сказано в библии.

Тетка принесла из кухни чистую посуду и поставила ее в буфет.

— Вы опять взялись за политику? — спросила она, покачав головой.

— Дай нам поговорить, мать! Я пытаюсь объяснить мальчику кое-что! А теперь послушаем-ка новости.

— Еще один вопрос, дядя...

— Да?

— Если опять будет обсуждаться вопрос о введении смертной казни, ваша фракция тоже будет единодушна в своем решении?

— Ну, сначала, конечно, будут разногласия.

— Но в конце концов ваше решение будет принято единогласно?

— Да, черт побери!

— Как же это получается?

— Мальчик, человек предполагает, а бог располагает. Человек не может все решить своим умом. Господь незримо участвует, когда принимаются решения такой большой важности.

— Ты тридцать лет назад тоже так думал, дядя?

— Конечно же, мальчик!

— Спасибо, это я и хотел знать.

— Не за что, Хорстхен. Спрашивай всегда, когда тебе что-нибудь неясно. Я не зря последние тридцать лет занимаюсь муниципальной политикой.

— Для меня теперь многое стало понятным, дядя. Только вот еще что...

— А последние известия? — сказала тетка.

— Сейчас только без пяти восемь. Те, кто раньше придерживался другого мнения, — что происходит с ними при голосовании?

— Они меняют свою точку зрения.

— Почему?

— Потому, что они понимают, что заблуждались.

— Неужели?

— Да, если не считать незначительного меньшинства.

— А они?

— Они должны сделать для себя определенные выводы.

— То есть?

— Что так нельзя! Это погубило Веймарскую республику! Терпимость имеет границы. Пусть они себе ищут партию, которая представляет их точку зрения.

— Значит, вам они больше не нужны?

— Значит, нет. Это парализует силу партии.

— Уже ровно восемь, — сказала тетка.

Затемин встал.

— А кто, собственно, направил в нашу школу доктора Немитца? — спросил он между прочим.

— Как кто? Комиссия по делам школы и культуры.

— А кто в ней сидит?

— Исключительно достойные люди.

— Из разных партий?

— Конечно.

— Дядя Герман, вот ты торговец углем, а кто остальные в этой комиссии?

— Столяр, адвокат, сборщик налогов, архитектор...

— И они действительно разбираются в наших делах, в делах школы?

— Ну, непосредственно в этих вопросах, конечно, нет. Но зато они разбираются...

— В муниципальной политике.

— Совершенно верно. Поверни-ка выключатель.

— Отрегулировать резкость?

— Да. Вот так хорошо. Спасибо.

Затемин пошел к двери.

— Ты не хочешь остаться? — спросила тетка. — Потом будет викторина.

— Нет, спасибо. Мне надо еще кое-что подготовить к школе. А потом, может, я ненадолго зайду к Клаусену.

— До десяти, — сказал дядя.

— Ну конечно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мальчик.

Затемин поднялся к себе в комнату, отпер заржавевший шкафчик, который он откопал у торговца железным ломом, нажал какую-то пружинку и взял из выдвинувшегося ящика свой дневник. Он сел на пол, положил тетрадь на колени и мелким, неразборчивым почерком стал писать:

«Делал вид, что спорил со своим католиком о фракционном принуждении в ХДС. Старик так изолгался за свою жизнь, что уже сам не знает, что считает правдой! С помощью диалектического метода (хотя я им еще не вполне владею) я заставил его вращаться вокруг его оппортунистической оси. Старик так невероятно глуп, что порой возникает ощущение, будто он очень умело притворяется. Просто потому, что кажется невозможным, чтобы кто-то был так глуп.

Глупый. Трусливый. И продажный.

Только мне не совсем ясно, в каком порядке следуют эти его качества. Трусливый — глупый — продажный? Продажный — глупый — трусливый? Глупый — продажный — трусливый? И настолько черный, что чихает сажей.

Когда эта бочка в последний раз думала? Слишком много чести: никогда! И такое ничтожество — депутат крейстага в Федеративной республике! Впрочем, нам это на руку. Поколение стариков уже не противник. Подождать, пока оно вымрет, или разоблачить его — вот единственный вопрос. Москва или Пекин?

Анекдот, что именно благодаря протекции паршивого католического торговца углем я получаю место в газете. *Soggy*<sup>1</sup>, Адлум. Но время работает на нас.

Узнал о Немитце больше, чем ожидал. Угорь. Всегда выскользнет из рук. Сумеет болтать свою высокопарную чепуху и по-русски.

До чего же омерзительно все это поколение».

Затемин спрятал дневник, повесил ключ от шкафчика на шею, взял свою школьную сумку, погасил свет и вышел на улицу.

Выберу по истории тему «Всемирный фестиваль молодежи в Хельсинки», подумал он. Здесь ни одна душа не догадывается, что я там был. Отчет о фестивале мне прислало посольство СССР, совершенно официально. В строгом соответствии с демократическими правилами игры. Ребе согласится. Его все интересует. Если бы удалось привлечь его на нашу сторону. Но обратить еврея в иную веру — на это я еще не способен. Интересно, что он скажет насчет Макаренко. Надо только решить, поднесу ли я ему эту книгу с самым невинным видом или суну тайком в почтовый ящик. Смешно, но как раз наивностью взрослых легче всего купить.

Затемин посмотрел на часы главного вокзала.

Уже без четверти! Шанко ждет в «Милано».

Виолат сказал:

— Вы были бы разочарованы.

— Пожалуйста, не говорите так!

— Вы были бы разочарованы. Вы сами это знаете.

---

<sup>1</sup> Извините (англ.).



Грёневольд повертел рюмку в руках, потом, не выпив, поставил ее на круглый столик.

— Трудно жить без семьи, — сказал он.

— А ваша семья живет в Израиле?

— Моей семьи уже нет на свете. Я хотел сказать: трудно жить без народа.

— Нет. С тех пор как я больше не страдаю патриотизмом, я чувствую себя гораздо лучше.

Криспенховен молча прочищал свою трубку.

— Виолат, — сказал Грёневольд и снова стал вертеть рюмку в ладонях, — немцу, думающему и готовому нести ответственность, сегодня, должно быть, очень трудно не отвернуться от своего народа. Вы, Виолат, пытаетесь разрешить этот конфликт, вооружились презрением. Но одним презрением не решишь проблему! Презрение только делает человека чертовски одиноким. Поверьте мне в одном: если кто-то думающий и готовый нести ответственность, чувствует себя сегодня еще более одиноким, чем немец, то это еврей в Германии.

— А вы думаете, там, в Тель-Авиве или каком-нибудь киббуце, вы бы не были одиноки?

Грёневольд не ответил.

— Вы знаете, что со мной недавно приключилось в кино, Грёневольд? Я задремал во время кинохроники. И вдруг вздрогнул и проснулся: грохот танков, журавлиные клинья самолетов, дети с букетами в руках и марширующие колонны — парад, как в книжке с картинками! Какой-то миг я не мог понять, что это... Куба, Москва, Рим тридцать пятого, Берлин тридцать девятого, Пекин, — это был Тель-Авив.

Самый ужасающий вывод, который заставила меня сделать история: победители перенимают у побежденных их повадки. Вы как историк знаете это лучше меня. Почему вы упорствуете, не желая признавать правду? Что значит для вас Израиль?

Грёневольд снял очки и аккуратно положил их перед собой на стол.

— Я вряд ли поеду в Израиль — ведь я крещеный полуеврей! И думаю, что уехать я смогу только в США, если уж решу не оставаться здесь, — сказал он неуверенно.

Криспенховен внимательно посмотрел на его изрезанное морщинами, одутловатое лицо, которое теперь казалось сонным.

— Я понимаю, — сказал Виолат и встал.

По маленькой лестнице, расположенной в середине зала, он спустился к стойке, обменялся несколькими словами с барменом, выбрал в музыкальном автомате французскую песенку и вернулся с тарелкой жареных стручков красного перца.

Грёневольд посмотрел на него.

— Приглашаю вас на ужин! — смеясь, сказал Виолат. — А потом вы нам расскажете!

— О чем? — спросил Грёневольд.

— О том инциденте!

— Да ничего не произошло, Виолат. То есть ничего нового.

Кельнер-итальянец подошел и поставил перед ними еще полбутылки вина.

— Грёневольд, почему вы сегодня после обеда вдруг позвонили мне и предложили встретиться? В этом кафетерии? Вы ведь не пьете, не курите, не любите сидеть в барах, не то что я.

— Вы мне рассказывали об этом кафе, а мне нужно было поговорить с вами и Криспенховеном.

— Хорошо. Это мне понятно, хотя слышать такие вещи от вас немного странно!

— Вы не догадываетесь, о чем я хотел с вами поговорить?

— Нет еще.

— Но вы же мгновенно поняли главное, Виолат: я не могу решиться!

Виолат посмотрел на руки Грёневольда, все еще играющие рюмкой, и спросил:

— Где вы были во времена «третьего рейха», Грёневольд? Извините за такой вопрос!

Грёневольд поднял глаза.

— С марта тридцать девятого в Швейцарии.

Виолат повторил:

— Извините, пожалуйста!

— А незадолго до моего отъезда произошло то, что вы только что назвали инцидентом. Я и сейчас вижу все так отчетливо, будто при вспышке магния. И это осветило всю мою последующую жизнь. Вплоть до сегодняшнего дня.

Грёневольд снова надел очки и улыбнулся Криспенховену, который отодвинул свой стул и свесил руки между колен.

— Мой отец был еврей, он женился против воли семьи на нееврейке. «По любви», как сказала моя мать, чем неприятно удивила гестаповского чиновника, когда тот спросил ее о странных причинах этого брака.

В начале тридцать девятого один друг нашей семьи в Берлине принес нам две визы в Швейцарию: для моей матери и для меня. Цена — одна-единственная подпись. Подпись моей матери на документе, подтверждающем ее согласие на развод. Отец вынул из кармана пиджака самопишущую ручку. В этот момент мать посмотрела на меня. И я кивнул. Мать подписала.

С тех пор мы ни словом не обмолвились об этом. Но этого жеста, который спас нам жизнь, я никогда не мог простить себе. Есть, казалось бы, незначительные поступки, которыми непоправимо коверкаешь всю свою жизнь. На следующее утро мы выехали в Базель. Мы попрощались в квартире. Отец не провожал нас до машины, которая ждала у подъезда, но, когда я посмотрел в заднее стекло, он стоял в дверях.

Вот это, Виолат, и есть тот инцидент, который, если хотите, определил всю мою судьбу. Отец стоял в дверях нашего дома, к пиджаку его был приколот Железный крест первой степени, полученный во время первой мировой войны. Еврей, награжденный своим кайзером и полководцем за смелость в бою, теперь разведенный со своей женой, потому что она была немка, и приговоренный к смерти, потому что он был еврей. Отец был человек, которому претили всякие внешние эффекты, и если он вышел в то утро и встал в дверях, то только для того, чтобы вооружить нас, уезжавших на свободу, всем самым сокровенным, самым нерушимым, что он имел: своей гордостью, своим бесстрашием и своей иронией.

— И что же было дальше? — резко спросил Виолат.

— Майданек.

— А мать?

— Умерла в сорок четвертом, в Цюрихе.

Виолат помолчал, потом спросил нерешительно:

— Почему вы вернулись в Германию, Грёневольд?

— Семья моего отца жила в Германии еще в средние века, гораздо раньше, чем семья моей матери, которая пришла только с гугенотами, из Франции, — сказал Грёневольд. — Кроме того, не забывайте: я вырос в Берлине. И потом: я хотел понять.

— И поняли?

— Многое понял. И все же еще недостаточно.

— Вы действительно думаете, что это «окончательное решение еврейского вопроса» вообще можно понять?

— Вспомните о процессе Эйхмана, — сказал Криспенховен. — Ведь, несмотря на все усилия, он оказался абсолютно безрезультатным: такие процессы могут добиться видимого торжества справедливости, но они отнюдь не способствуют подлинному очищению души.

— Конечно, нацизм — это не буйство нескольких сумасшедших преступников! И не инфекционная болезнь, которая вдруг охватила Германию. Это был целый комплекс хронических болезней.

— Каких? — спросил Криспенховен.

— На этот вопрос один человек, к тому же еврей, не может ответить. Так же, как и немец. Ответ, если он вообще существует, может быть найден только в разговоре между евреями и немцами. Мне кажется, что именно ради такого разговора я и вернулся!

— И вам удавалось начать такой разговор?

— Редко. Для еврея или полуеврея почти невозможно завязать с немцами разговор о «третьем рейхе».

— Этого я не могу себе представить, Грёневольд, — сказал Виолат и долил в рюмки вина.

— Конечно, можно говорить об этом с людьми, Виолат, как говорят о наводнении или авиационной катастрофе. Но это не разговор! Не такой разговор, который поможет выявить правду.

— А чем это объясняется, что подсказывает ваш опыт? — спросил Криспенховен.

— Еврей вспоминает слишком часто, а немец слишком редко. Он погрузился в равнодушие, как в спасительный сон.

— Равнодушие?

— Назовите другое слово, Криспенховен, которое точно выразило бы это ужасающее безразличие многих немцев к своему прошлому! Выпадение памяти? Раздвоение сознания? Смысл один и тот же.

— А вам не кажется, Грёневольд, что вы все это чересчур близко принимаете к сердцу?

— Ну конечно же, Виолат. Конечно, все это меня волнует. Я понимаю евреев — депутатов бундестага, которым мерещится коричневый цвет, даже когда они слышат слово «крюкотворство»! Или выражение «раз-

едающий интеллект». Нам тут слышатся перепевы с чужого голоса. Не обижайтесь. Конечно, это результат чрезмерной чувствительности, но она, как и реакция организма на изменение погоды, неприятнее всего для тех, кто ею страдает!

Только не ошибитесь в одном: эта чувствительность не имеет ничего общего с ненавистью. Она рождается из любви, из оскорбленного чувства любви к вашему и нашему народу, к Германии! Я знаю лишь немногих евреев, которые ненавидят Германию, то есть всю Германию. Большинство все еще любит ее — и боится этой любви.

— Вам довелось почувствовать на себе антисемитизм, настоящий, массовый антисемитизм? — спросил Криспенховен.

— Нет. Ваше правительство не настроено антисемитски, большинство народа тоже. А выходки некоторых сумасшедших нам, я надеюсь, можно не принимать всерьез! Чего я боюсь и на что я всегда смотрел действительно с содроганием — это нечто совсем другое, то, что мешает немцам преодолеть свое прошлое, стать хозяевами своего настоящего и хранить чистоту своего будущего: их чудовищная бездумность.

— Разве она существует только в Германии? — спросил Криспенховен.

— Нет, конечно, нет! Но чего я никак не могу понять, Криспенховен, так это той спокойной методичности, с которой немцы пытаются уклониться от признания своей вины!

— Не является ли эта «забывчивость» уловкой, проявлением их *élan vital*? — спросил Виолат. — Они стараются не верить, что все это было на самом деле, потому что иначе нельзя жить!

Грёневольд хотел что-то ответить, но раздумал и снова улыбнулся Криспенховену. Помолчав, он сказал:

— Вот, пожалуйста, возьмите хотя бы нашу педагогическую коллегию. Преподавателей мужской средней школы в центре Германии, на среднем расстоянии от зональной границы и «третьего рейха». Будем считать ее рядовой, обычной школой. Блаженно наивные невежды Гodelунд, Гаммельби, Куддеверде, Кнеч скажут: не знали — значит, не виновны. Матушат, Матцольф и Випенкатен: знали, но не одобряли — значит, не виновны. Гнуц, Хюбенталь и Немитц: знали, но не участвовали — значит, не виновны. Харрах: концлагеря изобрели англи-

чане — значит, не виновен. Нонненрот: у меня это прошлое сидит в печенках — значит, не виновен. Риклинг: папа римский тоже молчал...

— Остаются трое-четверо, — сказал Виолат.

— Из восемнадцати, Виолат!

— Разве этого недостаточно? Это же очень много!

— Все дело в том, какие они, эти трое-четверо.

— Согласен, — сказал Виолат. — Грёневольд, мне бы очень хотелось помочь вам обрести душевное равновесие. Но единственное средство, которое я мог бы предложить, — это психология, черная магия неверующих. И впрямь она доставляет больше удовольствия, чем коллекционирование марок.

— Благодарю, Виолат! Но есть проблемы, которые лучше всего решать так: подбросить монетку и поставить на орла или решку.

— Нет, — растерянно сказал Криспенховен.

— Почему нет?

— Я и дня не мог бы прожить, отдавшись на волю, случая.

— Он думает, у него проблем нет! — сказал Виолат и улыбнулся.

Криспенховен ничего не ответил.

Грёневольд посмотрел на красную сетку, разделявшую зал.

— Вы верите в разумный миропорядок? — спросил он.

Криспенховен сдвинулся на краешек стула и принялся выколачивать трубку.

— Вы будете разочарованы, — сказал он. — В порядок, каким его мыслит церковь.

— До сих пор?

— Да.

Грёневольд наклонился вперед.

— Простите, но мне иногда бывает трудно понять, как может еще кто-то в это верить — разве что на то будет воля божия! — сказал он.

— Я вас понимаю; но знаете, чего я не понимаю и никогда не понимал: как может человек хотя бы один день прожить жизнью нашего поколения без веры.

— Как можете вы прожить хоть день этой жизнью — и верить! — сказал Виолат.

Криспенховен сплел пальцы рук.

— Вы знаете, я не оцениваю себя так высоко, чтобы позволить себе оспаривать откровения религии.

— А если бы разум, этот наш порок, помешал вам, Криспенховен? — спросил Виолат.

— Тогда я пожертвовал бы им. И стал бы молиться.

— Потерять разум, чтобы найти веру! — сказал Грёневольд. — Это как раз то самое сальто, на которое я не способен, Криспенховен. И которому не хочу учиться. Я хочу всегда и повсюду сохранять разум. В том числе и в своем отношении к вере: да, здесь прежде всего.

— Что же вам мешает?

— Не получается. Уже не получается. Я не настолько глуп, чтобы предъявлять счет господу, Криспенховен, но я и не могу просто так перечеркнуть опыт своей жизни. Я не неверующий, но я верю с трудом. А никому вера не дается так тяжело, как тому, кто когда-то был легковерным, а потом поплатился за это. Я сохранил веру — в сомнение.

Виолат не переставал улыбаться — меланхолично и насмешливо.

— И что вы теперь намерены делать? — спросил он.

— Подбросить монетку: если виза придет до пасхи, я уеду! Если нет — останусь здесь.

— После всего — есть ли вам смысл оставаться?

— Во мне пробуждается энергия, когда другие чего-то требуют от меня, — сказал Грёневольд. — Когда они меня провоцируют на жизнь. Вот, например, эти.

Криспенховен и Виолат вместе с ним посмотрели вниз, на бар. Затемин и Шанко как раз пожимали руку бармену, потом сели за столик в самом углу.

— Самые трудные в вашем классе, — сказал Виолат.

— Вы так думаете?

— Во всяком случае, если не считать Рулля.

— Мальчик вызывает у меня тревогу, — сказал Криспенховен.

Грёневольд посмотрел на него с удивлением.

— Радуйтесь, что у вас в классе есть такой ученик.

— Четыре порицания — и все за упрямство.

— Этого я не понимаю, — сказал Грёневольд. — Мальчик вовсе не упрямый. Он своенроен, а это доблесть, к сожалению, мало распространенная в школе. Покладистые, конечно, гораздо удобнее.

— Кто записал ему порицание? — спросил Виолат.

— Шеф, Харрах и Хюбенталь. Я даже не уверен, получит ли он выпускное свидетельство.

— Осенью у него все было в порядке, — сказал Виолат. — А теперь вдруг заело?

— Последние три-четыре недели его дела очень плохи. Он просто не хочет работать. Сидит на уроке и все время о чем-то думает.

— Так поговорите с ним, — сказал Виолат Грёневольду.

— Я его почти не знаю. С тех пор, как в учебном плане оставили только два часа истории...

— Он еще не был у вас дома?

— Был, один или два раза. Осенью.

— Он единственный ученик в классе, который заходит к своим учителям.

— Уникум, — сказал Виолат. — Чего он хочет?

— В самом деле — чего? Ему нужен компас. Пример для подражания.

— У него уже есть какая-нибудь работа на примете? — спросил Грёневольд.

— Кажется, что-то связанное с машиностроением.

— А он не хочет?

— В том-то и дело.

Криспенховен снова посмотрел вниз, на стол, за которым сидели Затемины и Шанко.

— Руль тоже был здесь, — сказал Грёневольд. — Но увидел нас и сразу ушел.

— Они и впрямь делают домашние задания, — сказал Криспенховен. — Вот так кафетерий!

— Вроде зала ожидания.

— Вы здесь часто бываете, Виолат?

— Два раза в неделю. Это имеет то преимущество, что можно довольно непринужденно побеседовать с учениками. Здесь они чувствуют себя, мне кажется, гораздо более по-домашнему, чем у себя дома.

— А Затемина вы здесь часто видите?

— Да.

— Меня удивляет, что в такой поздний час ему еще разрешают выходить из дому! Он живет в семье дяди. Весьма почтенные господа, в здешних местах с незапамятных времен.

— А родителей у него нет? — спросил Грёневольд.



— Мать умерла в прошлом году. Отец в Восточной зоне.

— А почему он не с отцом? — спросил Грёневольд.

— Все дело в семье: семья его матери строго католическая, а там...

— Своего рода карантин, — сказал Виолат.

— Затемин меня, собственно, не очень тревожит, а вот Шанко — очень!

— Он зол на весь мир, — сказал Виолат. — Стало быть, мир должен измениться.

— Он внебрачный ребенок, — сказал Криспенховен. — Его отец погиб прежде, чем они с матерью успели пожениться. Теперь мать вкалывает на чулочной фабрике, чтобы из него и сестры — они близнецы — вышло что-нибудь путное.

— Боюсь, благодарности она от него не дожидается, — сказал Виолат. — Он иногда бывает невыносим.

— Не он виноват в том, как сложилась его жизнь, — сказал Грёневольд. — Вы когда-нибудь видели бунтаря, вышедшего из благополучной семьи? Некоторые большие, настоящие революционеры — да, но мелкие анархисты...

Криспенховен посмотрел на часы над стойкой бара.

— Мне пора, — сказал он. — Жена пошла на лекцию в кружок святой Гедвиги. Вернется около половины десятого.

— Я вас провожу немного, — сказал Грёневольд. — А вы, Виолат?

— Я еще часок посижу!

— Спасибо за беседу, — сказал Грёневольд и взял свое пальто.

Виолат дошел с ними до музыкального автомата и поставил пластинку Брассанса.

...Шанко сказал:

— Когда ты, наконец, организуешь группу?

— Еще не время.

— Не время! Ручаюсь, что шесть-семь человек из нашего класса согласятся вступить.

— Ни один, кроме нас с тобой.

— Слушай, вот уже пять месяцев, как мы суем им в портфели «Молодое поколение». Каждый может догадаться, откуда этот товар...

— Но ведь толком-то никто не знает, или ты думаешь...

— Нет, конечно, нет! Во всяком случае, они не болтают.

— Ну и?..

— И все-таки читают статьи.

— Ну и?..

— Ну и? Эти статьи оказывают свое действие, будь уверен! Не все, может быть, и не на всех, но на некоторых. Подумай об Анти, Джонни, Чарли, Трепле, Капоне, Фавне...

— Какие же ты делаешь из этого выводы?

— Выводы? Эти шестеро созрели. И еще несколько человек.

— Неверно. Держать язык за зубами — вовсе еще не значит действовать.

— Но уже близко к этому.

— Неверно. Почему они не болтают?

— Да потому, что они чувствуют, откуда ветер дует, и не хотят плестись в хвосте.

— Так же, как ты?

— Ясное дело.

Затемин с минуту пристально и с неприязненным интересом смотрел на Шанко. Потом равнодушно отвернулся.

— Это могло бы относиться только к Курафейскому и Тицу, — сказал он. — Если бы это было так! На самом деле все обстоит по-другому. Анти не треплется, потому что мы делаем кое-что, направленное против господствующего теперь порядка. Анти вместе с нами против этого порядка; но он не пойдет вместе с нами за наш порядок — социалистический.

— Но Капоне!

— Тиц унюхал вестерн, вестерн с дикого Запада; у него криминалистический, а вовсе не политический интерес к делу. Оба они нам не подходят.

— Ну, может, ты и прав, — угрюмо сказал Шанко, — тогда все-таки остаются Трепло, Джонни, Пигаль, Фавн и...

— У Муля только один trend<sup>1</sup> — джаз! Джаз — это новый опиум для полужрелых, для половины «молодого поколения» на Западе. Поэтому как противники они от-

---

<sup>1</sup> Устремление (англ.).

падают, но и как сторонники — тоже. Что касается Мицката, тут ты, пожалуй, не совсем не прав...

— Наконец-то!

— Но если мы его привлечем, то кого мы привлечем в его лице?

— С Джонни все в порядке.

— Неверно. С Мицкатом совсем не все в порядке. У него дома — сущий ад. Отец пьет, а мамаша — не в своем уме. Поэтому он и мечется, как жеребенок, застигнутый бурей, и ищет себе теплое стойло. Мицкат для нас пустое место: он не собирается начать борьбу, он хочет ее кончить.

— Черт побери, если все эти ребята для тебя недостаточно хороши, кто же тогда для тебя хорош?

— Самые лучшие: Адлум, Руль, Клаусен...

— Клаусен — Пий?

— Клаусен, Петри...

— Из этих тебе не подцепить ни одного, даю голову на отсечение, за исключением, может быть, Фавна.

— А почему?

— Потому что они живут в тепле и холе.

— Чушь!

— А ты знаешь другую причину? — обиженно спросил Шанко.

— Да! У них действительно еще есть что-то вроде семьи. Но Клаусен католик, католик до мозга костей. А это уже кое-что, товарищ Шанко.

— Поповское охвостье.

— Ну, это довольно примитивный ход, — резко сказал Затемин. — Так мы далеко не уйдем. Кто недооценивает своего противника, тот проиграл сражение еще до первого выстрела. Заполучить Адлума ничуть не легче. Это протестантский вариант Клаусена. Более искренний, но по существу такой же консервативный, чувствует себя так же прочно и со всем согласен.

— Ну, тогда Пигаль. Этот верит, что из фунта говядины можно сварить отличный суп, если налить поменьше воды. Вот и все его убеждения.

— Возможно. Но Петри тоже врос в определенный порядок. И даже если у этого порядка нет будущего, пока что он все-таки существует; порядок этот не прочный, но затверделый, не гибкий, но непрístupный: это армейская иерархия.

— Его отец служит в бундесвере и опять полковник. Прусская свинья!

— Стоп! Может быть, семья Петри держится за этот порядок не потому, что папаша Петри служит в бундесвере, а наоборот: папаша Петри — полковник бундесвера, потому что все Петри, одно поколение за другим, не вылезали из серо-зеленого корсета.

— Допустим. Только все это дохлые диалектические трюки, которым тебя там обучили.

— Пожалуйста, опровергни, — сказал Затеми́н и скрестил на груди руки.

— Во всяком случае, ты же сам признаешь, что ни к кому из них тебе не подступиться.

— К сожалению, да. Это элита.

— Мы к ней не принадлежим, — сказал Шанко, ухмыляясь.

— Вместо того чтобы иметь дело с элитой, мы вынуждены снова обращаться к продажным индейцам.

— Как это понимать?

— У Рулля есть два качества, которые могли бы склонить его на нашу сторону: он недоволен и он способен воодушевляться.

— Фавн от нас не уйдет! На этот счет можешь мне лекцию не читать.

— Я сказал, что у Рулля есть два качества, которые могли бы склонить его на нашу сторону; но у него есть еще два качества, из-за которых нам с ним будет трудно. Он мыслит слишком конкретно и не способен заглядывать далеко вперед. К тому же в нем много страдания! По сути дела, он тоже христианин. Христианин вне церкви.

— Тебе все чудятся призраки, христианские призраки!

— Эти «христианские призраки» — самые серьезные противники, какие у нас только есть в Европе. Точнее, могли бы быть таковыми, если бы они свое учение принимали всерьез. Но истинно верующие — это мы.

— И как ты намерен поступить с еретиками?

— Обратит их в свою веру.

— С помощью серпа и молота.

— Эта фаза уже прошла. В современных условиях надо применять психологические методы, а именно: выдержка, постоянное подстегивание, готовность ко всему.

— Здорово ты это вызубрил. Но попробуй-ка эти

методы применить! С Фавном, например, этот номер не пройдет. Мягким подходом мы ничего не добьемся.

— С Руллем я поговорю сам, с глазу на глаз. Тем временем наши операции должны развиваться.

— Что у тебя намечено на сегодня?

— Не ори так.

— Почему мы встречаемся здесь, а не в другом месте?

— Потому что здесь мы вне подозрений.

— Не понимаю.

— О господи!

— Слушай, брось-ка ты эту свою дурацкую иронию — кому ты только подражаешь? А не то будь здоров! — возись со своим хламом сам.

— Вот уж не собираюсь. У меня кое-что есть для тебя.

— Что?

— Сперва один вопрос, которого я не могу решить сам.

— Давай, выкладывай!

— Кому из учителей мы подсунем сегодня?..

— Старик, ты хочешь учителям...

— Не всем. Таким, которым все-таки стоит.

— Ты что, рехнулся?

— Номер один — Ребе. Может быть, я вручу ему материал лично.

— Потрясающе!

— Макаренко, «Флаги на башнях». Классическое произведение педагогики. Кроме шуток. Только на свободном Западе его по случайности замалчивают. Может, ты думаешь, что по этой причине Ребе воздержится читать классическое произведение педагогики?

— Никогда!

— Итак, номер один: Ребе.

— Слушай, но ведь он тебя спросит, откуда ты взял...

— Это классическое произведение педагогики.

— Допустим. Значит, откуда ты взял это классическое произведение педагогики?

— Разумеется, из так называемой ГДР. На титульном листе ведь названо издательство.

— А каким образом?

— Привез, когда ездил в гости к отцу. Специально для Ребе.

— Выпьем за это еще порцию джиджера<sup>1</sup>, — сказал Шанко.

— А номер два? — спросил Затемин.

— Буйвол, по-моему!

— Буйвол? Бессмысленно. Этому все безразлично. Даже перспектива стать заслуженным учителем.

— Риклинг?

— Профессиональный склочник. В первом, втором, третьем, четвертом и пятом рейхе. Его можно использовать только как агитатора, не ведающего, за что он агитирует. Дальше.

— Факир.

— Уже записан. Если бы мы могли предложить этому типу теплое местечко на той стороне, видное положение, да еще побольше рубликов и поменьше работы, то в первый же вечер он бы уже болтал по телевидению, да еще так бы лез из кожи вон, что Шницлеру<sup>2</sup> пришлось бы его сдерживать. Одно только в нем плохо — и это делает его неинтересным: он пуст, как погремушка.

— С паршивой овцы хоть шерсти клок!

— Вот именно с паршивой! Кто следующий?

— Пижон.

— Наконец-то. Красным он, правда, не станет, разве что розовым — он и в те времена был только бежевым. Но если мы найдем к нему подход, а потом сделаем ему соответствующую прививку, то он начнет заливать — только держись! И еще будет думать, что все это очень шикарно. Ерго<sup>3</sup>: Немитц получит сегодня вечером первый подарок с Востока.

Шанко был в восторге.

— Я согласен. Кто еще у нас в списке?

— Старые клиенты. Капля долбит камень.

— Особых операций не будет?

— Когда ты сможешь опять воспользоваться гектографом?

— В субботу.

— Порядок. Сто экземпляров.

— Только и всего?

— Пока хватит. Мы не будем разбрасывать их налево и направо. Прямое попадание для нас важнее всего.

<sup>1</sup> Сорт эля.

<sup>2</sup> Карл Шницлер — политический обозреватель телевидения ГДР.

<sup>3</sup> Следовательно (латин.).

— Текст у тебя уже есть?

— Один есть, но он мне не нравится. Оголтелая красная пропаганда — с барабанным боем.

— Так ведь это и нужно. Что ж ты хочешь еще?

— В ближайшее время мы не будем вести пропаганду в пользу Панкова<sup>1</sup>.

— А что же?

— Пойдут тексты против Бонна.

Шанко презрительно передернул плечами.

— Что ты от этого ждешь? Ведь все, что мы можем сказать насчет Бонна, давно известно.

— Никакой травли. Корректные тексты, направленные против грязных махинаций. К счастью, последних имеется достаточное количество — бог знает почему. Я от этого жду большего, чем от всяких красных уток.

— А я нет.

— Один экземпляр поместим в «Черной доске».

— В школьной газете?

— Да. В той колонке, где футбольные репортажи.

— Будет сделано, комиссар.

— Заткнись! Шифровальный ключ еще у тебя?

— Держу его, между прочим, и в голове тоже.

— Хорошо. Тогда отдай его мне.

— Завтра.

— Но не в школе.

— О'кэй. Во время ближайшего тамтама.

— Еще одно: я устраиваю вечеринку.

— Кто участвует?

— Адлум, Руль, Курафейский, Мицкат, Клаусен, Петри, Лумда, Лепан, Фарвик.

— Без дам?

— Без.

— Соус без жаркого!

— Устроим что-то вроде концерта: Арт Блэйки, Рэй Чарлз. Два-три стихотворения Евтушенко. Потом я покажу цветные диапозитивы из Хельсинки и втяну их в дискуссию о мирном договоре. Конечно, только о самых притягательных его пунктах! Ты возьмешь на себя магнитофон.

— А ты не переоцениваешь свои силы — один против всей этой компании?

---

<sup>1</sup> Район Восточного Берлина, где находилось правительство ГДР.

— Видишь ли, во всем, что касается Востока, ты окажешься прав на девяносто процентов, если учтешь, что люди здесь отнюдь не перегружены фактическими знаниями. Просто жутко, до чего они мало знают! В первый месяц я думал, что это тактика, ловушка. Да, ловушка, вроде тех, что устраивали пимпфы<sup>1</sup> в сорок пятом, на последних рубежах против танков «шерман». Всего пять минут — три минуты они веселились, а за две их давили.

— Как дела с надписями на стенах?

— А разве все это еще не засохло? Ладно, я согласен, если ты предложишь броский лозунг.

— Я ведь тебе уже говорил: давай сыграем шутку и напишем на газовом котле возле школы: «Евреи, добро пожаловать!»

— Njet.

— Почему нет? Самое главное ведь, чтобы началась заваруха. Я уверен — в центральном совете это одобрят.

— Я, к сожалению, тоже. И все-таки я против.

— Тогда я напишу это на свой страх и риск.

— Этого ты не сделаешь, Шанко. Здесь решаю...

— Смотри-ка, наверху, на капитанском мостике, сидят Ребе, Попс и Брассанс.

Затемин спокойно обернулся и вежливо поклонился учителям. Шанко только ослабился.

В эту минуту в кафетерий вошел Руль и громко сказал:

— Эй вы, комсомольцы! Скоро ли колокольный звон возвестит о революции?

— До этого тебе придется поприветствовать своих учителей.

Затемин прижал большой палец к краю стола и указал им наверх. Руль обернулся, увидел, что Грёневольд и Криспенховен встали, и поздоровался.

— Давно вы тут сидите? — спросил он у Шанко.

— Так примерно с девяти. Впрочем, я уйду. Всего!

— Всего!

Руль заказал себе бутылку кока-колы, выпил ее залпом, положил руки на стол, а голову на руки и сказал:

---

<sup>1</sup> Детская фашистская организация в гитлеровской Германии.



- Зачем вы, собственно, это делаете?
- Что «это»?
- Думаешь, я дурак?
- Что мы делаем? — спросил Затеми́н.
- Ну, тогда ничего.

Шанко все еще стоял возле стола. Он посмотрел на свои наручные часы.

— Самое время, — сказал он, но не уходил.

— Когда тебе на допризывный медосмотр? — спросил Руль.

Затеми́н посмотрел на Шанко.

— Наверное, в мае.

— Почему ты мне ничего об этом не сказал? — спросил Затеми́н.

— Я как раз хотел с тобой поговорить. Кроме того, я все равно не явлюсь. Из принципа.

— Явишься, конечно.

Шанко опять сел.

— Ты и не подумаешь не являться, понял?

Шанко ничего не ответил.

— Да это вообще не так просто, — угрюмо сказал Руль.

— Почему? Конституция, статья четвертая.

Руль сунул кулаки в карманы своих манчестеров.

— Вольбринка знаешь?

— Этого набожного, из ХСМЛ? <sup>1</sup>

— Они здорово с ним расправились.

— Расскажи, — сказал Затеми́н. — Это меня интересует.

— Существует нечто вроде суда, перед которым ты должен предстать. Вот. И потом тебя спрашивают, почему ты не «готов к обороне». Так это у них называется. Или они спрашивают: «Вы только против бундесвера или против всякой армии вообще?»

— Что бы ты ответил, Шанко? — спросил Затеми́н.

— Что я против бундесвера.

— Идиот! Дальше, Фавн.

— Так вот, все дело в том, чтобы объяснить этим типам, что тебе подсказывает совесть. Это совсем не так просто.

— А ты что собираешься делать? — спросил Затеми́н.

---

<sup>1</sup> Христианский союз молодых людей.

- Я должен призываться только в будущем году.  
— И что тогда?  
— Не знаю еще. Есть и «за» и «против».  
— Какие же «против»? — спросил Затемиин.  
— Не хочу стрелять в людей.  
— В бундесвере в людей стрелять не нужно — только в картонные мишени!  
— Зачем же они выглядят как люди?  
Затемиин улыбнулся.  
Руль открыл застежку-«молнию» на своей куртке и достал из-за пазухи пачку карточек.  
— Какого вы мнения об этом? — хмуро спросил он.  
Затемиин внимательно прочел цитату.  
— Афоризмы, — сказал он. — Очень хорошие афоризмы.  
— И только?  
— Может быть, и не только для их авторов. Но они ничего не меняют. До Брехта писатели изображали мир — каждый по-своему. После Брехта в счет идут только те писатели, которые помогают изменять мир.  
— Против этого можно было бы многое возразить.  
Шанко пробежал глазами карточки и отдал их Руллю.  
— Если у тебя в одном кармане «Фауст», а в другом — револьвер, — сказал он, — тогда ты твердо стоишь на земле.  
— Афоризмы, — сказал Затемиин. — С одной стороны — высокие помыслы, с другой — револьверная романтика.  
Шанко опять встал.  
— Теперь я сматываюсь, — сказал он и взял портфель Затемина.  
— Не забудь завтра принести мои тетради! — крикнул Затемиин ему вслед.  
Руль погасил недокуренную сигарету.  
— По-моему, это гнусно, — сказал он.  
— Что?  
— А вот это, например.  
— Что?  
— Слушай, этого бедолагу Дина ты посылаешь разносить ваш материал, а сам сидишь здесь и изображаешь из себя телевизионного босса.  
Затемиин медленно осушил стакан джиджера.  
— Ты ошибаешься, — спокойно сказал он.  
Руль пытался опять раскурить свою сигарету.

— Какого ты мнения о «Свидетелях Иеговы»? — спросил он.

— Так себе.

— А об «Армии спасения»?

— Это получше.

— Почему ты не вступишь в одну из этих организаций?

— Зачем мне туда вступать?

— Тогда бы ты был не один. У тебя была бы своя команда. Ведь для тебя все дело в этом.

Затемин хотел было ответить сразу, но потом подумал и после небольшой паузы сказал:

— Я не хочу увековечивать прошлое — вот, наверное, в чем причина.

Руль угрюмо пустил под стол струю дыма.

— Известно тебе движение под названием «Знак искупленья»?

— Нет. А что это за движение?

— Его основал какой-то деятель из ГДР. Это попытка загладить все то, что натворили тогдашние немцы. В Бургундии, в Тэзе, эти ребята построили монастырь для какого-то евангелического ордена. Это движение существует, по-моему, и в других странах. Очаги примирения и тому подобное.

— Ты хочешь к ним присоединиться?

— Там посмотрим. Может быть, они действуют и в Польше.

— «Не вливай молодого вина в мехи ветхие», — с улыбкой процитировал Затемин.

— Афоризмы. — Руль ухмыльнулся. — Кстати, эти ребята вливают старое вино в новые мехи.

Затемин удивленно посмотрел на него и расхохотался.

— Я собираюсь устроить вечеринку, — торопливо сказал он. — Придешь?

— Вечеринку? Фигня.

— Не такую, как обычно. Без девчонок: джаз, Евтушенко, диафильм, дискуссия.

— Там посмотрим, — сказал Руль.

— Алло!

Они подняли головы.

— Привет, Адлум, — сказал Затемин.

Адлум бросил на пол возле столика свои купальные трусы и заказал себе пива.

— Смотри-ка, старик Виолат, — сказал он. — Что, разве он опять водится с молодежью?

Рульль взглянул на мокрые волосы Адлума и спросил:

— Ты чем занимался?

— Немножко поплавал.

— Нет, я спрашиваю, чем ты вообще сегодня занимался?

— Он хочет выслушать твой протокол, — сказал Затемин.

— Фавн — фантазер!

— Мне, правда, интересно, — сказал Рульль.

— Почему?

— Мне понравилось, когда я был у вас недавно.

— Что же тебе понравилось? — спросил Затемин.

— Отец вырезает из дерева голову Иоанна, мать делает такие бутерброды, что пальчики оближешь, а Лорд читает им вслух Стейнбека!

Затемин скорчился от смеха.

— Правда, было приятно. Ей-богу, — повторил Рульль.

Адлум молча закурил сигарету.

— Тебе тоже надо как-нибудь зайти к ним, Лумумба. И не один раз.

Затемин поморщился.

— Такое, оказывается, еще бывает: нормальная семья, — сказал Рульль. — Ей-богу.

Адлум встал и расплатился с кельнером.

— Новая порода, — сказал он. — Наивные пролетарии! Вы за деревьями не видите леса.

Рульль засмеялся и забарабанил кулаками по коленкам.

— Вы тоже идете? — спросил Адлум и поклонился Виолату.

На вокзальной площади ребята расстались.

Рульль сказал:

— Можно мне немного проводить вас?

Грёневольд вздрогнул и с трудом узнал Рулля в тусклом свете уличных фонарей.

— Я буду рад, — сказал он. — А ты тоже живешь здесь, в северной части?

— Нет, я живу в районе Швиммбада.

Они пересекли Кенигсплац, прошли через городской парк и оказались возле школы.

— Вот она — галера! — сказал Руль.

— Нет, корабль.

— Для гребцов — галера.

— Нет, корабль — для пассажиров, которые сходят на берег у финиша.

— У какого финиша?

— Старт и финиш, — сказал Грёневольд. — А между ними только черта, проведенная мелом.

Руль рылся в кармане брюк.

— Позвольте предложить вам сигарету.

— Кури, пожалуйста.

Руль остановился, зажег сигарету и улыбнулся.

— Недавно вы сказали одну хорошую вещь, господин Грёневольд!

— А именно?

— Что человек — это хищник, только время от времени обуздываемый культурой.

— В этом ничего хорошего нет.

— Конечно, но зато это верно.

— К счастью, не всегда — есть исключения.

— Мне кажется, это верно всегда. От Каина до Адольфа и дальше.

— Встречались и обнадеживающие случаи. Не забывай об этом.

— Вы, правда, в это верите?

— Да.

— И в то, что называется счастьем, тоже?

— Да. «Счастье» — это одно из самых прекрасных и самых необходимых слов, которые есть в языке.

Руль немного поотстал.

— Я говорю ужасным языком. Как почти все у нас в классе.

— А почему?

«Где взять, если не украсть», — ответил Руль. — Одних мы не понимаем, а другие не понимают нас.

Грёневольд ничего не ответил.

— Мы ведь обходимся всего полусотней слов, ну, может быть, сотней — не то детский лепет, не то лай. А когда...

— А когда уж совсем не знаешь, что сказать, говоришь «дерьмо»!

Руль нагнал его снова и рассмеялся. Это был нер-

возный смех, походивший на ржанье. Над их головами кто-то хлопнул ставнями.

— «Самые счастливые для человечества времена — это те, о которых не пишут в учебниках истории», — произнес Руль. — Кто это сказал?

— Гегель как будто бы.

— А о нас напишут в учебниках истории?

— Боюсь, что да.

Они остановились перед домом Грёневольда.

— Я хотел вам еще что-то показать, — сказал Руль. Грёневольд отпер парадную дверь и заглянул в свой почтовый ящик.

— Одну минутку.

«Макаренко, Флаги на башнях», — прочитал Руль название книги, которую Грёневольд полистал и молча сунул в карман.

Он отпер дверь своей квартиры, включил свет и сказал:

— Пожалуйста, снимай куртку.

— Нет, я не хотел бы вас задерживать.

Грёневольд открыл дверь в кабинет, пододвинул Рулю кресло, сел сам и сказал:

— Вот сигареты.

Руль остановился перед книжными полками, присел на корточки и разглядел несколько названий.

— Вы все это прочитали?

— Да. У меня было много свободного времени.

Руль снял с полки «Трехгрошовый роман», нашел в книге пластинку и спросил:

— Можно еще проиграть эту пластинку?

Грёневольд взглянул на часы.

— Да, — сказал он. — Только потише.

Руль включил проигрыватель, поставил пластинку и отрегулировал громкость.

...ведь для жизни этой  
Человек не так уж плох,  
И его стремление к свету  
Прекрасного залог! —

прозвучал резкий голос Брехта.

— Здорово, по-моему! — сказал Руль.

Грёневольд вложил пластинку обратно в конверт.

— Быть злым, чтобы исправить зло, — может быть, это и в самом деле хорошо? — спросил он.

Руль ничего не ответил, достал свои карточки и положил их на стол перед Грёневольдом.

— Что вы скажете об этом?

Грёневольд прочитал написанное на карточках по нескольку раз и сказал:

— Я теперь не придаю большого значения цитатам. Кому бы они ни принадлежали. Слишком много я их слышал. И мне пришлось наблюдать, какое безнадежное смятение можно посеять цитатами. Но я имею некоторое понятие об авторах, у которых взяты эти цитаты. Вот почему — а не ради цитатной мудрости вообще — я их одобряю.

— Вы подписали бы это? — спросил Руль, собирая свои карточки.

— Подписал?

— Да, ну вроде бы как манифест.

— Руль, я еще не видел манифеста, который мне хотелось бы подписать. Или, скажем, так: который я подписал бы без оговорок.

— По-моему, это трусость.

Грёневольд засмеялся и поставил книгу на место.

Руль сунул руки в карманы, сполз в кресле вниз и устался в одну точку.

— Про Восток вы, конечно, тоже думаете бог знает что! — неожиданно сказал он.

— Почему «конечно»?

— Я еще не видел учителя, который бы сказал о Востоке доброе слово.

— Сказано неумно и несправедливо, — ответил Грёневольд.

Руль выпрямился в кресле.

— Послушайте, господин Грёневольд, — сказал он, — ведь здесь у нас, на Западе, говорят о Востоке точно так же, как правоверные католики разглагольствуют об аде. Так мы вообще не сдвинемся с места, а ведь в ГДР тоже живут немцы, все они немцы, даже члены СЕПГ.

— Сам ты с Востока? — спросил Грёневольд.

— Да. Из Нейсе.

— А когда вы переехали сюда?

— В сорок девятом.

— Я вырос в Берлине, — сказал Грёневольд.

Руль топтался возле полок.

— На Востоке все дерьмо. Не только в ГДР — всюду, — сказал он. — Там все голодают. Там система концлагерей. Там нет свободы. Там они вооружены до зубов. Там они только и ждут момента, чтобы нас всех перерезать — ведь ничего другого мы здесь не слышим. А в школе на эту тему вообще ничего не говорят. Те самые учителя, которые все еще носят черно-красно-белые цвета, на заключительном балу танцуют под песенку Мэкки Ножа. И сами даже не замечают, какими они выглядят дураками.

Грёневольд хотел что-то сказать, но не успел.

— Ведь ни один человек не верит, что на Востоке — все сплошь гангстеры, а на Западе — сплошь святые, — продолжал Руль. — Что же такое творится на Западе? Ведь у нас нет ничего, ничего, что могло бы нам служить компасом!

— Ты бывал там после сорок девятого года? — быстро спросил Грёневольд.

— В прошлом году, в Восточном Берлине.

— И что?

— Им живется лучше, чем здесь пытаются изобразить.

— Может быть, и лучше, но далеко не хорошо.

— А кому здесь хорошо?

— Руль, а кому здесь плохо? Разве не будет правильнее поставить вопрос так?

— Нам плохо, — сказал Руль.

— Кому это — нам?

— Нам.

— Ребятам? В классе?

— Да. И вообще.

Руль взял себе еще одну сигарету.

— Скажите еще что-нибудь хорошее, — пробурчал он.

Грёневольд встал.

— Вот что я тебе предложу, — сказал он. — Как-нибудь мы обстоятельно с тобой поговорим. Сегодня уже поздно, и я очень устал.

Руль слушал его с хмурым видом.

— Мы поговорим еще на этой неделе, может быть, завтра. Я скажу тебе в школе — когда.

Руль закрыл «Молнию» на своей куртке и натянул на голову капюшон.

— Ладно, тогда я пошел, — сказал он.



— Приходи еще! И если хочешь, приведи с собой двух-трех ребят из вашего класса.

— Кого именно?

— Кого хочешь.

— Там посмотрим.

Грёневольд проводил его вниз. В дверях Руль повернулся и протянул учителю руку.

— Скажите мне напоследок только еще одно.

— Что?

— Какого вы мнения обо мне?

— Ну что ж, парень, пожалуй, мне нравится, — сказал, смеясь, Грёневольд и вытолкнул Руля на улицу.

### III

Бекман стоял в котельной и наблюдал, как ртутный столбик термометра медленно полз вверх. Он раздумывал, не затопить ли ему еще и второй котел, искоса поглядывая через грязное подвальное окно на заиндевевый школьный двор, огражденный базальтовыми стенами; потом сделал затяжной глоток из пивной бутылки и решил все-таки положиться на скупое и медлительное мартовское солнце. Микки смотрел, как его хозяин вывалил из жестяной коробки в ладонь целую кучу окурков, выковырял оттуда табак, высыпал его в коробку, свернул себе сигарку в палец толщиной и закурил.

Бекман услышал во дворе шаги, посмотрел в окно, но увидел только волосатые голые ноги, обутые в закатанные носки и стоптанные мокасины, взглянул на свои карманные часы и покачал головой.

Он допил пиво, тыльной стороной ладони отер пену с губ и тяжело вздохнул. Пес сидел перед ним, постукивая хвостом по полу, и смотрел на него голодными глазами.

Вдруг Бекман поставил бутылку на бетонный пол возле котла и подошел к окну. Окно было не закрыто, а только притворено. Бекман закрыл его на щеколду, потом опять открыл и всмотрелся в следы на цементной дорожке. На угольной пыли четко отпечатались рифленные резиновые подошвы. Бекман почесал небритый подбородок, поставил пустую пивную бутылку за котел и поднялся на первый этаж.

За окнами простирался в тумане все еще пустой школьный двор. Мигающий фонарь какого-то велосипедиста бросал световые пятна на замерзший шлак. Дежурный учитель еще не приступил к своим обязанностям.

Бекман посмотрел на электрические часы, висевшие посреди коридора, где занимались младшие классы. Было без двадцати восемь. Шлепая туфлями, поднялся на один марш лестницы, вынул из кармана большую связку ключей и, прислушиваясь, нерешительно остановился перед дверью в кабинет директора.

Здесь он обнаружил первую карточку.

Она была приколот к двери кнопкой: небольшого формата, твердая, как игральная карта, и на ней каллиграфическим почерком была выведена одна-единственная фраза: «Ты приобрел в моих глазах нечто загадочное, присущее всем тиранам, чье право зиждется на их личной воле, а не на разуме».

Бекман в задумчивости зажег потухшую было сигарету, перечитал фразу еще раз, и рот его растянулся в блаженной улыбке. Он уже взялся за кнопку своими корявыми ногтями, но, подумав, рассмеялся коротким блеющим смешком и оставил карточку на прежнем месте.

Внизу кто-то открыл входную дверь.

Бекман перегнулся через перила.

— Не запирайте дверь, — радушно сказал он. — Без четверти восемь.

— Она и не была заперта.

Фрейлейн Хробок, усталая и хмурая, поднималась по лестнице, грызя плитку шоколада.

— Дежурный-то кто? — спросил Бекман, без стеснения заглянув в вырез блузки фрейлейн Хробок.

— Господин Грёневольд. Он уже во дворе. — Проходя мимо Бекмана, фрейлейн Хробок надула губы и сказала: — Опять от вас пивом пахнет.

— Уж лучше сдохнуть от пива, чем от угольной пыли! — сказал Бекман. — Что шеф, выехал?

— Он будет здесь с минуты на минуту. Вы бы хоть побрились.

Бекман посмотрел ей вслед, оценил ее ноги и отметил, что она удивленно остановилась перед карточкой. Он осклабился от удовольствия, почесал подбородок, погасил каблуком сигарету, сунул окурочек в жестяную коробку и спустился на первый этаж.

...послал в Отдел охраны порядка уже три заявки, а на аллее, ведущей к школе, все еще нет фонаря! Просто скандал. Каждое утро Бекман подбирает здесь презервативы, и все-таки бывает, что и ученики наталкиваются на эту мерзость и потом творят всякие непотребства. Просто скандал. Этим ами как будто особенно нравится поливать свои цветочки именно здесь — в этой аллее! А почему? Потому, что здесь темно, а в потемках можно делать что угодно. Одна-единственная дуговая лампа в пятьсот ватт, если ее повесить посреди аллеи, в одну ночь разгонит эту шпану! Но нет, «Отдел охраны порядка не может удовлетворить вашу потребность»! Уже эта беспримерно нелепая фраза показывает, какого это поля ягоды. Видимо, их начальник окончил четыре класса. Деревенщина, сумевший лестью и хитростью взобраться на высокое место. Семейственность. И такие типы решают судьбу моих заявок. Конечно, я могу обратиться в комиссию по делам школы и культуры, но толку будет не больше. Кум башмачник и кум перчаточник. Это просто скандал, что в комиссии по делам школы и культуры из девятнадцати членов только один педагог — и то учитель начальной школы! ХДС посылает туда юристов, СНП — кого попало, а СПГ — рабочих. И эти господа решают, что нужно и что не нужно школе. От избытка знаний у них голова не трещит. За последние три года меня всего два раза соизволили пригласить на заседание этой комиссии — *Nomen est omen*<sup>1</sup>. Какая широта. Они равнодушно слушали меня, через полчаса бесцеремонно прервали, а мои предложения — труд, на которой я убивал все вечера, ничтоже сумняшеся смахнули со стола. «Во что это нам обойдется?» «Слишком дорого». Отклонили. Магистрат не только проявляет полное невежество, он просто занимается вредительством. Господин бургомистр и обер-директор могут сколько угодно заверять меня в обратном. Это же трагедия: профессии, от которой в первую очередь зависит, восстановит ли наше отечество свое духовное могущество или постепенно впадет в маразм, — как раз этой профессии власти и широкие массы уделяют меньше всего внимания.

Когда политические органы оказываются до такой степени беспомощны, центр тяжести приходится пере-

---

<sup>1</sup> Название есть предуказание (латин.).

носить на семью. Но, к сожалению, беспомощны не только органы власти, беспомощен — при всем моем почтении к нему — и Наблюдательный совет школы. Это же просто скандал, кому и каким образом достался пост штудиенрата.

Как на ярмарке. Не опыт имеет решающее значение и не моральные качества — нет, только партийная принадлежность и протекция. В домах священников и в партийных центрах решают, кого продвинуть, а кого задвинуть. Я это испытал на собственной шкуре. Ум и порядочность теперь ничего не стоят. Что правда, то правда: при Гитлере этого кумовства не было. Тогда по крайней мере в этой области соблюдались строгие нормы. Конечно, какого-нибудь красного или тем более еврея не стали бы терпеть. Но в остальном царил порядок!

А без этого — до чего докатится народ? Народ, который когда-то славился во всем мире своим образцовым чиновничеством. Прусский чиновник. Еще немного — и он мог бы потягаться даже с прусским офицером. А ныне? Коррупция поистине китайских масштабов. Всякий раз, когда я смотрю на это здание, во мне закипает желчь. Школьная новостройка 1959 года стоила 2,7 миллиона марок — и нет ни актового, ни гимнастического залов, ни бассейна для плавания! Нет даже душевой. Это же скандал. Сколько заявлений я подал в строительное ведомство, когда познакомился с планами? Сказать дюжину — будет мало. В строительное ведомство, обер-директору, ландрату, бургомистру, правительству — все без толку. Господам за зеленым столом, конечно, лучше знать — опытного школьного работника им слушать было скучно, а от моего заключения они просто отмахнулись. Только полный провал их проекта доказал мою правоту! Школьная новостройка, устаревшая еще до того, как в ней, четыре года назад, обосновался первый класс! Скандал. Теперь, после энергичного протеста родительского совета, теперь, в год выборов, — теперь вдруг обещают средства на пристройку павильона! А как только выборы пройдут — выяснится, что денег нет! Если бы в комиссии по делам школы и культуры сидел я — они бы у меня забегали...

— Доброе утро, уважаемый коллега Грёневольд! Боюсь, что нам придется топить до конца квартала. Ну, что там еще такое, Бекман?

— Я обнаружил надпись, господин директор!

— Надпись? Что еще за надпись?

— У вас на двери, господин директор. Вот наглось-то! Чего-то там такое про тирана...

— У меня на двери? На двери моего кабинета?

— Да, господин директор.

— Это уж... ну, ладно, сейчас разберемся! Извините, коллега. Вот видите, что делается, — радуйтесь, что не сидите на моем месте.

Бекман распахнул широкую стеклянную дверь, следом за директором прошел по нижнему коридору и поднялся на второй этаж.

— Я ничего здесь не вижу! — сказал Гнуц, подойдя к своему кабинету.

— Пять минут назад эта штука еще висела! — уверял Бекман. — Может быть, фрейлейн Хробок...

Гнуц открыл дверь.

Фрейлейн Хробок стояла перед зеркалом, зажав губами шпильки, и причесывалась.

— Это вы сняли с моей двери надпись? — раздраженно спросил Гнуц.

— Да, я думала...

— Что вы думали?

Фрейлейн Хробок с обиженным видом подошла к своему столу и молча протянула директору маленькую твердую карточку.

Гнуц прочел текст, забарабанил пальцами по столу, перечитал еще раз и решительно сказал:

— Это уже предел!

Бекман негодуя кивнул.

— И много вы еще нашли этой гадости?

— Нет.

— Вы всюду смотрели?

— Да! То есть всюду на первом этаже, господин директор.

— А здесь не смотрели?

— Нет.

— И наверху нет?

— Нет. Я как раз хотел...

— Пойдемте!

Перед дверью учительской Гнуц в ярости остановился.

— Пожалуйста!

Бекман заложил руки за спину, наклонился вперед

и через плечо директора, вместе с ним прочел: «Не бывает свободы без взаимопонимания».

— Снимите эту гадость! Осторожно! И пойдете дальше!

Они прошли по коридору второго этажа, оглядывая двери классов, но больше ничего не обнаружили и поднялись на третий этаж.

— На дверях шестого «Б», — весело сказал Бекман, — я и отсюда вижу.

— На дверях шестого «Б», — вне себя повторил Гнуц. — Как нарочно, на дверях выпускного класса!

На этот раз он прочел вслух:

— «Человек не вполне виновен, ибо не он начинал историю; но и не вполне невиновен, ибо он ее продолжает».

— Неслыханно! — сказал Гнуц и открыл дверь в класс.

На доске красным мелом было написано двестише.

Если дом твой прогнил и каплет со стен,  
Значит действовать самое время, —

прочитали Гнуц и Бекман, на этот раз стоя рядом, и потом еще: «Ты всегда несешь ответственность за то, что стало для тебя родным».

Гнуц повернулся к Бекману, с минуту растерянно глядел на него, потом снял очки и сказал:

— Ступайте вниз, к фрейлейн Хробох! Пусть она придет сюда с карандашом и блокнотом и спишет эту мазню! Я подожду здесь.

Бекман бросился выполнять приказ.

— Послушайте, Бекман! — крикнул Гнуц ему вслед. — Зайдите потом в учительскую и пришлите ко мне господина Випенкатена! Нет, лучше господина доктора Немитца! Я буду у себя в кабинете.

— Слушаюсь, господин директор. Будет сейчас же исполнено.

...надо как можно скорее выяснить, кто эти пачкуны! И примерно наказать! 6-й «Б» — скандал, что в этом году я не веду у них занятий. Директор школы не должен выпускать из рук старшие классы, тогда подобных афронтов не случится! Во всяком случае,

у меня такого не было ни разу за все тридцать пять лет, что я работаю в школе. Противоречить себе я просто не позволял. *Principiis obsta*<sup>1</sup>. Эти оппозиционные элементы из низов, которые время от времени появляются снова, надо просто безжалостно искоренять! После пасхи займусь составлением расписания. Сам. Учительская коллегия только ищет случая подставить мне ножку! Желание навредить власти имущему, месть подчиненных. Коллегиальное руководство школой — нелепость. «Большинство — это глупость». Шиллер. Школа держится на директоре и рухнет вместе с его падением. Пока что еще у них руки коротки! У меня есть связи в самых высоких кругах. 6-й «Б» — кто там классный руководитель? Криспенховен. Слишком мягок. У этих молодых людей какая-то дряблость в характере. Духовно искалечены войной. Все подряд! Криспенховен, Виолат, Грёневольд. Хотя этот, как полувейрей, в армию не попал. Мы возмужали под Верденом. *In tempestatibus maturesco*<sup>2</sup>. А их доконал Сталинград. Вот в чем разница. Счастье, что я не доживу до того времени, когда эти люди станут править Германией.

Что бы там ни говорили про Аденауэра — у старика железная энергия. 6-й «Б». По-настоящему надо бы сначала поговорить с классным руководителем. Ведь я этих ребят совсем не знаю. Не имеет значения. Надо выяснить, кто этот смутьян! И примерно наказать! Быстро и в назидание всем остальным! У меня в школе должен быть порядок. Этот бунт — следствие педагогической оттепели. Товарищеские отношения между учителем и учеником — это вздор! Незачем говорить с Криспенховеном, во всяком случае заранее. *Fait accompli*. Испытанный метод. Необходим каждому, кто занимает руководящий пост. 6-й «Б» — кто там, в этом 6-м «Б»? Клаусен, Адлум, Нусбаум, Муль, Фарвик, Лумда. Остальных пока не могу припомнить. Да в конце концов школа насчитывает почти восемьсот учеников. Стоп, как фамилия того рыжего? Он уже один раз был оставлен на второй год, а его папаша теперь едва здороваается — так как же его фамилия, он с Востока — Кур... Кур... ну конечно, Курафейский! Да, с него такое станется. Этого надо прощупать в первую

---

<sup>1</sup> Надо противостоять основам (латин.).

<sup>2</sup> Мужаю в бурях (латин.).

очередь. А эти тексты — да, да, да! В каком классе их прорабатывают? Насколько я помню программу — там их нет вообще! Немитц... Немитц ведет литературу в 6-м «Б». Прав я был, что вызвал Немитца. Не Випенкатена и даже не Криспенховена.

Немитц — специалист по литературе, кроме того, с тех пор, как я его знаю — уже пятнадцать лет, он всегда поддерживал руководство...

...что вдруг понадобилось от меня старику? Без дела он меня еще никогда не вызывал. Не слишком-то порядочна по отношению к остальным та роль, которую я взялся играть, но игра стоит свеч! Потом мне нетрудно будет обвести его вокруг пальца, он и не заметит. Пуглив, страдает манией величия — и порядочный дурак.

Дуболом — неплохо они это придумали. У ребят иногда оказывается довольно острый глаз. Счастье еще, что я с ними так хорошо лажу. За меня они готовы в огонь и в воду. Может быть, на этот раз мне удастся договориться со стариком насчет субботы — чтобы я был свободен не после третьего урока, а вообще весь день. При некоторой изворотливости это можно устроить. Ренаточка работает только пять дней. *Not too bad*<sup>1</sup>. В сущности, старика пугает мое интеллектуальное превосходство. Чисто крестьянская хитрость — объединиться именно со мной. А коллегия с завистью смотрит на мое особое положение. Это типично. И первый завистник — Випенкатен! Заместитель директора — только на бумаге! Впрочем, в ведомости на выплату жалованья — тоже. Несущественное преимущество. Возможность благодаря своему уму незаметно осуществлять власть над людьми — это игра потоньше, чем всякая номинальная власть. Хорошо сказано. Или это была цитата? Где у меня сегодня первый урок? В 6-м «Б» — сдвоенный урок литературы: Кафка. Можно не сомневаться — во всем округе не найдется другой средней школы, где бы проходили Кафку! В лучшем случае прочитают одну-две притчи. И это еще называется современным обучением! Поколение наших отцов мыслит категориями наших дедов.

---

<sup>1</sup> Не слишком плохо (англ.).



Вот кардинальная проблема нашей школы вообще. 6-й «Б» — а не из-за 6-го ли «Б» старик меня вызывает? Но ведь в этом случае он бы вызвал Криспенховена. Правда, шеф ему не доверяет.

Коллега Криспенховен бывает уж слишком своеволен. Его класс в полном порядке. Во всяком случае, я великолепно лажу с этим классом. Кому удастся разжечь интерес у ребят, разбудить их спонтанную духовную активность — тот покоряет и их сердца! Я уже давно понял то, что еще пятнадцать лет тому назад казалось мне просто немыслимым, — что мое место на педагогическом фронте! Старик тоже понимает это и отдает мне должное. И это не более чем справедливо. Не забыть про субботу! *Do ut des*<sup>1</sup>. Психология римлян. Интересно, какова эта Хробок в постели? Слишком пресная! Рената тоже не сразу...

— Доброе утро, уважаемый коллега Немитц! Садитесь, пожалуйста!

— Спасибо.

Д-р Немитц сел у внушительного письменного стола. Гнуц разглядывал его как хирург своего пациента.

— Я прочел вашу статью в последнем номере «Руркумпеля»! — соврал он для начала. — Великолепная статья! Вы не имеете намерения послать ее правительству?

— Об этом я, признаться, пока не думал.

— «Не ставь свой светильник под сосудом», коллега!

— Вы полагаете, что референт министра действительно интересуется моими статьями о школьной реформе?

— Да конечно же, коллега! Когда я в последний раз с ним виделся — это было на конференции директоров, — он как раз спрашивал о вас.

Гнуц почувствовал, что перестарался; он подвинул к Немитцу портсигар и сказал:

— Кроме того, будет объявлен конкурс на замещение вакансии директора средней школы имени Эрнста Морица Арндта.

Немитц закурил и скромно ответил:

---

<sup>1</sup> Даю, чтобы ты дал (латин.).

— Боюсь, что это превосходит мои возможности.

— Ну, я хотел сказать вам об этом первому! Вы можете, конечно, рассчитывать на мою поддержку. В любой форме.

— Спасибо, господин директор. Я вам очень признателен.

Немитц встал и направился к двери.

— Что я еще хотел вас спросить, — Гнуц задумчиво вертел в руках пресс для бумаг в виде монумента Арминия<sup>1</sup>, — знакомы вам эти цитаты?

Д-р Немитц вернулся, снова раскурил свою почти уже погасшую сигарету, сел — на этот раз без приглашения — в кресло для посетителей и взял из рук директора карточки.

— Цитаты из Кафки, Камю, Брехта и Сент-Экзюпери, — без труда определил он.

Гнуц взял карточки обратно, долго рассматривал их и спросил:

— Вы рассказывали в школе об этих авторах?

— Да.

— В каком классе?

— В шестом «Б».

Гнуц помедлил, затачивая карандаш, потом спросил:

— Это соответствует программе, уважаемый коллега?

— «Чуму» и «Землю людей» я интерпретировал в литературном кружке, — ответил он. — А для кружка, как известно, определенной программы не существует.

Гнуц спрятал точилку в футляр и положил карандаш на большой чистый лист бумаги — точно по диагонали.

— Прекрасные произведения! Но, пожалуй, сложноваты для наших старших классов — как вы полагаете?

— Я полагаю, что мы недооцениваем остроту юношеского восприятия, — снисходительно сказал д-р Немитц. — Ребята, конечно, еще не в состоянии выразить

---

<sup>1</sup> Гигантский памятник в память битвы в Тевтобургском лесу работы скульптора Эрнста фон Банделя.

то, что они поняли, но они поняли! А если и не поняли *prima vista*<sup>1</sup>, то поймут через год — через два.

— Откуда вы знаете?

— Посеянное взойдет рано или поздно! — сказал Немитц, сам удивился сказанному и поспешно добавил: — А я узнаю это из их писем.

Гнуц с минуту смотрел на Немитца остановившимся взглядом, потом снял очки, аккуратно положил их на белый лист бумаги рядом с карандашом и сказал:

— Скажите, коллега, не помните ли вы, в каком контексте стоят эти фразы?

— Вы позволите мне еще раз взглянуть на них?

— Прошу вас!

Д-р Немитц еще раз прочел цитаты, на несколько секунд закрыл глаза, потом широко раскрыл их и уставился на изречение, висевшее над головой директора. Оно гласило: «Такова моя воля!»

— Содержание «Чумы» вам, конечно, известно? — небрежно спросил он.

— Я смутно припоминаю. Книгу эту я читал, когда она только появилась, — в оригинале! Но ведь с тех пор прошло уже шесть или семь лет.

— Шестнадцать.

— Вот видите. Кое-что выпадает из памяти, когда тебе уже не сорок лет.

— Сорок один, господин директор. Дистанция между нами теперь с каждым годом все сокращается.

— Ну, ну. Не будем обольщаться.

Д-р Немитц разложил перед собой на столе карточки.

— Какая цитата вас больше всего интересует?

Гнуц наклонился над столом и попытался прочесть текст вверх ногами.

— Вот эта сентенция насчет тирана, — выдавил он из себя.

— Эта фраза принадлежит, как я уже сказал, Кафке, Францу Кафке.

Немитц вдруг понял, что больше ему сказать нечего, и осекся.

— Да, я знаю! Но в каком контексте она стоит? — спросил Гнуц. Он встал и заходил по кабинету.

— Надо будет полистать «Процесс». Сегодня вечером...

---

<sup>1</sup> С первого взгляда (*итал.*).

— Это будет слишком поздно, уважаемый коллега. Немитц поднял глаза, встретил взгляд директора и сказал:

— Текст у меня здесь, с собой, но, к сожалению, я должен идти на урок...

— Так ведь это минутное дело.

— Это нужно для какой-нибудь викторины? — спросил Немитц и принялся листать «Процесс».

— Для викторины? Да что вы! Хотите еще сигарету?

Д-р Немитц все листал книгу.

— Эта пакость красовалась сегодня утром у меня на двери, — неожиданно сказал Гнуц и сел.

Немитц захлопнул книгу и улыбнулся.

— На двери вашего дома?

— Да что вы! На двери моего кабинета.

Д-р Немитц все еще улыбался.

— А вот это висело на дверях конференц-зала!

— «Не бывает свободы без взаимопонимания!» — прочитал д-р Немитц и кивнул. — А три остальные?

— В шестом «Б».

— В шестом «Б» — вы подумайте. Значит, ребята все-таки куда интенсивней занимаются документами современного искусства, чем мы предполагаем.

— Дело сейчас совершенно не в этом, коллега Немитц, — перебил его Гнуц. — Здесь перед нами случай неповиновения, какого я еще не встречал за все тридцать пять лет моей деятельности.

— Этот почерк мне знаком, — сказал д-р Немитц и поднял вверх две карточки.

Гнуц нацепил очки, прочел текст и досадливо рассмехался.

— Эти два изречения только что списала с доски Фрейлейн Хробок.

Гнуц включил селектор.

— Фрейлейн Хробок, вы стерли потом с доски в шестом «Б»?.. Хорошо.

Лампочка погасла.

— Извините, — сказал д-р Немитц. — Но о трех других карточках я в данную минуту не могу сказать вам ничего определенного. Написано просто каллиграфически: я был бы рад, если бы оболтусы писали так свои классные работы.

Гнуц разочарованно посмотрел на Немитца, забрал

у него карточки и стал выстукивать по столу карандашом азбуку Морзе.

— Сколько учеников посещает ваш кружок, уважаемый коллега? — спросил он.

— Десять.

— Все из шестого «Б»?

— Все! Но, конечно, не исключено, что и ученики параллельного класса и даже ребята из пятого класса читают дома литературу, которую я разбираю на занятиях кружка.

— Остановимся для начала на ваших десяти литераторах, коллега! От кого бы вы могли ожидать такое грубое нарушение школьного распорядка — мягко выражаясь?

Д-р Немитц наморщил лоб.

— Трудно сказать. Проще было бы предположить, от кого — с известной степенью вероятности — этого нельзя было бы ожидать.

— Прошу вас!

Д-р Немитц открыл свой красный блокнот.

— Адлум, Клаусен, Фарвик, Муль, Руллер, Затемин. Если судить по общему облику — а именно через сочинения узнаешь многое из, так сказать, интимной сферы, что далеко не столь ясно раскрывается при изучении других предметов, — так вот, если рассматривать каждого из этих парней в целом, то я убежден — при расследовании эти шестеро исключаются.

— Тогда остаются, коллега?

— Лумда — этого я, собственно, тоже исключаю.

— Его отец — случайно не советник федеративного управления железных дорог?

— Да. Я поражаюсь вашей памяти, господин директор!

— Спасибо. Остаются трое.

— Курафейский. Отвратительный парень. Из Катовиц.

— Понимаю.

— Шанко — внебрачный ребенок.

— Прелести бесплатного обучения, дорогой коллега. Когда я учился, таких типов дальше начальной школы не пускали. Но в наши дни мы вынуждены принимать всякую шваль.

— Ну, по этому вопросу я придерживаюсь другого мнения, уж извините. Но я, конечно, могу понять

вашу позицию. Да, остается еще Тиц. Но вчера его не было.

— Вчера?

— Да.

— А сегодня?

— Я еще не был в классе, господин директор.

— Да, верно.

Гнуц принялся что-то писать.

— Что вы намерены предпринять? — спросил д-р Немитц.

— Прежде всего я займусь этими двумя сомнительными молодыми людьми! Как бишь их фамилии?

— Курафейский и Шанко.

— Спасибо. А вы тем временем выясните, коллега, пришел ли сегодня Тиц.

— Сию минуту, господин директор.

Д-р Немитц погасил сигарету и встал.

— А если это окажется один из них? Позвольте задать вам вопрос.

— Примерно наказать. В школе, которой руковожу я, дисциплина прежде всего.

Д-р Немитц взял еще одну сигарету, но тут же положил ее обратно и сказал:

— Этого бы я не советовал — прошу меня извинить.

Гнуц перестал писать и выпрямился в своем кресле.

— А почему, уважаемый коллега? Пожалуйста, пожалуйста, говорите откровенно.

— Я не думаю, что за этим кроется злой умысел, — сказал д-р Немитц. — Ребята сейчас в критическом возрасте, они как бы изживают последний период бунта против взрослых...

— Я преподаю уже тридцать пять лет, уважаемый коллега Немитц.

Д-р Немитц все-таки решился взять еще одну сигарету, но не сел, а остался стоять, опираясь о письменный стол.

— Прибавьте к этому, что современное искусство, которым они особенно интересуются — что, впрочем, я всячески приветствую, — совершенно лишено классической *simplicitas*<sup>1</sup> и способно оказать — во всяком случае, поначалу — в высшей степени амбива-

---

<sup>1</sup> Простоты (латин.).

лентное воздействие, даже сбить с толку. Ребята понимают все слишком буквально, психологически это вполне объяснимо. Они еще не способны усмотреть высший смысл, иносказание, символику текста. У некоторых в голове пока что порядочная каша.

— Мне тоже так кажется, уважаемый коллега, — сказал Гнуц. — Но это еще отнюдь не основание для того, чтобы допускать здесь англо-американские нравы. Во всяком случае, пока я сижу в этом кресле. Воцарился бы немислимый хаос. Благодарю вас за благожелательный совет, коллега Немитц. Но участь этого хулигана решит школьная администрация.

— И педагогический совет, — любезно сказал д-р Немитц.

Гнуц в ярости оглянулся на расписание уроков, висевшее на стене у него за спиной.

— А среди учителей найдутся люди, которые втайне одобряют эту выходку, — ведь я могу, господин директор, говорить с вами откровенно?

— На кого вы намекаете, господин...

Д-р Немитц развел руками.

— Тем не менее! — проскрипел Гнуц и снова уселся прямо. — Спустить такую дерзость я не могу. Именно в глазах всей коллегии это может выглядеть как непоследовательность, мягкость, недомыслие и что угодно еще.

— Коллегия, конечно, со своей стороны подсыплет перцу к этой истории — тем или иным образом, если только она будет об этом информирована. Но ее незачем информировать об этом.

— Что вы хотите сказать?

— Оставьте этот случай без внимания, господин директор. Не думаю, что возьму на себя слишком много, если скажу, что, наверное, через несколько дней буду знать, кто написал и повесил эти карточки. И существуют не столь явные способы наказания. Я, например, веду в шестом «Б» два предмета, коллега Хюбенталь ведет физику...

— Коллега Хюбенталь поддерживает руководство, — сказал Гнуц не допускающим сомнения тоном.

Он опять встал, опять подошел к расписанию и забарабанил пальцами по стеклу.

— Скажите-ка, ведь этот Кафка ко всему еще еврей?

— Когда речь идет о художнике такого масштаба, это не имеет значения, — сказал д-р Немитц.

Гнуц повернулся.

— Ну ладно, я еще раз продумаю все это дело, — сказал он. — Впрочем, вряд ли мне нужно просить вас, коллега, чтобы все, о чем мы с вами здесь говорили, осталось в этих четырех стенах?

— Само собой разумеется!

Немитц взглянул на часы.

— Уже начался второй урок, — сказал он. — Всего хорошего.

Гнуц нагнал его у дверей и протянул ему руку.

— Спасибо, — сказал он и проникновенно посмотрел на Немитца.

— Само собой разумеется, — смущенно повторил д-р Немитц. — Вы можете на меня положиться, господин директор.

— Да заткнитесь же вы, охломоны! Если нас застукает шеф, будем до рассвета корпеть над штрафным заданием!

Руль закрыл дверь, подошел к доске, но, передумав, бросил мел в угол и, тяжело ступая, отправился на свое место.

— Кто-нибудь сегодня уже видел Пижона? — спросил Клаусен.

— Я, — сказал Адлум и, зажав руками уши, продолжал читать.

— Где?

— Оставь ты меня в покое. Возле чистилища.

— Он там щиплет фрейлейн Хробок, — хихикнул Муль.

— А ее и ущипнуть не за что!

— Мисс Глиста!

— Если ее напоить малиновым сиропом, она сможет на карнавале изображать градусник! — проверещал Мицкат.

— Ножки как спицы!

— Ты бы не прочь повязать, а?

— Неужели вы еще можете здесь читать? — спросил Затемин.

Адлум и Клаусен не ответили.

— Дай-ка мне твою тетрадь по математике, — сказал Фейгеншпан Курафейскому.



— Бэби еще не кончил списывать.

— Silence, silence, — проверещал Петри, дежуривший у дверей.

Гомон мгновенно смолк. Несколько тетрадей перешли из рук в руки.

— Восемь часов тридцать минут, — тихо сказал Фарриан.

— Вместе-то подыхать веселей.

Дверь медленно отворилась. Вошел Лумда, давясь от смеха.

— Доброе утро, друзья мои!

Вопль возмущения.

— Пошел вон, бездельник!

— Фу! Кастрировать его!

— Трепло, захлопни пасть — сквозит, — сказал Лумда.

— Что у тебя случилось? — спросил Нусбаум.

— Авария.

— «Молния» не закрывалась, — попытался состроить Гукке.

Лумда смущенно махнул рукой.

— Капоне тоже явится. Ко второму уроку.

Шанко перестал писать, промокнул чернила, закрыл тетрадь и заревел как бык.

— Кончай базар! — заорал Руль и стукнул кулаком по парте. — Только сами себе гадите! Неужели вам это еще не ясно?

— Я с тобой согласен, — сказал Адлум. — Но такова уж человеческая натура.

— Не раздувайся от важности, как лягушка! — вставил Шанко.

— Фавн прав, — сказал Затемин.

— Лучше бы кто-нибудь рассказал о Кафке, — предложил Гукке. — Четверка у Пижона была бы мне сейчас в самый раз.

— Тогда, может, и мы, рядовые читатели, что-нибудь пойдем.

— Давай-ка ты, Дали: художники — вперед!

— Дали, изобрази нам Кафку в манере интуитивистов!

— Нет, лучше в абстрактной манере!

— Кто у нас в шестом «Б» самый абстрактный преподач?

— Дали!!!

- Валяй, Дали, выходи в эфир!
- Пусть лучше Фавн! Про Кафку знает Фавн.
- Понесет сейчас всякую дичь!
- Бык-меланхолик.
- Фавн еще психованней, чем Кафка.
- Тогда Пий!
- Давай, Пий, — *ex cathedra*!<sup>1</sup>
- У нас есть свой папа!
- Папа Пий!

Клаусен сделал вид, что не слышит. Мицкат взял Клаусена за шиворот и выволок на середину класса. Стоя перед средним рядом парт, Клаусен переминался с ноги на ногу, потом сказал с волнением:

— Я, конечно, тоже не все понимаю, но, по-моему, «Процесс» — это религиозная трагедия.

- Поповская болтовня!
- Ты бы меньше зубрил свой катехизис!
- Дайте ему сказать! — потребовал Затемин.
- Кафка был еврей и...
- ...ел чеснок!
- Слушай, Трепло, избавь нас от своих пошлых острот. Меня тошнит! — сказал Адлум.
- А кого интересует вся эта белиберда?
- Меня!
- Ну конечно же, Лумумбу!
- И меня, — сказал Адлум.
- А меня нет, идиоты вы несчастные!
- Ну, посиди пока в сортире!
- Нет, нет, пожалуйста, никаких эмигрантов! — воскликнул Мицкат. — Здесь у нас демократия!
- Ну что ж! Тогда расскажи лучше о подвесном моторе! — проворчал Муль.

- О ракетах «Поларис»!
- О твисте!
- О сексуальной жизни шестого «Б»!
- Что я скажу своему дедушке?
- Голосовать!
- Ладно, давайте проголосуем, — сказал Затемин.
- Лумумба предает СЕПГ!
- Фавн, изобрази-ка из себя Герстенмайера!<sup>2</sup>
- Вот дерьмо! — сказал Руль и сжал голову руками.

<sup>1</sup> С кафедры (латин.).

<sup>2</sup> Председатель бундестага.

...Пижон и Дуболом. Мои афоризмы теперь у него на столе. Но ведь должны же они понять! Неужели они до того чокнутые, что подумают... ну что может обо мне подумать Пижон? С него станется поверить, что я просто решил исписать стены! Как их исписывают в сортире. Черт его знает, как может один и тот же человек быть таким образованным и в то же время таким глупым! Неужели он не видит, что почти вся литература, которую мы с ним прошли за последнюю четверть, написана против него? Против всех этих пижонов! Против Медузы, Рохли, Факира, Рюбецаля, Дуболома, Буйвола, Шута, Нуля, Капо. Таких типов мы встречаем везде, что бы мы ни читали! Выходит, они совсем тупые и не узнают самих себя? Такие всегда думают, услышав звонок в дверь, что это не к ним...

— Кто против того, чтобы Пий сказал здесь все, что он хочет сказать? — спросил Адлум, стоя перед классом.

— Я!

— Вопрос надо ставить иначе: кто «за»?

— Пятнадцать «за» и три — «против», при одном воздержавшемся, — сказал Адлум. — Говори, Клаусен.

Клаусен махнул рукой и хотел было вернуться на свое место, но Петри не пустил его.

— В кусты? Так не пойдет!

— Католики — вперед!

— Не скрывать своего цвета, даже если он черный.

— Тихо, — верещал Мицкат. — Слово имеет депутат Клаусен из ХДС.

Клаусен опять встал перед средним рядом.

— Да, так вот, значит, Кафка, будучи евреем, мыслит сначала только категориями В. З.

— Что это еще такое?

— Холодильники фирмы «Вэзэ» пользуются спросом даже на Северном полюсе!

— Каждый уважающий себя эскимос купит холодильник «Вэзэ»!

— Кто вякнет еще хоть слово, будет платить штраф, — сказал Адлум.

— Голосовать!

— Дальше!

— Было внесено предложение, надо проголосовать! — запротестовал Муль.

— Да вы что? Не будем же мы голосовать из-за всякой ерунды, как в Швейцарии!

— Не будем? — спросил Затеми́н.

— Давай, Пий, дальше, а то скоро заголосит звонок!

Клаусен поправил свой галстук и взглянул на Адлума.

— Так вот. Кафка живет сначала целиком и полностью в традициях Ветхого завета. Существует только тот закон, который установил бог Авраама и Исаака...

— И Адам придумал любовь, а Ной — вино... — пропел Муль.

— Две марки в классную кассу! — сказал Адлум.

— Дешевка!

— Пошел вон!

— Долой его с трибуны!

— Здесь ведь так не делается! — сказал Затеми́н. — Но ты, Трепло, кончай свою бульварную трепотню!

— Дальше, Пий!

— ...так вот, бог старого закона...

— Это еще что за штука?

— Бог непримиренный, — сказал Клаусен. — Бог без Христа, спасителя нашего...

— Радио Ватикана!

Клаусен поднял руки и хотел еще что-то сказать, но зазвенел звонок, и в начавшемся шуме Рульль вдруг принялся маршировать по классу, неся перед собой, как флаг, подставку для карт и при этом громко выкрикивать:

John Brown's body  
lies mouldering  
in his grave  
but his soul  
goes marching on.  
Glory, glory, hallelujah!  
glory, glory, hallelujah!  
but his soul  
is marching on <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Тело Джона Брауна  
Покоится давно  
В сырой земле,

— Не изображай из себя психа, — сказал Адлум и подошел к окну.

— Зачем ему изображать, у него, и правда, не хватает винтиков, — заявил Гукке.

В дверь резко постучали.

Вошел Тиц и свистнул в два пальца.

— Пижон у старика! Сидим все как пайныки, играем в тихие игры! С минуты на минуту ожидается прибытие! — объявил он.

— Откуда ты знаешь? — спросил Мицкат.

— Особое задание фрау Эдельтраут!

— Нет, вы только послушайте!

— Гангстер Тиц пошел на раут с крошкой фрау Эдельтраут!

— Похотливый козел!

Тиц сел на свое место.

— Где ты пропадал вчера? — спросил Лепан.

— Переживал творческий кризис!

— Вот выгонят тебя, тогда и будет кризис, — сказал Петри.

— Что у нас нынче в козырях? — спросил Тиц и достал свои тетради.

— Франтишек Кафка.

— Ты что-нибудь знаешь про этого малого?

— Не слишком много.

— Выкладывай! — сказал Тиц и взял у Петри тетрадь. — А по математике?

— Что-то по теореме косинусов.

— Ты сделал?

— Списал у Анти.

— Дай-ка взглянуть!

Тиц принялся делать уроки.

— Как вы находите проповедь Пия о Кафке? — прокричал с последней скамьи Фарвик.

— Галиматья, приправленная ладаном! — сказал Затемина.

— Почему ты знаешь? — спросил Мицкат.

— Неверные предпосылки!

---

Но душа его

Продолжает путь.

Слава, слава, аллилуйя,

Слава, слава, аллилуйя!

Но душа его

Продолжает путь (англ.).

— В каком смысле? — спросил Адлум и толкнул локтем в бок Клаусена, который уже опять читал.

— Ведь ты исходишь из того, Пий, что существует единый бог?

— Разумеется.

— Но ты же знаешь, что доказательств этому нет?

— Нет рациональных доказательств. Однако...

— Однако?

— Есть доказательства другого порядка: стройность мироздания, чудеса, исполнение молитв, кроме того...

— Но ты же знаешь, что все эти явления можно объяснить и без бога?

— Объяснить, — сказал Адлум, — но не доказать.

— В настоящий момент мы говорим только о постулатах, из которых исходит Пий, — сказал Затеми́н.

Клаусен опять склонился над своей книгой.

— Существуют истины, которые можно постичь, только веруя в них, — сказал он и попытался отгородиться от класса.

— Существует ложь, давным-давно разоблаченная, но все еще принимаемая за истину потому, что безызвестная клика продолжает упрямо защищать ее имея на то причины, — в ущерб прогрессу человеческого разума.

Курафейский жалобно захныкал.

— Поимейте снисхождение к моей шизофрении!

— Что, у них опять идейная дуэль? — спросил Петри, отходя от двери, где он вел наблюдение за коридором. — Тихо!

— Entrer, mesdames, entrer, messieurs! — протрубил Мицкат, сложив руки рупором. — Pour dix centimes, deux sous, vous aller voir deux animaux extraordinaires: un catholique et un communiste!<sup>1</sup>

— А кем является Христос для тебя, Затеми́н? — спросил Адлум.

— Иисус был обманутый обманщик, — заявил Шанко.

Затеми́н перебил его.

— Обманутый святой, — поправил он. — Что для вас гораздо хуже.

---

<sup>1</sup> Входите, дамы, входите, господа! За десять сантимов, за два су вы увидите двух редкостных зверят: католика и коммуниста! (франц.).

— Может ли быть святой, если нет бога? — спросил Адлум.

— Он умрет, как собака, — пробормотал Руль.

— Точно, — подтвердил Затеми́н. — Как Иисус.

— Братцы, меня от вас тошнит, — застонал Курафейский и зевнул.

— Тебя, наверно, удастся разбудить, только когда разразится последняя война.

Затеми́н принялся рисовать на своей парте серп, молот и рыбу.

— Значит, бог для тебя — абсолютная истина, Пий? — спросил Шанко.

— Конечно.

— И он всемогущ?

— Не задавай дурацких вопросов! Конечно, всемогущ.

— Малый справочник богослова, — сказал Петри.

— Допустим, этот малый справочник верен и бог говорит: «Меня не существует!» Что тогда, Пий?

— Это глупый софизм, и больше ничего, — сказал Адлум.

— Если это так глупо — просветите меня.

Адлум махнул рукой.

— Не стоит.

— Значит, бога либо не существует, либо он лжет и вовсе не бог, — сказал Шанко.

— Зануда! — пискнул Мицкат.

— Есть вопросы, которые меня больше интересуют, — сказал Затеми́н. — Например: почему при христианстве возник самый алчный капитализм в истории? Или еще: почему большинство войн вели христиане? В общем я считаю, что вопросов тут задают скорее слишком мало, чем слишком много.

— Слишком мало отвечают, — проворчал Руль.

— Attention, attention! — пронзительно крикнул Петри. — Пижон как угорелый вбежал в коридор!

— Зате́ем спор! — предложил Муль.

Затеми́н тщательно вытер свою парту.

— Не стоит! — сказал он и ослабил. — Салонный большевик.

Руль вылез из-за парты, запрыгал перед ребятами, которые нехотя и с шумом рассаживались по местам, уронил очки, встал на четвереньки и жалобно заскулил: «Бе-бе-бе!»

...В одном надо отдать старику должное. Трусость рождает в нем психолога! Когда он напуган, у него развивается шестое чувство — чувство опасности. А так как он всегда напуган, этот трус с вильгельмовскими повадками, то с ним надо быть осторожным. Сначала он хотел меня ошарашить, а потом согнуть в бараний рог. Не вышло. Вот я и еще кое-что узнал о нем — одну из тех смешных мелочей, которых такой человек, как он, боится больше, чем импотентности. Плюс № 1. И он знает, что мне это известно. Плюс № 2. В случае необходимости я могу подсказать это коллегии. Плюс № 3. Точно так же я могу, как бы между прочим, дать понять 6-му «Б», что спас их от расследований и унижения. Плюс № 4 и одновременно № 5 — благодарность и трепет. Кому из них все-таки взбрела в голову эта идея? Наверное, работа нескольких человек. Впрочем, цитаты подобраны неплохо. Эти мошенники действительно слушают внимательней, чем можно предположить. Фарвик? Хорошо, что старик прямо не спросил о нем. Было бы жалко парня, безупречный малый. Отец — старый ветеран, сражался в Африке. Курафейский? Славянская хитрость. Никакого сравнения с судетскими немцами. Шанко? Пустой парнишка, да и тертый. Итак, скорее всего Курафейский и Шанко. Откуда они взяли эту фразу Кафки? Устроить викторину и узнать. Хорошая мысль. Разумеется, интриганы не объявятся. Тем не менее: селекция подозрительных. Впрочем, я еще хорошенько подумаю, дам ли я старику сведения для проработки виновных. Надо поразмыслить. Кафка, видите ли, слишком труден для чтения в выпускном классе! Смешно. Ведь все дело в том, кто преподносит его ребятам. Проза как родниковая вода: ясная, свежая, естественная. Немецкий язык Гебеля<sup>1</sup>. Для еврея из Праги просто удивительно чистый. Возможно, он изучил его как искусственный язык — вроде эсперанто. Тема заслуживает специальной статьи. В чем-то он все-таки, конечно, неудачник. Как все они. Разъедающий интеллект. Импозантные декаденты. Парадоксы — вот мой конек. Это у меня с ними общее! Кто, собственно, ведет в «АДЦ» литературный раздел? Наверное, еврей. Послать им еще парочку эссе. У них есть вкус

---

<sup>1</sup> Иоганн Петер Гебель (1760—1826) — немецкий писатель.



к тонкостям. К Шанко и Курафейскому присмотреться поближе...

— Желаю всем вам, господа, доброго утра! Вы как будто весело провели время, пока шла конференция.

— Доброе утро, господин доктор Немитц!

— Садитесь, пожалуйста. Что за стихотворение у нас сегодня? Адлум!

— Бертольт Брехт: «1940».

— «1940»? Не знаю! *Docendo discimus!*<sup>1</sup> Я всегда благодарен за науку. Итак, пожалуйста, читайте!

Адлум застегнул пиджак, поднялся и подошел к кафедре — холодный и непринужденный. Его строгий взгляд был устремлен вперед, поверх голов его товарищей.

— Бертольт Брехт, «1940».

— Одну минутку, пожалуйста, — почему вы говорите «Бертольт Брехт»?

— Потому, что его так зовут, господин доктор.

В голосе Адлума не слышалось ни малейшей иронии.

— Но весь мир зовет его Берт. Берт Брехт.

— По-моему, это фамильярность.

— У вас странные взгляды, Адлум. Пожалуйста, не забывайте все же, что Б. Б. — Тиц, оставьте свою фривольную ухмылку, — так вот, Брехт, Адлум, был как-никак законченный коммунист. Ему ваши аристократические манеры, конечно, не особенно бы импонировали. «Товарищ Адлум», — сказал бы он...

— Но я не был его товарищем.

— Ну хорошо, оставайтесь при своих капризах! Пусть каждый будет счастлив на свой манер. Кому принадлежит эта *Magna Charta*<sup>2</sup> терпимости? Затемин?

— Фридриху Второму.

— Фридриху Великому, если вы ничего не имеете против!

— Брехт говорит только: Фридрих Второй. «Фридрих Второй победил в Семилетней войне. Кто победил, кроме него?»

— Ах, вот что — так говорит великий Брехт? Госпо-

---

<sup>1</sup> Уча учимся (латин.).

<sup>2</sup> Великая хартия (латин.).

да, по всей видимости, просто пленены творчеством поэта laureatus наших братьев по ту сторону железного занавеса. Attention, mes amis! Продолжайте, Адлум!

— Бертольт Брехт, «1940».

Сын задает мне вопрос:

«Учить ли мне математику?»

Зачем? — хочу я ответить ему. — То, что два куска хлеба Больше, чем один кусок, ты заметишь и так.

Сын задает мне вопрос:

«Учить ли мне французский?»

Зачем? — хочу я ответить ему. — Эта страна погибает.

А если

Ты просто потрешь себе брюхо рукой и будешь стонать,  
Тебя и так все поймут.

Сын задает мне вопрос:

«Учить ли мне историю?»

Зачем? — хочу я ответить ему. — Лучше учись голову прятать  
в канаве,

И тогда ты, может быть, уцелеешь.

— Да, учи математику, — говорю я ему, —

Учи французский, учи историю! <sup>1</sup>

Адлум двинулся обратно на свое место.

— Гм. Иногда спит и папаша Гомер, сказал бы я. — Д-р Немитц с сожалением пожал плечами. — Почему вы взяли именно это стихотворение, Адлум? Ведь, без сомнения, у Брехта есть более значительные стихи.

— Оно понравилось мне, — сказал Адлум.

— А почему — если только я не вторгаюсь этим вопросом в слишком интимную область?

— Оно искренне и отчасти касается нас.

— Разве этого нельзя сказать про всю нашу современную лирику вообще, которая, заметим в скобках, доступна пониманию масс, а это решительно опровергает все реакционные вопли о гибели искусства?..

— Я не думаю.

— Ну ладно, это, конечно, ваше право, Адлум, думать иначе! Тогда мне, разумеется, вдвойне интересно знать, почему вы находите именно данное, в общем не очень выразительное, стихотворение таким необыкновенно искренним?

---

<sup>1</sup> Перевод Е. Эткинда.

— Я не сказал: «необыкновенно искреннее». Просто искреннее.

— Курафейский, может быть, вы лучше понимаете вашего товарища, чем я?

— Это стихотворение направлено против школы!

— Против школы? А это вам по душе, Курафейский, не так ли?

— Да. Это пародия на избитую фразу: «Мы учимся не для школы, а для жизни».

— Фарвик?

— Это не пародия. Это пессимизм.

— Любопытное противоречие. А что скажет господин декламатор?

— Насколько я понимаю, стихотворение говорит только то, что хочет сказать, и без всякой пародии или пессимизма, а трезво и умно.

— Фарвик?

— Но ведь в нем звучит ожесточение. Этого же нельзя не услышать.

— Адлум?

— Я полагаю, что «ожесточение» — неподходящее слово. Трезвые определения Брехта в первых десяти стихах жесткие, но не ожесточенные. Вначале он только говорит: таков мир, то есть он гадкий, несовершенный, непрочный. Но Брехт не приходит в отчаяние даже от этого горестного перечня...

— Из чего вы это заключаете?

— Из концовки.

— Из морали, из поучения — ну, хорошо. И что она, эта мораль, гласит?

— Учись, несмотря на несовершенство мира, — нет, именно из-за него, чтобы ты мог предотвратить катастрофу.

— Верно. Совершенно верно! Конечно, только в материалистическом смысле. А теперь я вас спрашиваю, Адлум: откуда черпает Брехт эту смелую и абсурдную — по крайней мере вначале — надежду, что можно все же предотвратить крушение нашего непрочного мира?

— Да, по-моему, люди слишком часто забывают, что Брехт был по рождению католиком, — сказал Адлум. — Христианин всегда надеется.

— Ну, ну, ну! Такая интерпретация, пожалуй, слишком уж рискованна. Затемишь?

— Интерпретация Адлума не рискованна, она неправильна. Свою веру в будущее Брехт черпает не из метафизики католицизма, а из физики диалектического материализма.

— Ну, Адлум, что можете вы возразить на реплику нашего эксперта по советской идеологии?

— Затемина, по видимости, прав, но это именно только видимость правоты. Однако доказать ему противное я все-таки пока не могу, потому что Затемина и знать не хочет, что такое христианство.

Д-р Немитц весело поглядывал то на одного, то на другого, покрутил свои наручные часы и сказал:

— Совсем неплохо, господа спорщики. Садитесь, Адлум! На одном из ближайших уроков мы продолжим дискуссию с товарищем Затеминым. На сегодня, однако, довольно. Мой безотлагательный разговор с господином директором и так уже значительно урезал наше время. Между прочим, вот что я хотел спросить — Шанко, с кем вы сегодня вместе шли в школу?

Шанко вздрогнул от неожиданности, медленно встал и хмуρο уставился на д-ра Немитца.

— С Затеминым. А в чем дело? — раздраженно спросил он.

— Это правда, Затемина?

— Так точно.

— Хорошо, садитесь, Затемина.

— Когда вы вошли во двор школы, Шанко?

— Ровно в восемь.

— Ровно в восемь?

— Да.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— Кто-нибудь еще присоединился к вам по дороге?

— Да, Джонни.

— Кто?

— Мицкат. А что случилось? — спросил Шанко.

— Здесь спрашиваю я, а не вы, Шанко, — поняли? Шанко промолчал и скривил губы.

Д-р Немитц подошел к правому ряду столов.

— А вы, Курафейский? — с улыбкой спросил он.

— Я приехал один. На велосипеде, господин доктор.

— Когда?

— Ну, наверно, было так без пяти восемь.

— Не раньше, это точно?

— Может быть, без шести восемь.

— Подумайте-ка немножко посерьезней, Курафейский?

— Самое раннее — без семи восемь!

— Надеюсь, впредь вы попридержите свой юмор, Курафейский! — резко сказал д-р Немитц. — Я позволю себе напомнить вам, что педагогический совет касательно вашей «средней зрелости» состоится уже через две недели.

— Я только старался как мог точнее ответить на ваши вопросы, — сказал Курафейский.

— Садитесь! Вы тоже, Шанко. Мы с вами еще по-толкуем. Теперь перейдем к Кафке.

Д-р Немитц заложил руки за спину и стал прогуливаться между партами.

— После того как я познакомил вас в общих чертах с биографией великого поэта ужаса, попробуем сегодня еще глубже вникнуть в текст. Мы должны попытаться расшифровать эти засекреченные сигналы из мира террора. Сначала... В чем дело, Нусбаум?

— Я вел протокол прошлого урока, господин доктор!

— Зачитаешь его в четверг. Сегодня уже поздно. Новый протокол поручается Тицу. Понятно?

— О'кэй.

— Тиц, будьте так любезны перед началом следующего урока литературы представить мне ваш протокол. Без напоминаний, пожалуйста!

После этого отступления вернемся к Кафке. Начнем интерпретацию с фразы: «Ты приобрел в моих глазах нечто загадочное, присущее всем тиранам, чье право зиждется на их личной воле, а не на разуме». Прежде всего топография: где находится это место? Клаусен!

— Да в «Процессе»!

— Руль?

— Этого нет в «Процессе». Это из «Письма к отцу».

— А что скажете вы, Курафейский? Ничего?

— Да я не знаю. Впервые слышу.

— Как можно заблуждаться! Мне кажется, Руль, что вы одиноки в своем мнении. Это место, конечно же, находится...

— Да вот же оно у меня, — сказал Руль. — «Письмо к отцу», страница двенадцатая.

Д-р Немитц кивнул.

— Похоже, вы носите свои книжки за пазухой, Руль.

— Так, две-три, не больше.

— Его библии, — пояснил Нусбаум.

— Ну, хорошо, значит, Кафка пишет своему отцу: «Ты приобрел в моих глазах нечто загадочное, присущее всем тиранам, чье право зиждется на их личной воле, а не на разуме». Как следует понимать эту весьма агрессивную фразу? Пожалуйста! Мицкат?

— Разве такая вот фраза обязательно должна означать что-то еще, чего в ней совсем не говорится? Кафка же написал ее своему отцу, когда у них были стычки, — вот и все!

Д-р Немитц снисходительно покачал головой.

— Несколько грубоватое толкование — это ведь вы и сами чувствуете, Мицкат, не так ли?

— Нет!

— Ну, я вижу, о символистичности текстов Кафки нам придется как-нибудь поговорить более основательно! Тиц?

— Это можно очень здорово отнести к школе!

— К школе? В каком смысле?

— Да ведь у нас тоже так: учитель всегда прав, даже если он не прав, только потому, что он учитель.

— А если в виде исключения прав ученик, — добавил Мицкат, — то его записывают в журнал!

Д-р Немитц от души расхохотался.

— Что, этот взгляд разделяют здесь все?

Его смех вдруг сменился обиженной улыбкой.

— Это для меня ново! Надеюсь, вы делаете исключение для тех педагогов, которые — пожалуйста, не воспринимайте это как покровительственный жест — куда чаще вступаются за вас, чем вы, по-видимому, предполагаете. Ну, а теперь перейдем, наконец, к нашему тексту. Как далеко мы продвинулись, Ремхельд?

— До страницы восемнадцатой.

— Восемнадцатой? Тогда нам придется добавить еще кое-что для домашнего чтения. Начинаем читать. Гукке!

...Символистичность — ведь это опять трепотня с пропеллером! Та фраза, которую я повесил на дверях, — ну что может быть яснее? Тиран есть тиран не

потому, что он прав, а потому, что он тиран. Если бы я только всегда умел сказать то, что хочу. Пижон — тот умеет. Может, я и правда болван. Но ведь учителя-то здесь для того, чтобы немножко помочь нам продвигаться вперед. Зачем они тогда пошли в учителя, если не могут справиться с этим делом? Либо они на своем месте, но уклоняются, либо несут несусветную чушь, а не то иронизируют или угрожают. Не все, но большинство. По крайней мере многие из них. Ироническая манера — самая мерзкая. Пижон и Факир. По существу, жалкие людишки. Но зачем они тогда пошли в учителя? Из-за них каждый год в каждом классе усыхают шесть или семь человек. Он все-таки опять вытаскивает свою газету. Сказать, что это я? Да ведь меня никто не спрашивает! Все равно это непорядочно. Как только Попс придет и спросит, я скажу, что это сделал я. Надеюсь, что по крайней мере удастся выложить почему. Попса-то ведь можно не бояться. Он не станет сразу топтать ногами. И обойдется без этих дерьмовых иронических выкрутасов. А вдруг придет сам шеф? Какой же толк, если все кончится выговором! И уведомлением родителей. Мне все равно, только из этого обязательно должно что-нибудь получиться. Нам-то уже ничем не поможешь, но для пятых и для остальных — что-нибудь должно получиться. Нельзя же, чтобы их тоже так околпачивали...

— Да, Лумда? Что такое?

— Был звонок, господин доктор.

— Спасибо, Лумда! Если бы вы всё здесь слушали так же внимательно, как звонок, то легко могли бы стать первым учеником. К четвергу класс дочитает дома первую главу до конца. Нусбаум и Тиц, не забудьте, пожалуйста, о протоколах. Всего доброго, господа!

— Всего доброго, господин доктор!

...А многие недооценивают колоссальное влияние литературы на этих мальчишек. Похоже, что они просто помешались на Кафке! На Кафке и Брехте. И на Камю. Выбор не случайный. Стоит заняться анализом. Любопытный юноша этот Адлум! Замкнут, почти что по-английски вежлив и совсем неглуп. Из хорошей семьи.

Отец врач. Протестантизм в первозданном виде. Удивительное сочетание веры, ума и чувства современности. Мог Адлум участвовать в этом деле? Никогда. Всякое нарушение приличий вызывает у него отвращение, как грязный воротничок. Любопытно, что своих писателей они понимают так буквально. Еще не чувствуют дистанции. Вчерашняя ошибочная интерпретация Рулля типична. Литературный прагматизм. А может быть, его глуповатая откровенность — это трюк? Невероятно. Жаль, что пока не удалось показать им воочию отражательно-игровой характер всякого большого искусства. Непременно надо будет дать им это как последний штрих — перед тем, как они выйдут отсюда. Впрочем, еще вопрос, получат ли все они аттестат. Гукке, Нусбаум, Шанко, Михалек. И этот Курафейский! По существу, к нему придаться трудно, а по математике у Криспенховена он идет даже хорошо. Но с моральной точки зрения! С моральной точки зрения этот тип просто еще не созрел для того, чтобы получить выпускное свидетельство. Имеется соответствующая инструкция. Надо заглянуть в нее. Старик это сделает сам. Я убежден, что всю эту затею с цитатами вдохновлял Курафейский. Может быть, не один, но зачинщик — он. Прирожденный бунтарь. Отвратительный тип. Какой бред — давать образование этим духовным дворнягам! Чем они хитрее, тем опасней. Потом они объявляются в каком-нибудь профсоюзе как самые ярые критиканы...

— Я никогда особенно не интересовался порядком оплаты, — сказал Виолат. — Как вы говорите, параграф Alla?

— Так, во всяком случае, требует союз служащих. Что из этого получится, увидим после выборов.

Хюбенталь разгорячился.

— Гораздо важнее, мне кажется, что наконец-то создается возможность продвижения по службе, которую нам обещают уже столько лет. Не забывайте о социальных аспектах этого вопроса, господи.

— Обер-лерер реального училища; кажется, речь шла о таком звании? — спросил Гodelунд.

— Дебаты по этому вопросу еще не закончены. Комиссия колеблется между...

— По мне, пускай эти приятели величают меня хоть



обер-задницей, лишь бы прибавили марок сто в месяц! — сказал Нонненрот.

Годелунд взглянул на него, совершенно потрясенный.

— Надо ведь и престиж соблюдать, — сказал он после паузы.

— Тут я могу с вами только согласиться! — Хюбенталь слегка отодвинулся от Нонненрота и принялся за свой кефир. — Дело не только в престиже, хотя мы не можем недооценивать и этот фактор, особенно имея в виду нашу профессию, которая всегда в поле зрения общественности, — сказал он. — Но, по существу, речь идет о другом, господа: о социальной справедливости.

— А вы верите в белого аиста?

— Я разделяю ваш пессимизм, коллега Нонненрот, но я реагирую по-другому. В нашем так называемом демократическом государстве...

— Bravo!

— ...то и дело пишут о социальной справедливости...

— Бумага все стерпит!

— Пора и нам вкусить плодов этой справедливости.

— Совершенно верно!

— Мы не требуем многого. Мы требуем от государства только выполнения долга перед своими гражданами. А это, не в последнюю очередь, проявляется в практическом финансовом поощрении, определяемом в соответствии с образованием, заслугами и значением нашего сословия! То, что священник... не поймите меня неправильно, господин викарий...

— Боже упаси, господин Хюбенталь; — сказал, ухмыляясь, викарий и благосклонно похлопал своего соседа по плечу.

— ...и судья — если говорить о людях примерно одного уровня — нынче получают, не прилагая никаких усилий. А по какому, собственно, праву, спрашиваю я вас?

— Это я вам могу растолковать, — сказал Нонненрот. — К юстиции люди относятся с почтением, пока живы, — ведь у каждого рыльце в пушку. А к их предподобиям — только когда на тот свет готовятся: каждого страх берет, а вдруг ад и в самом деле есть.

Д-р Немитц так захихикал, что даже поперхнулся; он встал, постучал себя по спине, подошел к двери и открыл ее.

В дверях стоял ученик младшего класса и держал в руках чучело попугая.

— Это вам, господин Нонненрот, — сказал д-р Немитц.

— Поставьте-ка этого приятеля на стол!

— Какие-нибудь слухи о новых ставках уже просочились, коллега Хюбенталь?

— По моим сведениям — все это, конечно, еще неофициально, — прежде всего позаботились о молодых коллегах.

— Давно пора! — сказал Матушат.

— Тут я с вами не могу согласиться, уважаемый коллега! Когда я начинал в тысяча девятьсот девятом году, мое жалованье не составляло и половины...

— Но нельзя же сравнивать, господин Гodelунд! Тогда масло, наверное, стоило одну марку.

— Да, но с тех пор молодому поколению повышали жалованье раз десять, старикам его повысили всего один раз, — сказал Гodelунд.

— У меня на этот счет совсем другая точка зрения. Я никогда не задумывался над тем, почему жалованье, с которым выходят на пенсию, в два раза выше, чем те жалкие пфенниги, с которых нам приходится начинать! Признаю: у многих дети учатся или дочери хотят выйти замуж, но все же такой колоссальной разницы в оплате нет ни в одной другой профессии.

— Не забывайте, уважаемый коллега, что тем самым вознаграждается тридцати- или сорокалетняя деятельность.

— Тут вы зря ли встретите сочувствие у молодых людей, коллега Гodelунд, — сказал Хюбенталь.

— Один из молодых коллег — я не хочу называть имени, но я записал себе его слова — на днях, как мне передавали, сказал на уроке истории следующее: «Национал-социализм — это была реакционная революция. Варварская утопия людей, давным-давно упустивших свои шансы. «Третий рейх» был не в последнюю очередь воздвигнут благодаря честолобию и глупости немецкого учителя».

— Этого не может быть!

— Назовите имя!

— И вы еще спрашиваете, уважаемый коллега?

— Я подниму этот вопрос на следующей конференции! — бушевал Риклинг.

В этот момент вошел Грёневольд со стопкой тетрадей.

— *Lupus in fabula*<sup>1</sup>, — сказал Нонненрот.

— В чем дело?

— Меня интересует, какое у вас всех мнение о Курафейском? — быстро спросил д-р Немитц и огляделся.

— Из шестого «Б»?

— Да.

— По-английскому удовлетворительно, — сказал Харрах. — Но он мог бы добиться большего.

— Я имею в виду не столько его оценки по отдельным предметам, сколько вообще поведение в целом.

— Много журавлей в небе, да ни один в школу не залетает, — сказал Риклинг и записал что-то в своем блокноте.

— Нахальный парень.

— Нельзя забывать, он переживает период полового созревания.

— Он его переживает с каменного века, — сказал Нонненрот.

— Мы с ним еще хлебом горя...

— Я думаю, что его нахальство — не что иное, как «рывок вперед», — сказал Грёневольд. — Впрочем, я его слишком мало знаю. Он ведь из Верхней Силезии, может быть, там у него что-то...

— Паршивый поляк, — сказал Хюбенталь.

— Недавно, в прошлую субботу, около семнадцати часов я видел его с девицей на пути от вокзала к этому пресловутому итальянскому бару, — сказал Гodelund.

Грёневольд рассмеялся.

— С зажженной сигаретой в руке.

— Он по крайней мере поклонился?

— Весьма небрежно.

— Можете рассказывать мне что хотите, — сказал Хюбенталь, — но из этих пролетариев никакая школа на свете не делает порядочных людей! Только при одном-единственном условии из них мог бы выйти толк — и знаете, что я имею в виду?

— Солдатчину, — сказал Грёневольд.

— Угадали!

— Даже если это бундесвер! — сказал Нонненрот.

---

<sup>1</sup> Волк в басне, то есть легок на помине (латин.).

— Ну, это не обязательно должна быть военная служба в том виде, как нам довелось ее пережить, хотя вреда от нее не было никому, — вмешался Матушат, — но нечто вроде военизированных трудовых лагерей следовало бы ввести снова.

— Приятель, так ведь их изобрел Адольф! — воскликнул Нонненрот. — Разве ты не знаешь, что тогда был сплошной террор, а нынче сплошная любовь к ближнему!

— Военизированная трудовая повинность, как мне представляется, могла бы иметь и другое название, коллега Нонненрот, главное, мальчишки отучились бы лодырничать и посмотрели бы год-другой, что такое порядок и дисциплина, прежде чем напуститься на человечество.

— И привыкли бы стоять по стойке «смирно», — сказал Грёневольд.

— И это нужно, дорогой коллега, и это тоже. Без авторитета и послушания у нас будет анархия. Примеров хоть отбавляй. Что вышло из всех этих школьных комитетов, родительских форумов, и прочее, и прочее? Ничего. Демократический вздор. В Америке под влиянием растущей преступности среди молодежи к этому тоже стали относиться по-другому, коллега Харрах подтвердит. Только мы, маленькая супер-Америка, все еще проделываем эти обезьяньи па со своими учениками!

Грёневольд встал, хотел что-то ответить, но вместо этого повернулся к д-ру Немитцу и спросил:

— Вы не знаете, когда в вечернем университете начинается Польская неделя?

— Еще неизвестно, состоится ли она вообще? К сожалению, неожиданно возникли некоторые трудности.

— Польская неделя? Это еще что такое? — спросил Нонненрот. — Польское хозяйство, это я знаю: войдешь со злотыми, выйдешь с блохами.

— Ну, ну, теперь все это выглядит, наверное, не так уж страшно! Кое-что изменилось, хотя бы в результате самой войны, — вмешался д-р Немитц. — Во всяком случае, вечерний университет хотел вместе с действительно интересным журналом «Польска» провести серию лекций о Польше. Разумеется, без малейшего политического акцента, исключительно с точки зрения культуры...

— Культуры? Разве у этих поляков теперь есть культура? — мгновенно задал вопрос Хюбенталь.

— Все, что у них есть, они украли у нас! — сказал Харрах.

— Ну, это совсем не так. В конце концов Реймонт получил Нобелевскую премию по литературе. И Сенкевич тоже — хотя это, конечно, была ошибка. И Шопен по материнской линии...

— Я вам вот что хочу сказать, господин коллега Немитц, — грубо сказал Харрах, — пока эти поляки не отдадут наши исконные немецкие земли за Одером и Нейсе, которые они разграбили и разорили, до тех пор я не буду посещать никакие Польские недели — меня удивляет, что вы поддерживаете это мероприятие!

— В тысяча девятьсот тридцать девятом году не поляки начали войну, господин Харрах, — сказал Грёневольд. — Но она стоила им больше шести миллионов человек.

— Войны были всегда, дорогой коллега, и в конце концов погибали не только поляки!

— Конечно, — сказал Грёневольд. — Погибали также немцы, русские, англичане, американцы, французы...

— Повторяю: войны были всегда, господин коллега, но одного еще не знала история, даже во времена Версаля: такой вопиющей несправедливости, как это Потсдамское соглашение! И оно отомстит за себя, как отомстил за себя Версаль. Уж поверьте мне.

— Боюсь, что вы окажетесь правы, — сказал Грёневольд. — И это будет чудовищно.

— Обойдутся без меня! — сказал Нонненрот. — Потсдамское соглашение было заключено без меня — я сидел в Воркуте, и вместо мировоззрения у меня был понос. Польская неделя тоже состоится без меня — лучше я буду играть в «гоп-доп». И если кто-нибудь снова вздумает нацелиться на Восток — на сей раз без меня. Единственное, что меня интересует в данный момент, — это урок биологии во втором «Б», который скоро начнется. И тут меня ждут необычайные открытия!

— Какая муха укусила сегодня Пижона?

— Понятия не имею.

Курафейский взобрался на стену и оттуда стал смотреть, что делается во дворе женской школы.

— Он на тебя зуб имеет, — сказал Нусбаум.  
— Давным-давно.  
— Почему?  
— Ему мой нос не нравится.  
— Антисемитизм, направленный против арийцев, — прокомментировал Мицкат.  
— Этого я никак не усеку. Ведь Пижон обычно — само дружелюбие.

— Мягко стелет — вот и все.  
— На самом деле мы его занимаем не больше, чем оловянные солдатики, — сказал Лумда. — Его интересуют только бабы и «АДЦ».

— Тебе он тоже хотел показать, где раки зимуют, Шанко!

Курафейский спрыгнул со стены и отряхнул брюки.

— Черт возьми, вот встань я сейчас на голову, вырви себе обе ноги и затяни тирольские йодли — он и глазом не моргнет! Не переваривает он меня, и все тут!

— Но почему? — спросил Клаусен.

— Пий, дружище, ну и наивный же ты! Почему? Этого ты у учителей никогда не узнаешь. Они с тобой втихую разделаются, а вслух назовут это справедливостью.

— Но ведь мы живем в демократическом государстве, я где-то слышал, — сказал Затемиин.

— К ученикам это не относится!

— К оппозиционерам тоже!

— И к КПП!

— Все это не так просто, — сказал Адлум.

— Может, по-твоему, это демократично? — спросил Шанко.

— Что?

— Взять да и просто-напросто запретить КПП?

— Убедительное доказательство духовного, морального и идеологического превосходства, — сказал Затемиин.

Клаусен покачал головой.

— Ни от какого государства нельзя ждать, чтобы оно сложа руки смотрело, как подрывают его основы.

— К примеру, Веймарская республика, — сказал Адлум. — Я считаю совершенно разумным, что того, кто нарушает правила игры, удаляют с площадки. В футболе это каждому ясно.

— Сравнение хромает на все четыре ноги, — сказал

Затемин. — Государство, запрещающее партию, которая пробуждает его от постоянной спячки, перестает быть демократическим.

— Демократия для канцлера!

— Демократура!

— Почему у нас даже нельзя купить газету из ГДР? — спросил Михалек.

— Из так называемой ГДР, — сказал Ремхельд.

— Да брось ты это старье! — закричал Мицкат. — Его давно уже моль сожрала — прямо на самом Хальштейне<sup>1</sup>.

— Я тоже считаю, что они должны были разделаться с этой горсткой коммунистов другими методами, демократическими, — сказал Фейгеншпан.

— Идеологическими.

— А это им как раз и не удалось, — сказал Затемин.

Адлум завернул в бумагу остаток своего бутерброда.

— Может, это и верно, — сказал он. — Но почему ты никогда не посмотришь через свою критическую лупу на Восточную зону?

— Мы говорили не о ГДР, а о...

— А теперь поговорим о ней!

— Я никогда не отрицал, что в ГДР есть трудности роста.

— Ты называешь это трудностями роста?

— Сталинизм, — рявкнул Мицкат.

— Подожди, — сказал Адлум. — Хорошо, трудности роста. Но тогда ты должен признать их и за ФРГ.

— ГДР идет вперед, при этом вполне закономерны кризисы: это плодотворные кризисы, — наставительно произнес Затемин. — Западная же Германия идет назад, при этом возникают кризисы, которые ведут к агонии.

— Ты вроде раньше поумней был, — сказал Адлум.

— Балда с левыми завихрениями!

— Боюсь, что немцы вообще не способны на демократию, — сказал Клаусен, — но здесь они хоть могут учиться политике, как малые дети в школе, а там, за Эльбой, их обучают в концлагерях.

---

<sup>1</sup> Доктрина Хальштейна утверждает политику дискриминации по отношению к ГДР.

Внизу, в окне уборной в подвале, появилась голова Рулля. Он мрачно поглядел на Курафейского.

— Дело дрянь! — сказал он и исчез.

— Пошли своего старика к шефу, — предложил Лумда.

— Так он был у директора в прошлый приемный день! Только вышел он оттуда куда быстрее, чем вошел: три часа сидел под дверью в приемной, а через три минуты выперли.

— Почему?

— Почему, почему! Шеф ворчал и ворчал: грубиян, наглец и прочее в том же духе, тогда отец ему осторожно возразил и высказал другое мнение — тут ему на дверь и указали!

— Дуболом проклятый! — сказал Мицкат. — Его почаще пивом надо поливать, под пение германского гимна! Субботними вечерами в «Старом охотничьем рожке». Успех гарантирован.

— Братцы, посылайте на родительские дни скороспелых сестриц или хорошо сохранившихся мамаш, и вы будете иметь от жизни несравненно больше!

Шанко прогуливался по стене, как манекенщик.

— Забулдыга опять обучает Микки политике! — сказал Нусбаум.

— Пошли посмотрим? Минут пять.

Они побежали вчетвером по школьному двору.

Бекман привязал Микки к лестнице, ведущей в дворницкую, и положил на шлак в нескольких метрах от собаки три куса хлеба с колбасой, вытащенные из мусорной корзины.

— Во, глядите: у него в башке мозгов больше, чем у вас всех вместе! — сказал он и отвязал щенка.

Микки подбежал к правому куску, который был ближе к нему, но Бекман скомандовал:

— Стоп! Это от Адольфа!

Собака мгновенно остановилась, оглянувшись, помедлила, рысцой подбежала к среднему куску, замерла на миг.

— Это от Аденауэра, — сказал Бекман.

Микки жадно проглотил кусок.

6-й «Б» заплодировал.

— А теперь гляньте-ка! — надменно сказал Бекман. — Я его еще одному трюку обучил!

Микки оглядел левый кусок, медленно подкрался



к нему, закатил глаза и хотел тайком сожрать его, но Бекман затопал и закричал:

— Фу, не смей! Это от бородатого!

Щенок лег перед куском, зажмурился и заскулил.

— Ну, у вас небось язык отнялся от удивления, а? — сказал Бекман и довольно подмигнул 6-му «Б».

— Заслужил сигарету! — одобрительно сказал Мицкат.

— Как насчет пивка? От такой дрессировки во рту пересохнет.

— Что я тебе, капиталист, что ли?

Лумда обошел всех по кругу и собрал шестьдесят пфеннигов.

— Благодарствуем! — сказал Бекман и сунул деньги в задний карман брюк.

Мицкат дал ему еще сигарету в придачу.

Лумда подобрал хлебные крошки, бросил собаке.

— От Аденауэра! — сказал он.

— Соображаете, из чего я эту штуковину смастерил? — спросил Бекман, показывая свою зажигалку. — Из осколка гранаты. Он меня чуть-чуть к праотцам не отправил. Вот...

Он задрал рубаху и показал свое изувеченное плечо.

— Под Млавой! Слыхали, где это находится, молоко-сосы?

— Понятия не имеем!

— В Польше. В тридцать девятом, блицкриг! Сзади Иваны, спереди наши. Поляки метались, как крысы в котле, когда я их из крысоловки туда кидаю.

— Звонок! — сказал Нусбаум.

На лестнице к ним присоединился Руль.

— Кто пойдет со мной на Польскую неделю? — спросил он.

— Я не пойду, — сказал Курафейский.

— Почему?

— Послушал бы ты разок, как мой старик рассказывает, что было, когда поляки пришли, ты бы тоже не пошел на эту Польскую неделю, Фавн!

— Сперва пришли наши.

— Но не так.

— Больше шести миллионов...

— Война есть война.

— Но мы же ее начали!

— Я не начинал.

— Если бы Адольф победил, — сказал Нусбаум, — считалось бы, что начали они.

— Во всяком случае, это ужасное свинство, что поляки сидят в Силезии и Померании, русские в Восточной Пруссии, чехи в...

— Да ты что, нельзя же от них требовать, чтобы они после войны бросились к нам в объятия: вот вам все назад, друзья! Приходите снова! — сказал Мицкат.

Курафейский похлопал его по плечу.

— Ты не оттуда, иначе бы так не говорил.

— Возможно, но это ничего не меняет в том факте, что нам приходится расхлебывать кашу, которую мы заварили. Так всегда было.

— Которую старики заварили! — сказал Нусбаум.

— Значит, из вас никто не пойдет? — спросил Руль.

— Нет, я пойду! — сказал Мицкат. — Недавно видел выставку «Польская графика» — высший класс!

Вроцлав выдвигается на третье место среди польских городов. Вроцлав? Смешно, что до войны я и не слышал этого названия. Во всяком случае, дома, в Бреслау. Варшава — да, Лодзь тоже. Даже чаще, чем Лицманштадт. Иногда слышал Познань, конечно, не от немцев, но Вроцлав? И ведь там будет скоро пятьсот тысяч жителей. Наверное, потрясающий город этот Вроцлав, построенный из ничего. В тысяча девятьсот сорок пятом году город был похож на пустыню. Но из деревень пришли поляки, в основном молодежь, умная, живая, полная энтузиазма, и построила новый Вроцлав. Значит, Вроцлав действительно существовал раньше. Только ты этого не знал. Думал, что это провинциальное местечко где-то ближе к России. А сегодня там восемь высших учебных заведений и в промышленности занято семьдесят тысяч человек. Да, этого у поляков не отнимешь: вкалывать они умеют. И ничто их не берет. До четырнадцатого года соотношение было даже неплохое: дома, в Бреслау, каждый третий трудяга был поляк. И все шло нормально, пока они не начали заниматься подстрекательством. И пока не был принят Версальский договор, который посеял зубы дракона. Совсем не плохой журнал, эта «Польска», надо будет потом еще почитать. «Kukuleczka kuka, chłopiec pani szuka»<sup>1</sup>. Это польские

---

<sup>1</sup> «Кукушка кукует, парень ищет девушку» (польск.).

рабочие в Бреслау тоже пели, субботними вечерами возле своих баракон, пропуская шкалик. Еще до тридцать девятого. Потом был осуществлен раздел Польши, почти намертво, бесповоротно, как уже трижды. Неблагоприятное положение с точки зрения геополитики. Оно и осталось неблагоприятным, пусть не забывают. Теперь даже особенно неблагоприятно! А стоило бы однажды сходить на эту Польскую неделю, может быть, там услышишь что-нибудь о Бреслау, как он теперь выглядит, вспомнишь Театерштрассе! Ту самую Театерштрассе, по которой ты больше тридцати лет каждое утро ходил в школу, сначала учеником, потом учителем. Театерштрассе во Вроцлаве...

— Дзен добрый!

— Good morning, Mr. Harrach! Today is tuesday, march the 5 th, it is now twenty to eleven.

— Good morning! Sit down! Open the windows! Had anybody to do some extrawork? Feigenspahn?

— No, Mr. Harrach!

— And have we a speech today, Fahrian?

— Yes, sir: I have a speech!

— Come in front, Fahrian! <sup>1</sup>

Фариан описал дугу, чтобы не споткнуться о длинные ноги Муля, собачьей рысцой пробежал к доске и стал лицом к классу.

— Begin, please! <sup>2</sup>

Фариан устался в пол и начал:

— A film produced in Sweden by Mr. Leiser and now being shown in numerous schools of German Federal Republic is drawing record attendances of young people most of whom never saw Adolf Hitler. The film called «Mein Kampf», after the notorious book Hitler wrote, was assembled from authentic documentary films and news-

---

<sup>1</sup> — Доброе утро, мистер Харрах. Сегодня вторник, пятое марта, сейчас двадцать минут одиннадцатого.

— Доброе утро! Садитесь! Откройте окна! У кого-нибудь было специальное задание? Фейгеншпан?

— Нет, мистер Харрах!

— А доклад сегодня должен быть, Фариан?

— Да, сэр, я должен сделать доклад!

— Выйди вперед, Фариан! (англ.).

<sup>2</sup> — Начинай, пожалуйста (англ.).

reels of the Nazi regime and shows the horror of Hitler's ruthless «Struggle». The photos are taken from one of the most poignant sequences which the Nazis filmed in the Jewish ghetto of Warsaw. It is reported that Goebbels ordered the film made as an anti-semitic propaganda film but never dared release it, fearing perhaps that the sight of all the cruelties inflicted by the SS on the Jews of Warsaw might have a boomerang effect<sup>1</sup>.

Фариан опять обошел длинные ноги Муля и сел на свое место.

— Well, — сказал Харпах. — I will give you six points for the diligence! Any report today? Nusbaum! A moment please, Titz?<sup>2</sup>

— Я хотел бы спросить еще кое-что насчет «Майн кампф».

— Please, do speak English<sup>3</sup>.

— Гм, это можно сказать только по-немецки.

— Sorry<sup>4</sup>.

— Эти так называемые authentic documentary films and news-reels<sup>5</sup>, например из Варшавского гетто, действительно подлинные?

— Так говорят.

— Да, но мистер Лейзер ведь эмигрант?

— Кажется, да.

— Еврей?

— Вероятно.

— Значит, он при этом не был?

---

<sup>1</sup> — Фильм, сделанный в Швеции мистером Лейзером и демонстрируемый теперь во многих школах Федеративной Республики Германии, привлекает внимание огромного количества молодежи, которая в большинстве своем никогда не видела Адольфа Гитлера. Фильм, названный «Майн кампф» по известной книге, написанной Гитлером, был смонтирован из подлинных документальных фильмов и кинохроники нацистского режима и показывает ужас и жестокости гитлеровской «борьбы». Взяты кадры одного из самых острых эпизодов, заснятых нацистами в еврейском гетто в Варшаве. Сообщают, что Геббельс приказал сделать этот фильм с целью антисемитской пропаганды, но не рискнул выпустить фильм на экран, опасаясь, вероятно, что зрелище жестокостей, творимых СС по отношению к варшавским евреям, может иметь обратное действие (англ.).

<sup>2</sup> — Хорошо. Я ставлю тебе шесть баллов за усердие! Еще есть доклады? Нусбаум! Минуточку, Тиц? (англ.).

<sup>3</sup> — Говори, пожалуйста, по-английски (англ.).

<sup>4</sup> — Очень жаль (англ.).

<sup>5</sup> — Фильмы и кинохроники, основанные на подлинных документах (англ.).

Харрах закрыл «Нью Гайд» и отошел от передней скамьи.

— Но ведь и ты тоже не был, Тиц, — сказал он неуверенно.

— Да, но мой отец был. Он был гауптшарфюрер СС в Варшаве. Он все рассказывал моей матери; у нас дома полный ящик дневников...

— Твоего отца уже нет в живых?

— Нет, его американцы в сорок пятом, во время своего крестового похода, избавили от жизни.

— Дальше.

— Да, так вот, в дневниках написано только, что они уничтожали польских и еврейских партизан. Ведь те наших убивали из-за угла. А один священник стрелял в немецких солдат с церковной кафедры. Во время богослужения. Об этом в фильме ничего не говорится. Только всякие страшные сказки. Никакой это не authentic documentary film.

— Ты уже видел этот фильм? Ведь класс собирается только в четверг...

— Он шел три года назад в «Глории».

Харрах зажал «Нью Гайд» под мышкой и принялся расхаживать перед классом взад и вперед.

— Что мне ответить тебе, Тиц? — сказал он. — Я могу сказать лишь одно: я лично до тысячи девятьсот сорок пятого года, до окончания войны, никогда не слышал об этих событиях.

— Я читал, что ами и томми монтировали подделанные фотографии, — сказал Тиц. — Катынский лес они тоже сначала хотели свалить на нас, а оказалось, что это дело русских.

— Откуда у тебя все эти сведения?

— Я не могу сказать. Из одного журнала, который издается не в Германии.

— Где же?

— В Южной Америке. В этом журнале сотрудничают некоторые прославленные немецкие офицеры.

— Видишь ли, Тиц, мне остается только повторить: я не знаю. Я заявляю о своей полной некомпетентности в этом вопросе.

— Все увиливают от ответа.

— Руль, перестаньте подавать реплики.

— Но ведь это ужасно, мистер Харрах: ни одна собака не хочет сказать нам, как это было на самом деле.

Каждый рассказывает нам историю на свой лад. Мы вообще не знаем, во что нам еще верить. Ведь дело не только в этом фильме, всюду одно и то же. Ни один учитель не хочет быть учителем. А мы, мы не можем быть учениками. И дома то же самое — там мы не можем больше быть детьми. Это же просто...

— Мне очень жаль, *my friends*<sup>1</sup>, но это не моя сфера. К счастью, не моя, могу добавить. Спросите вашего учителя истории.

— Но он же не немец! — воскликнул Тиц.

— Никаких пренебрежительных замечаний в адрес учителей, попрошу вас. *And now begin to read your report, Nusbaum!*<sup>2</sup>

— На последнем уроке английского языка нас всех сначала пересадили: хороших учеников вперед, средних — назад, высоких позади маленьких, а телевизионные звезды разместились на флангах. После чтения протокола Фариан попросил слова и заявил, что, по мнению его отца, англичанина, мистер Харрах в предыдущем *dictation*<sup>3</sup> употребил грамматически неверную фразу. Нельзя сказать: «*Please excuse my being late!*», надо сказать «*Excuse me being late*»<sup>4</sup>. Наш преподаватель спросил, какова профессия мистера Вудхауза, отца Фариана. «Он сержант». На это наш преподаватель сказал: «Я, конечно, не хочу поправлять вашего отца, поскольку он англичанин, а я, как немец, безусловно, не столь совершенно говорю на его родном языке, но грамматика вам подскажет, что обе формы правильны! «*Excuse me being late*» — это причастное предложение. Вместо него вы можете образовать придаточное. Откройте вашу грамматику, страница сто тридцать восемь, параграф семь». Мы подчеркнули этот параграф. Потом преподаватель сказал: «*Excuse my being late*» — это, напротив, герундий, потому что вместо него в немецком можно поставить имя существительное. Откройте вашу грамматику, страница сто тридцать девять, параграф девять». Мы подчеркнули также и этот параграф. Наш преподаватель заверил нас, что эти проблемы возникают на каждом экзамене. Английский язык в отличие от французского живой язык...

<sup>1</sup> Друзья (англ.).

<sup>2</sup> А теперь читай свой протокол, Нусбаум! (англ.).

<sup>3</sup> Диктанте (англ.).

<sup>4</sup> Извините за опоздание (англ.).

— A moment, please<sup>1</sup>. Курафейский?

— Я не понял, мистер Харрах. Почему французский не живой язык?

— Что скажет класс? Клаусен!

— Французская академия, основанная еще в тысяча шестьсот тридцать пятом году Людовиком Четырнадцатым, королем-солнце, еще и сегодня продолжает строго следить за чистотой французского языка. Через регулярные промежутки времени собираются les quarantes immortels, сорок бессмертных, и решают, принять ли новое слово, новую форму в словарь Академии или нет...

— Very good<sup>2</sup>. Мистер Петри!

— Отец моего парижского...

— Мицкат, почему ты смеешься?

— Я не смеюсь, мистер Харрах, меня просто солнце ослепило.

— Мицкат, не пытайся заговаривать мне зубы. На следующем уроке будешь вести протокол, ясно?

— Yes, sir<sup>3</sup>.

— Продолжай, Петри.

— Отец моего друга в Париже — профессор литературы, и он говорит, что сейчас в литературный французский язык все больше проникают местные наречия и арго и что даже самые известные писатели пишут на современном жаргоне...

— Оставим французов в покое, — сказал Харрах. — Английский, а еще сильнее американский, развиваются с невероятной быстротой. То, что вчера еще считалось сленгом, сегодня употребляется в литературе. Все меняется. Вот что я хотел сказать. Продолжай, Нусбаум.

— В конце урока мы немного поговорили о фильме «Майн кампф», который, как говорят, теперь показывают на всех школьных собраниях. Большинство учеников уже видели этот фильм и считают его потрясающим...

— Каким?

— Потрясающим. Very good<sup>4</sup>.

— Дальше.

— Только один взял Гитлера под защиту...

— Двое! — крикнул Тиц.

— Кто?

---

<sup>1</sup> — Минуточку (англ.).

<sup>2</sup> — Очень хорошо (англ.).

<sup>3</sup> — Да, сэр (англ.).

<sup>4</sup> — Очень хорошим (англ.).

— Я и Бэби.

— Не перебивайте, Тиц, — строго сказал Харрах. — То, что вы говорите, в данном случае не имеет никакого значения. Дальше, Нусбаум.

— Мы хотели спросить у нашего учителя английского языка его мнение, но у него не было никакого мнения. Он сказал, что существуют причины, по которым он хотел бы воздержаться от высказывания своего суждения. Он сказал, что его уже дважды оставляли в дураках, и рекомендовал нам обратиться к учителю истории. Мистер Харрах велел Фариану подготовить speech<sup>1</sup> на эту спорную тему. Вскоре после этого раздался звонок.

— Well! I'll give you five points<sup>2</sup>.

Харрах примостился на передней скамье и раскрыл «Нью Гайд».

— Кстати, а вы уже говорили с господином Грёневольдом об этом фильме? — спросил он.

— Мы хотим после сеанса устроить дискуссию.

— Ну, прекрасно. А теперь откройте: Lesson forty, «Guy Fawkes Day». Begin to read, Adlum<sup>3</sup>.

...Да, у тебя и в самом деле есть причины воздержаться от высказывания своих мыслей. Пускай на сей раз молодые коллеги обжигают себе пальцы. Мы уже достаточно получали по шее. Каждое правительство требует от своих служащих, чтобы они полностью разделяли его принципы и цели. Хорошо, служащий разделяет. Потом режим меняется — на твоём веку это было трижды — и новое правительство, естественно, требует от своих служащих, чтобы они полностью разделяли его политические принципы и цели. Служащий готов и на это, насколько ему удастся, но он не успевает даже выразить свою готовность: его быстренько выбрасывают на улицу. Как мошенника. Былая верность внезапно оказывается преступлением. Так государство само воспитывает беспринципных пройдох, политических спекулянтов и яростных интриганов. Вроде Риклинга. Нет, пускай Грёневольд говорит с ними об этом фильме — тебе это ни к чему. Вот еврей может

<sup>1</sup> Речь (англ.).

<sup>2</sup> — Хорошо! Я ставлю вам пять баллов (англ.).

<sup>3</sup> Урок сороковой, «День Гая Фокса». Читай, Адлум (англ.).



это себе позволить. Еврей может нынче позволить себе в German Federal Republic<sup>1</sup> что угодно. Конечно, все может обернуться по-другому. Разумеется, ты им не желаешь зла, не хочешь, чтоб им тоже свернули шею. Но больше всего ты не хочешь, чтобы свернули шею тебе. А вообще такой фильм незачем показывать в школе. Мальчишкам это не по зубам. Вот уже три года, после этих нелепых историй с осквернением синагог, школу засыпают просемитским пропагандистским материалом. Какое отношение имеет школа к политике? Знания по грамматике ухудшаются с каждым годом: но вместо того чтобы улучшить дело в этой области, подростков обучают политике. Абсурд! Тебя и часа не учили политике, и все же ты сумел составить себе собственное представление о мире. Для себя и всей своей семьи. И у тебя не было ни малейшей необходимости его менять, но государство меняло его трижды. А теперь ты помалкиваешь в тряпочку, как говорится на хорошем литературном языке. Ты и так сказал тогда в конференц-зале слишком много! Монархия, война, капитуляция, революция, Веймарская республика, тоталитаризм, война, капитуляция, союзники, контрольный совет, демократия, даже в двух вариантах: Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германии. И все это за одну чиновничью жизнь. Нет, этого ты им не можешь рассказать, как не можешь рассказать про Бреслау — Вроцлав, даже при демократии. Как бы ты ни рассказывал — с левых позиций или с правых, — все равно будет ложь. В одном случае назовут реваншизмом, в другом — государственной изменой. И ни в одном случае не назовут правдой. Твоя правда — это как ты ее испытал на себе. Несомненно одно: если Тиц и его дружки наберутся сил, в Германии будет пятый рейх, и он окажется прямым продолжением третьего, как третий развился из второго, а четвертый из Веймарской республики. Если только до тех пор не придет Иван...

— Тиц, что ты хочешь?

— Переводить, мистер Харрах.

— No, begin again to read, Muhl!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Федеративная Республика Германии (англ.).

<sup>2</sup> Нет, читай еще раз, Муль! (англ.).

Англичане торжественно празднуют пятое ноября, потому что в этот день сорвалось покушение Гая Фокса на короля, а мы должны отмечать двадцатое июля как день всенародного траура — это характерно. Надо бы дать Грёневольду несколько книжонок, где все так здорово закручено. Дин говорит, что Грёневольд не рассердился бы. И все-таки лучше с этими типами из учительской компании не сталкиваться. Ясно, что он бы возмутился, дай я ему «Подлодки против Англии», «Танковые клинья у Москвы» и «Ночные истребители над Африкой». Пацифист, человек, отказавшийся от военной службы — как все евреи. У Бэби есть кое-какое чтиво на эту тему, обещал меня снабдить. Этот Гай Фокс, видно, был силен. Его предали, и он угодил на виселицу. Если бы у нас не было столько предательства и саботажа, мы бы наверняка выиграли войну. «В сорок первом, самое позднее в сорок втором», — пишет отец. Пора уже сделать настоящий фильм о Сталинграде. Когда была эта история с Гаем Фоксом? Тысяча шестьсот пятый год, так давно, что скоро будет казаться совсем нереальной. Черт, ну и устал же я. Вчера до половины второго, позавчера еще позднее. А эта Ина остра, как бритва, и весьма сексуальна, особенно когда пропустит рюмочку-другую martini. Надо сделать еще парочку пикантных фотографий, пока мамаша не вернулась. Можно будет потом сбыть по пять бумаг за штуку. Нормально. Трепло возьмет. Красота, что в этом культурборделе существует звонок. Translation<sup>1</sup>. Может, надо было сделать. Рюбецаль мне четверку поставил. А политически этот господин кажется вполне надежным...

— Good morning, мистер Харрах!

— Давай-ка, настрой на БФН!<sup>2</sup> — сказал Лумда.

— Десять часов сорок три минуты — в это время ничего интересного.

— Не трепись, у них там целый день отличная музыка.

Муль включил свой транзистор.

— А Монте-Карло можешь поймать? — спросил Михалек. — Они сейчас шлягеры передают.

---

<sup>1</sup> Перевод (англ.).

<sup>2</sup> Английская радиостанция в Западной Германии.

— Только по вечерам можно.  
— Что это за паршивый ящик?  
— Вечером ловит тридцать станций.  
— Вечером!  
— Постой-ка, не переключай! Это ведь Перес-  
Прадо.

— Силен, а?  
— Рванем танчик, Ча-ча?  
— Что я тебе, гомосексуалист, что ли?  
— Видел этого типа в «Господь создал их другими»?  
— Такой успех у женщин — и вдруг гомосек?  
— Ты там тоже был, Томми?  
— Я хожу только в «Глобус».  
— С твоим father? <sup>1</sup>  
— Ненормальный, с Church Army club.  
— «Майн кампф» там тоже показывали?  
— В прошлом году.  
— Ну и что?  
— Они уже и так все знали.  
— Представляю, — сказал Тиц.  
— То есть как?  
— На воре шапка горит.  
— Нацист, — сказал Шанко.  
— Комсомолец!  
— Всегда впереди своего времени, — сказал За-  
темин.

— Мы вернемся, камрады!  
— Ты так думаешь!  
— Ребята, послушайте-ка Элвиса: какие номера от-  
калывает!

«Блю Гавайи» вместе с Элвисом пела половина  
класса.

— Заткнитесь! — крикнул Руль.

Никто его не слушал.

— Не старайся зря, — сказал Адлум. — В этом су-  
масшедшем доме ничего не исправишь.

— Да дело же совсем не в них. Что с этих бедняг  
возьмешь? Им просто все безразлично, чертовски без-  
различно. А учителя, которые должны вывести их из  
спячки, понимаешь, сами заражены сонной болезнью.  
Мне кажется, они вообще не замечают, какое старье  
нам преподносят.

---

<sup>1</sup> Отец (англ.).

Руль подпер руками подбородок и задумался.

— Я тебя не понимаю, Фавн, — сказал Адлум. — Учителя в порядке: они нас не трогают, не теребят, и мы можем спокойно делать, что нам надо. Мне они нравятся. Большинство — просто очень симпатичные старички.

Руль пристально посмотрел на Адлума, подтянул колени к подбородку и стал кататься по своей скамейке, корчась от смеха.

— Тоже позиция, — невозмутимо сказал Затеми. — Снобизм. Его хватили по голове пыльным мешком — правда, мешок был не простой, а золотой!

Он вдруг бросился на Адлума и закричал:

— Ты, слышишь, мы должны что-то делать!

Руль перестал смеяться, схватил Затемина за руку, оттащил его от Адлума и сказал:

— Но я пытался! Сегодня я сделал попытку...

— Какую?

— Что-то предпринять.

— Не понимаю, — сказал Затеми.

Руль снова уселся за свою парту, натянул воротник свитера по самые уши и пробормотал:

— Я смываюсь.

— Старик уже говорил, когда будет заключительный педсовет, коллега Харрах? — спросил Кнеч.

— Насколько мне известно, нет. Мы можем это потом выяснить.

— Я надеюсь, аттестат получают все? — спросил Куд-девёрге.

— По-моему, есть спорные случаи: это Гукке, Нусбаум, Курафейский, — сказал д-р Немитц.

— Курафейский? Ведь осенью у него было все в порядке.

— Знаю, знаю, но с рождества он заметно убавил темпы. За пять метров до финиша. К сожалению.

— Мы послали родителям предупреждение?

— Нет, — сказал Криспенховен.

— Нет?

— Нет, у него была тройка с натяжкой по немецкому, вот и все.

— Тройка с большой натяжкой — и то лишь при очень доброжелательном к нему отношении.

Криспенховен перелистал журнал и сделал себе какие-то пометки.

— По немецкому он получит теперь то, что заслуживает: двойку, — сказал д-р Немитц.

— Неужели действительно ничего нельзя сделать? — спросил Криспенховен.

— Боюсь, что нет.

— Даже если вы сложите отметки за письменные и устные ответы?

— Сглаживать острые углы, — сказал Нонненрот и записал в шахматной задаче, напечатанной в иллюстрированном еженедельнике, ход конем.

— Нет, по письменному у него тройка с огромной натяжкой, и то если смотреть сквозь пальцы, а в устных ответах, кроме глупых остроумий, из него ничего не вытянешь — во всяком случае, на моих уроках!

— Но по математике у него твердая четверка, — сказал Криспенховен. — Это как-то компенсирует отставание по немецкому, и он пройдет.

Д-р Немитц поднял брови.

— При условии, что он не схватит единицу!

Криспенховен снова перелистал журнал.

— По другим предметам у него все обстоит благополучно.

— Как он у тебя, Вилли?

Нонненрот сложил иллюстрированный журнал и сунул в карман пиджака.

— Кто?

— Курафейский.

— Его что, надо срезать?

Д-р Немитц заклинаясь поднял обе руки.

— У меня он получил единицу.

— Ну, если у него по немецкому единица, на нем можно крест ставить.

— Коллега Криспенховен вывел ему по математике четверку.

— Я считаю, что мы не можем дать аттестат зрелости юноше, у которого плохие отметки по родному языку. — вмешался Хюбенталь.

— Почему ты хочешь утопить Курафейского? — спросил Нонненрот, прикрыв рот рукой так, чтобы не слышали другие.

— Приказ шефа, — ответил д-р Немитц, не пошевелив губами.

И тут же сказал громко:

— По твоему предмету у него тенденция к удовлетворительной оценке или к неуде?

— У него вообще нет никаких тенденций, — сказал Нонненрот. — Он сидит весь урок и глазееет на меня, будто я дева Мария.

— Странная манера, — сказал Хюбенталь.

— Ну, я потом еще загляну в шестой «Б», — сказал Нонненрот. — Надо всыпать как следует этому пилоту без самолета. А как насчет Гукке?

— Двойка по немецкому.

— И по английскому.

— География то же самое.

— И по физике, — сказал Криспенховен. — Стало быть, безнадежно. А Шанко?

— Этот мошенник не лишен способностей.

— Да, но каких, — сказал Хюбенталь. — Он к двадцати уже будет отцом.

— В который раз? — спросил Нонненрот.

— И ленив же парень. Если бы лень причиняла боль, он бы ревел день и ночь.

— Двойка по английскому у него уже три года.

— А еще есть двойки?

— Как у него обстоит дело с историей, уважаемый коллега?

— Я еще не решил, — сказал Грёневольд.

— Ну, знаете ли, — сказал Нонненрот. — За три недели до педсовета каждый знает, на каком он свете.

— С троими учениками пока не ясно.

— И кто это?

— Шанко, Затеми́н и Ру́ль.

— Все между двойкой и тройкой?

— Нет, между четверкой и тройкой.

— Этот Ру́ль — для меня загадка, — сказал Харрах.

— Для меня тоже.

— Почему? — спросил Криспенховен.

Нонненрот схватился за голову.

— Знаете, что он такое? Никакая он не загадка: он коварный тип. Он нас водит за нос со страшной силой, и большинство этого даже не понимает.

— У меня нет другого такого ученика, который задавал бы столь серьезные вопросы, — сказал Грёневольд.

— Да, спрашивать — это он умеет. От его вопросов мозги плавятся, — сказал Хюбенталь. — Но было бы наивно предполагать, что это искренний интерес, господин коллега. Парень хочет сорвать занятия, больше ничего.

— И привлечь к себе внимание.

— Совершенно точно. От него никакого проку — даже на фарш не годится.

— Удивляюсь, что вы сделали старостой класса именно Рулля, господин Криспенховен, — сказал д-р Немитц.

— Его выбрал класс.

— Выбрал? Такой чепухи я у себя в классе вообще не допускаю, — сказал Хюбенталь.

— Made in USA<sup>1</sup>.

— Мировая держава номер один — по юношеской преступности.

— Руллер вот уже несколько недель погружен в раздумья, — сказал Криспенховен.

— Раздумья? Он просто онанизмом занимается, до умопомрачения, — уточнил Нонненрот. — Пора! Еще урок, детки, и папаша на один день ближе к вожделенной пенсии.

— Завидую, — вздохнул Харрах.

— Зависть всегда была вашей сильнейшей слабостью, — сказал Нонненрот.

Криспенховен взял свой портфель и пошел на урок.

...Значит, Гукке уже нельзя помочь. Четыре двойки. А ведь он твердо уверен, что получит аттестат. «Я должен его получить. Иначе отец выгонит меня из дому — тогда не знаю, что мне делать». Сколько ребят говорит это каждый год, когда приближается пасха? Двое, трое в каждом классе. У Гукке уже есть место. Электротехника. Он, конечно, придурковат. И каша в голове. Не удивительно: мать — беженка, родился где-то в дороге, четыре года лагеря, отец с матерью не живут. Бесполезно напоминать об этом на педсовете: с четырьмя двойками он не получит аттестата. Да и Немитц тебя переговорит. Надо побеседовать с отцом Гукке, чтобы тот не был жесток с парнем. Он просто не мог, он старался

---

<sup>1</sup> Сделано в США (англ.).

изо всех сил. Надо убедить отца, что это не трагедия. Сколько лет Гукке? Восемнадцать. Значит, один из самых старших. Шанко лодырничал последнюю четверть. Сегодня придется в последний раз свистать всех наверх. А Шанко оповещать церковными колоколами. Может быть, еще что-то удастся сделать. Способный, но ветренный. Что вдруг приключилось с Курафейским? Ни с того ни с сего начал отставать. Наверняка опять нагрубил Немитцу. Что у них там произошло? Надо спросить Курафейского, у Немитца все равно ничего не узнаешь. От его методичности становится страшно. Плохо придется тому, на кого он зуб имеет. Немитц до шестого класса помнит, если его кто-то в первом забыл назвать доктором. Учителя не всегда правы. Далеко не всегда. Это подтверждает и собственный двенадцатилетний опыт. Педагогическая коллегия, если не считать Грёневольда и Виолата, неправильно оценивает Рулля. Неудобный он парень, это верно; но вовсе не коварный, как утверждает Нонненрот. Он болтает много вздору, но не потому, что любит трепаться или хочет сорвать уроки, нет, он просто не знает, что вздор, а что правда. Нужно помочь им жить. Именно неудобным, трудным. «Сомнительным случаям», как говорит Хюбенталь. Но терпение и силы, которые необходимы для этого, были только у святых...

— Доброе утро!

— Доброе утро, господин Криспенховен!

— Садитесь!

Криспенховен сел за кафедру, раскрыл журнал и посмотрел отметки.

— Не могли бы вы сказать нам, как там наши дела? — спросил Мицкат.

— Не могу, не полагается. Но вы должны быть готовы к тому, что двое или трое... да, что они не получают аттестата.

— Это уже решено? — спросил Гукке.

— Пока нет.

— Когда заключительный педсовет, господин Криспенховен? — спросил Ремхельд.

— Примерно через две недели.

— До тех пор я исправлю отметки, — сказал Гукке. — По английскому у меня уже с рождества нет двоек за письменные работы.



— Не очень-то рассчитывай на свои последние работы.

— Я добьюсь своего!

Криспенховен ничего не ответил.

— У кого еще нетвердое положение?— спросил Нусбаум. — Не могли бы вы хоть намекнуть? Вы же классный руководитель.

— Тебе тоже пора перед финишем подналечь, Чача, — сказал Криспенховен. — А в особенности твоему уважаемому соседу.

— Мне? — возмущенно спросил Шанко.

— Да.

— У меня только моя обычная пара по английскому.

— В самом деле?

— Ну, это уже верх всего, — сказал Шанко и опустился на скамью.

— А не пора ли тебе отказаться от мировых рекордов по лениности? — спросил Криспенховен.

Шанко ухмыльнулся.

— Олл райт.

— А двойка по английскому, неужели она действительно останется в твоём аттестате?

— Тут уж ничего не поделаешь, господин Криспенховен.

— Почему?

— Я говорю, как варвар.

— То есть?

— Мистер Харрах признает только язык Кембриджа, которому он учился тридцать лет назад.

— Где же ты научился своему варварскому языку?

— В «Немецко-канадском клубе».

— Если ты умеешь говорить, как канадцы, тебе, наверно, не трудно исправить свою двойку.

— Куда там, канадцы себе животы от смеха надорвали, когда я говорил, как мистер Харрах.

— Но везде так говорить и не надо. Ты хотя бы на уроках говори по-английски, как... ну, как от тебя требуют.

Шанко сплел пальцы.

— Господин Криспенховен, сейчас ни один человек не говорит по-английски, как нас заставляет мистер Харрах. Даже в Кембридже, поверьте мне. Я вовсе не

собираюсь быть каким-нибудь ученым советником по вопросам тупоумия, я просто хочу научиться говорить с канадскими ребятами.

Криспенховен встал и посмотрел в окно.

— А что, Шанко, если бы ты все-таки постарался до пасхи, за оставшиеся четыре недели, овладеть этим кембриджским языком?

— О'кэй! Буду ораторствовать, как Queen Victoria<sup>1</sup>.

— Это наверняка был классический канадский школьный жаргон. А теперь попробуй-ка настоящий кембриджский. Шанко!

— Yes, sir!

— Вот видишь.

Криспенховен прошел вдоль ряда парт, стоящих у окна, и остановился возле Курафейского.

— Ну, как наши дела, Анти?

— Все в ажуре, господин Криспенховен.

— В самом деле?

— Ну, конечно.

— Как поживает гвоя тройка с минусом по немецкому?

— Все улажено.

— По письменному да. А по устному?

— Меня уже три недели не вызывали.

— И ты считаешь это хорошим признаком?

— Да.

— Я бы на твоём месте так не думал.

— Но доктор Немитц не может поставить мне неуд, господин Криспенховен.

— Почему не может?

— У меня еще ни разу не было неудов, с тех пор как я здесь.

— Ну что ж, может быть, ты и прав, но гарантий никаких нет.

Курафейский сунул руки в карманы брюк и оцепенело уставился в пространство.

— Свинство, — буркнул он.

— Так мы ни о чем не договоримся.

— Эх, но ведь это правда.

— Что именно?

— Спросите у класса — я не заслужил двойки.

---

<sup>1</sup> Королева Виктория (англ.).

— Разве класс может это решить?  
— Класс справедливее, чем доктор Немитц со всеми его потрохами!

— Демократия!

— Спекуляция!

— Тихо! — сказал Криспенховен. — Ни Курафейскому, ни мне не нужен для поддержки хор. Что-нибудь сегодня случилось на уроке немецкого? Ты вел себя неподобающим образом?

— Нет, право же, нет. Доктор Немитц вдруг стал меня допрашивать, когда и как я пришел сегодня в школу. И я старался отвечать как можно точнее. Вот и все.

— Музыку делает тон, Анти.

— Ну, может, я погорячился и сказал лишнее. Но он и впрямь может довести до белого каления, господин Криспенховен.

— Садись, — сказал Криспенховен и вернулся к своей кафедре.

— Мы еще обсудим ситуацию с глазу на глаз. Во всяком случае, с сегодняшнего дня ты обязан вести себя на уроках доктора Немитца только на пятерку, ясно?

— Ну, раз нужно.

— Нужно, Курафейский. И не забудь: в пятницу — письменная работа по математике.

— Как, у меня вдруг и по математике двойка?

— Нет, но, возможно, четверка.

Курафейский попытался улыбнуться. Это ему удалось.

— Может, вы нам хоть намекнете, о чем мы будем писать, господин Криспенховен? — спросил Мицкат.

— Почему бы и нет? Пятигранная пирамида, теорема косинусов, параллелограмм сил. А теперь займемся химией. Напомни-ка нам, что мы делали на последнем уроке, Гукке!

— Так, сначала мы повторяли главы о коксовании угля, о дистилляции и возникающих при этом побочных продуктах.

— Назови-ка мне некоторые из них!

— Кокс.

— Верно. Еще!

— Больше я сейчас не помню.

— Ты наверняка помнишь еще, Гукке. Перестань

подсказывать, Муль, он сам знает. И у нас есть время подождать, пока он вспомнит.

— Смола! — сказал Гукке.

— Ну, вот видишь.

— Она получается при дистилляции каменного угля!

— В чистой форме?

— Нет, смешанная с другими составными частями.

— С какими, например, Гукке?

— Антраценовое масло.

— Правильно. А еще?

Гукке напряженно всматривался в неоновые светильники под потолком.

— Вспомни, что мы видели во время нашего опыта!

— Бензол.

— Хорошо. На следующем уроке ты нам, пожалуй, сделаешь доклад о бензоле.

— Большой доклад, господин Криспенховен?

— Ну, скажем, минут на десять.

— Записать структурную формулу на доске?

— Можешь записать! А теперь поговорим о другом источнике энергии, который во многих областях уже вытеснил или заменил уголь. Я принес вам диапозитивы о добыче и очистке нефти. Шанко, приготовь аппарат. Краткие пояснения, которых нам пока достаточно, имеются с обратной стороны диапозитива. Петри, прочти, пожалуйста, пока Шанко вставляет диапозитив в проектор. Аппарат стоит слишком высоко, Шанко. Еще немного ниже, вот так. Выключи, пожалуйста, свет, Курафейский!

Ну и сволочь же этот Пижон! Он просто решил меня доконать. А какое у него на это право? Я не очень-то усердствовал, это верно. Больше, чем трояк, я не заслужил. По письменному твердая тройка. А теперь вдруг якобы все дело в устном. Конечно, я не могу доказать, что этот мошенник решил меня утопить. Я ведь не знаю, какие отметки он мне там выставил. Капоне говорит, что видел в журнале две тройки, одну двойку и одну единицу. Так в чем же дело? И почему этот вонючий идиот вставляет мне палки в колеса? Я не очень-то интересуюсь современной литературой, это верно. Но, по существу, кроме Фавна, ею никто не интересуется. Дали только из снобизма, Трепло — потому, что в нынешних книгах больше напиваются и хо-

дят по девкам, чем в классических. Из других — может быть, еще Гельфант и Адлум. Но в этих спектаклях, которые устраивает здесь Пижон, они тоже ни черта не петрят. Даже к нему в кружок я пошел, чтобы увеличить свои шансы, а теперь этот старый хрыч хочет меня перед финишем удалить с дистанции. И что он имеет против меня? Он меня всегда терпеть не мог, но до сих пор по крайней мере ставил отметки, которые я заслужил. Попс и Ребе должны мне помочь. Иначе мне каюк...

Бывают дни, когда не удается преодолеть свое отчаяние. Болтовня, лень, глупость, несправедливость, злость, безразличие, чванство, интриги. С обеих сторон. И собственная неполноценность. Старался на каждом уроке химии показывать фильмы. Чтобы сидеть в темноте и молчать. Не отвечать на вопросы, не задавать вопросов. Просто сидеть в темноте, с закрытыми глазами, и слушать, как медленно журчит время... Может быть, тогда бы не приходил каждый день домой такой усталый. Может быть, тогда не только часовня и лаборатория были бы единственным домом. Может быть. Но Курафейского надо вытащить. Шанко и сам справится. Гукке уже не спасешь. Даже если поставить ему тройку по химии. И все же надо поставить ему эту тройку, аттестат тогда не будет выглядеть так безнадежно, но Курафейского необходимо вытащить. Было бы несправедливо, если бы Курафейский не дошел до финиша. Те, кого нам доверили, должны как можно меньше сталкиваться с несправедливостью.

— Включи свет, Курафейский!

— Есть еще вопросы, Нусбаум?

— Какую часть собственных потребностей Федеративная республика покрывает с помощью этих скважин?

— Примерно тридцать процентов. Важнейшие залежи находятся... Затемин?

— Недалеко от Ганновера, в Шлезвиг-Гольштейне и на Эмсе.

— Еще вопросы? Тогда уберите аппарат, Петри и Муль. В следующий вторник некоторых из вас, у кого отметка колеблется, мне придется как следует погонять.

Темы: уголь, нефть, бензин. Встаньте! До свидания!  
— До свидания, господин Криспенховен!

— Мы всегда стреляем не туда, куда надо, — сказал Риклинг. — В последней войне тоже так было.

— В тысяча восемьсот семидесятом так не было! — сказал Хюбенталь.

— Лабус — лучшая лошадь в нашей конюшне, — сказал Нонненрот. — Больше всех дает навозу!

— А под ногами — вязкая глина, — сказал Матцольф. — Двести пятьдесят моргенов...

— От легкого к трудному, — сказал Гodelунд.

— И прежде всего: иметь мужество опускать в программе ненужный материал! — сказал Харрах.

— Если расписание не изменится, я на следующей неделе пойду к врачу, — сказал Гаммельби.

— При нашей профессии без нытья не обойдешься, — сказал Кнеч.

— Если бы у американцев не было военной промышленности, десять миллионов людей оказались бы на улице, — сказал Випенкатен.

— А у нас они собирают «на хлеб для всего мира»! — сказал Куддевёрде.

— Политики — все свиньи! — сказал Крюн. — Все только рвутся к корыту. — больше ничего!

— Раньше у них по крайней мере были убеждения, — сказал Гнуц.

— Надо надеяться, что в учителях еще долго будет ощущаться нехватка, — сказал Матушат. — Тогда нам будут больше платить.

— Это главная проблема школы! — сказал Немитц.

— Конечно, в коммунизме есть какое-то рациональное зерно, — сказал викарий.

— Когда они оставят в покое Берлин? — спросил Виолат.

— Мы ведь люди маленькие... Один, без всякой помощи, уложил полный казарменный двор русских... Есть люди, которые все еще вскидывают правую руку... Когда американцы уйдут из Германии, единственное, что они прихватят из культурных ценностей, это Дроссельгассе<sup>1</sup>... Мы должны действовать решительно... Ты мо-

<sup>1</sup> Переулок в прирейнском городке Рюдесхайм, где находятся увеселительные заведения.

жешь повести осла на водопой, но пить он должен сам... Мы, немцы, скорее разделаемся со всем миром, чем научимся пользоваться свободой... Отвлеченные понятия и никакой субстанции... Дайте пруссаку карандаш, и он сделает из него ракету... Мы народ фюреров... Камрады, я вам хочу вот что сказать: все дерьмо... Авторитет, демократия — бред собачий... Человечество никогда не станет разумным... Процессы против нацистов? Голый обман! Пожурят малость — и хватит!.. Богатство не всегда делает несчастным... Колбаса подлиннее, проповедь покороче... Этот Кинси наверняка был жуткая свинья... Раньше такого не могло случиться...

Криспенховен все еще стоял возле умывальника, рассеянно мыл руки и слушал болтовню, каждую перемену все те же разговоры, с первого дня, что он здесь. На большом столе, за которым проходили педсоветы, красовался попугай, чучело попугая — единственный немой, кроме него и Грёневольда, который, облокотившись о перила балкона, стоял под лучами бледного мартовского солнца. Криспенховен смотрел на попугая, слушал болтовню и рассеянно мыл руки, пока они не стали ему противны, эти мягкие, белые руки. В дверь постучали — трижды и громко. Криспенховен локтем открыл дверь, и Курафейский спросил:

— Можно мне с вами поговорить?

— Что случилось? — спросил Криспенховен, но в коридоре, заполненном испарениями от висящих рядами пальто и мастики, он все понял.

— Единица по немецкому! Теперь мне крышка.словно гром среди ясного неба. Я ничего не понимаю.

— Зайдем в химический кабинет, там пусто.

Они сели рядом на скамью в маленьком чистом амфитеатре. Криспенховен поискал в кармане спички и стал прочищать свою трубку.

— Ты чем-нибудь разозлил господина доктора Немитца? — спросил он.

— Нет, точно нет.

— Откуда же взялась единица за устный ответ?

— Это было вот как, господин Криспенховен: на каждом уроке немецкого каждый ученик должен прочитать наизусть какое-нибудь современное стихотворение — «стихотворение дня». Примерно три недели назад была моя очередь, я подыскал один стишок, он назывался «Антипоэзия». Мне это стихотворение тогда

показалось ужасно смешным, классу тоже; мы так ржали! Но доктор Немитц сказал, что я пролетарий, который ничего не смыслит в современном искусстве, и мне надо было оставаться там, по ту сторону зональной границы. Социалистический реализм — как раз то, что нужно для пролетария. А потом поставил мне единицу.

— А до этого ты в чем-нибудь провинился?

— В последней четверти ни разу.

— Сколько времени ты уже здесь?

— Два года. Наверное, мне действительно было лучше остаться там!

— Ну, ну; не выплескивай с водой и ребенка. Ты это стихотворение еще помнишь?

— Только начало:

Зачем ты завиваешь волосики, воло-о-стики,  
Раз, два, три, да, да, воло-о-стики,  
Если ты любишь другого?

— Н-да, — сказал Криспенховен. — Тут бы я тоже посмеялся вместе с вами. Я ведь тоже ничего не понимаю в современном искусстве. Но почему ты выбрал именно это стихотворение?

— Оно мне показалось дико смешным! Большинство выискивает стишки такого сорта. Но Немитц хочет, чтобы мы относились к этому чертовски серьезно. Мне кажется, это совсем неправильно. Но класс теперь делает все, что хочет Немитц. Большинство потому, что не могут позволить себе роскошь иметь кол. Некоторые потому, что думают, раз их родители дома не очень-то современны, то им положено быть современными вдвойне. А знают в этом толк от силы двое-трое.

— Ты не в их числе?

— Нет, чтоб я сдох. Извините. Стихи, которые мы учили там, мне, правда, тоже не нравились.

Кто открыл Колумбово яйцо?

Конечно, партия, а не одно лицо, —

и так далее, но это хоть было понятно!

— Вы еще должны делать доклады до педсовета?

— На каждом уроке кто-нибудь должен выступить с докладом.

— Ну, вызовись как-нибудь сам.

— Сам?



— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Если доктор Немитц решил выставить мне двойку, он меня больше не вызовет. Это все знают.

— И все-таки попробуй. На каждом уроке проси тебя вызывать. И готовься к урокам немецкого по крайней мере в три раза лучше, чем к математике, понял?

— Да, но...

— И главное, изволь вести себя по отношению к доктору Немитцу, как...

— Как Адлум.

— Хорошо: как Адлум.

— Вы думаете, это мне поможет?

— Я поговорю с доктором Немитцем. А теперь иди во двор. Осталось всего несколько минут.

— Что он сказал? — спросил Шанко, который поджидал Курафейского на лестнице.

— Хочет поговорить с Пижоном.

— Обо мне что-нибудь говорил?

— Нет.

— Если тебя завалят, останешься на второй год?

— Ни в коем случае!

— Я тоже нет. Лучше смоюсь. Давай вместе?

— Куда?

— В Восточную зону.

— Так ведь я только оттуда!

— Ну и как?

— Дрянь! — сказал Курафейский.

К ним подошли Затемины и Руль.

— Сходи сам к Пижону, — посоветовал Затемина.

— Да ты что, мой брат из четвертого ходил к нему, чтобы узнать, за что Пижон ему записал в журнал замечание. Пижон ему сперва хорошенько дал по морде, а потом весело сказал: «Ну, так что ты хотел узнать?»

— Что бы ты сделал в таком случае? — спросил Затемина.

— Дал бы сдачи!

— Бросьте, это же чепуха на постном масле, — возмущенно сказал Руль. — Каждому из нас в отдельности они могут съездить по морде, а если мы возмемся все вместе...

— Все вместе? — сказал Затемин. — Вы?

К ним подошел Нусбаум.

— Знаете анекдот про Адольфа и русского комиссара? — спросил он.

— Куда нам, — сказал Шанко.

— Апрель сорок пятого. Адольф сидит в разбомбленной рейхсканцелярии. Входит русский комиссар, поднимает пистолет и говорит: «Адольф Гитлер — война капут!» Адольф вскакивает и орет: «Товарищ комиссар, секретный приказ 2041889 выполнен: Германия полностью разрушена! Почва для коммунизма подготовлена!»

— Неплохо, — сказал Затемин. — Взамен я тебе расскажу другой... На небе тайно вывешивают красный флаг. Начинается облава. Иосиф, плотник, говорит: «Это я сделал. Я коммунист!» Ну, тут компартию небесную, конечно, запретили, Иосифа выгнали. Иосиф и говорит: «Мария, возьми парнишку, а теперь посмотрим, господа, кто спасет мир!»

— По-моему, оба анекдота — барахло, — сказал Руль. — Впрочем, может, и не барахло, но дерьмо определенно!

Криспенховен вернулся в учительскую и стал искать Грёневольда. Тот ушел на урок.

— Вы уже имели честь приветствовать нового коллегу — только что, после четвертого урока? — спросил Гodelунд.

— Нет.

— Создается впечатление, что он намерен представиться только начальству.

— Он уже здесь?

— Говорят, — сказал Гodelунд.

— Видимо, он еще в кабинете директора.

— Наверняка.

Гodelунд поспешно вышел. Криспенховен вдруг почувствовал себя слишком усталым, чтобы вникнуть в суть этих разговоров. Впрочем, за двенадцать лет, что он здесь работал, это ему так ни разу и не удалось. Он взял листок бумаги и начертил структурную формулу бензольной группы.

— Комик при небесной канцелярии забыл сегодня утром про свой разможенный чернослив! — сказал Ноненрот, проходя мимо Криспенховена.

Хороший выигрыш в лото, и ты покажешь задницу этому культурборделю. Эх, черт возьми, так называемые коллеги: племя ботокудов с аттестатом зрелости! Послужили бы они в твоей роте! Через три дня уже не воображали бы себя пупом земли. Казарма всегда была лучшим санаторием для невротиков, а гауптфельдфебель с плеткой о двенадцати концах добивался большего, чем Зигмунд Фрейд собственной персоной. Все они страдают оттого, что не дотянули до чина штудиенрата и что учитель начальной школы не ходит у них в денщиках. Корпорация студентов-католиков. Жалование, ссуда для служащих, выбор зятя, вечерний университет, курорт Бад Кицинген — вот их горизонт. После тех буйных лет надо было тебе остаться кленть марки у Юпа Некермана: продвинулся бы больше, чем в этом заповеднике для слаборазвитых европейцев. Все они, если не считать самых древних, из которых уже песок сыплется, и двух-трех ненормальных, стали учителями из тех же соображений, что и ты: короткий рабочий день и много свободного времени. И право на пенсию обеспечено. Одни только гаранты будущего чего стоят! Болваны, штурмующие высоты. Подмастерья со средним образованием: надежда нашего общества. Старику пришлось здорово попотеть, а молодая поросль приобщается к знаниям на ходу и в четвертом классе срочным порядком сдает экзамен на аттестат зрелости. Потом раза три сбегают в вечерний университет, встретят там снова своих учителей немецкого, физики и закона божьего, выслушают по одному докладу из области атомной философии, экзистенциальной физики и христианского авангардизма в Кумране, причем иногда всей этой чепухой занимается один какой-нибудь штудиенрат в отставке, да, а потом такой вот недотепа женится на тридцати тысячах марок, продвигается по службе и спасает Европу. Демократия! У нас ведь главное — крепко держаться в седле; впереди сильная личность, а позади хвост кометы из декоративных нулей. И при этом у них в шкафах еще хранятся остатки униформы конных штурмовиков. Образцовый демократ: Немитц! Когда ты с ним познакомился, он носил в кармане «Майн кампф» в переплете из свиной кожи с золотым обрезом и ездил по тылам вооружать ландзеров правильным мировоззрением, чтобы они не забывали крикнуть «Хайль Гитлер!», прежде чем под-

тереть задницу. И почему он вдруг решил утопить товарища Курафейского? Директива старика. Но почему? Впрочем, плевать...

— Хайль, камрады! Ну и вонь же здесь, как в обезьяньем питомнике!

— Хайль, господин Нонненрот!

— Сесть! Открыть учебники биологии: глава однадцатая, «Модификация». Читай, Курафейский!

— Кто-то стучит, господин Нонненрот!

— Войдите! Рота, встать! Равнение направо!

Дворник принес книгу приказов. Нонненрот прочел циркуляр и сказал:

— Вам везет больше, чем дозволено полицией, вы, кретины: в двенадцать педсовет.

Всеобщее веселье, суматоха, ликование.

— В чем дело? — вдруг рявкнул Нонненрот. — Почему орете, как стадо диких обезьян? На следующем уроке биологии будете у меня делать письменную работу! И капканов для вас наставлю, папуасы несчастные! Тиц, вынь руку из кармана!

Бекман понимающе ухмыльнулся, пожал протянутую Нонненротом руку, поблагодарил за сигарету и заковылял прочь.

— Всем сесть, да побыстрее! Чего тебе, Муль?

— У нас еще есть штрафное задание, господин Нонненрот!

— Конечно, как всегда. Тема?

— Критика взрослых.

— Ты что, спятил?

— Нет.

— Что ты себе позволяешь, ты, психически неполноценный пигмей?

— По телевизору об этом была дискуссия, и мы должны были написать о телепередаче, господин Нонненрот!

— По телевизору! Ты, видно, каждый вечер торчишь у экрана, вдыхаешь ароматы далекого большого мира, а? Смотри, чтобы тебе на пасху не вылететь в трубу. Что это была за дискуссия?

— Критика взрослых.

— Дискуссия?

— Да, дискуссия, ее вела молодежь обоего пола!

— Дискуссия! От одного слова воротит! В мои школьные годы никаких дискуссий не вели, тогда подчинялись.

Нонненрот спохватился и устало опустил в кресло.

— Ну, читай, Рулль! Шанко, Курафейский, Гукке, Клаусен, подать домашние тетради!

Рулль обменялся с Курафейским бесшумными сигналами, встал и, не выходя из-за парты, принялся неохотно и монотонно читать:

«Критика взрослых.

— Нет, а этот джаз! Когда мне было столько лет, сколько тебе, цивилизованный европеец постеснялся бы даже слушать этих классиков джунглей!

— Да ну! А как насчет чарльстона, который папаша так лихо отплясывает на вашей свадебной фотографии в семейном альбоме? Что говорил по этому поводу дедушка?

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, цивилизованный европеец постеснялся бы выделять эти идиотские прыжки, позаимствованные на диком Западе! Тогда танцевали вальс, венский вальс!

— Да ну! А что говорил по этому поводу прадедушка?

— Ну, хорошо. Но эта необузданность! Такого у нас не было! Тогда никто и ни за что не посмел бы ломать стулья! Целый зал, полный поломанных стульев, а ведь это государственная собственность! В наше время это было невозможно!

— Конечно, но вы, распевая хоралы и национальные гимны, отправлялись на войну! Прадедушка в 1870 году, дедушка в 1914 году. А папаша в 1939-м. Вы разбили вдребезги полмира — мы предпочитаем, уж если у нас руки чешутся, выломать ножки у стула. Их хоть можно потом приклеить обратно.

— Да, но эта детская преступность, несовершеннолетние главари банд...

— Спокойно! Не будем мелочными и отвлечемся от того, что прадедушка, дедушка и папаша при содействии своих сверстников отправили на тот свет столько же европейских христиан, сколько было их самих, то есть получается в среднем по убийству на нос; но отвлечемся от этих десятков миллионов убитых —

преодолевать прошлое вы все равно предоставили нам — и вернемся к нашей повседневности: кто снимает эти крими, вестерны, кто обрушивает на нас эти сексбомбы, которые нас развращают? Может, полузрелые стилиаги? Нет, вполне зрелые господа! Они неустанно заботятся о том, чтобы подрастающая смена потребителей поскорее обзавелась солидным жизненным опытом, а они сами обзавелись нашими монетами! А уж поскольку вы каждый вечер так аппетитно показываете нам, что можно иметь от этой сладкой жизни, — почему же и нам не захотеть обладать всем этим?

— Да, но в наше время отношения между полами были гораздо безобиднее, я бы сказал: чище!

— Хватит! Хватит! Надоело! От такой лжи волосы дыбом встают. У нас же есть глаза, и мы имели возможность познакомиться с содержимым книжных шкафов прадедушки, дедушки и папаши. Книжных шкафов и даже ящиков письменных столов с сувенирами из Парижа, припрятанными в самом дальнем углу, под семейными альбомами. Довольно! Уж не подрывайте и без того шаткую веру в правдивость ваших слов! Мы еще не начали кидаться грязью, зачем же вы спешите отмыться?

И потом, между нами: почему мы ходим во все эти погребки, где играет джаз, в бары-автоматы, на всякие вечеринки? Потому, что у нас нет дома. Потому, что в своем доме мы не чувствуем себя дома.

У вас больше нет для нас времени. Вам же надо делать деньги и потом отдыхать от своих утомительных дел, чтобы завтра суметь сделать еще больше денег! Ну, разумеется, для нас! Чтобы мы не приставали, вы откупаетесь деньгами от неприятной обязанности нас воспитывать. И предпочитаете подарить нам мопед, проигрыватель или десять марок на вечеринку.

У прадедушки был Железный крест первой степени. Он лежит на красной бархатной подушечке под стеклом. Прадедущка был примером для своего сына.

У дедушки был Железный крест первой степени. Он приколот к его фраку. Дедушка был примером для своего сына.

У папаши был Железный крест первой степени. Он валяется в коробке из-под конфет, под старыми шляпами. Папаша для своего сына не пример.

Я надеюсь, что у меня не будет Железного креста первой степени».

Нонненрот спокойно проверил последнюю тетрадь и сказал:

— Ну, кончил свою брехню? Радуйся, что я не слушал! Лабус, раздай-ка тетради! Ну и грязь: словно чумакая свинья приложилась. На чем мы остановились, Клаусен?

— Мы собирались читать учебник по биологии!

— Ах да, «Модификация». Что мы понимаем под модификацией, Фариан?

— Модификация — это изменения во внешнем виде растения, животного или человека, которые возникают под воздействием внешней среды.

— Ну ладно. Откройте главу одиннадцатую! Чего еще тебе, Петри?

— Можно читать?

— Я сам буду читать. Вы все запинаетесь, как готтентоты. Чтобы к следующему разу выучить все как следует, усекли?

Нонненрот уселся за кафедрой и принялся читать: «Модификация».

Этого не может быть. Не может же он просто сказать: «Радуйся, что я не слушал!» Он же должен был мне влить, да так, чтобы я своих не узнал! И потом он обязан был начать с нами разговор. Пускай бы он даже орал. Но отделаться, сказать: «Радуйся, что я не слушал!» — это же невероятно. И ведь это не я сочинил. Свое я отдал Курафейскому, он боялся, потому что Немитц задумал его провалить. Почему же Нонненрот ничего не говорит? Да они все просто оглохли. Утопающий может кричать сколько угодно — никто не поможет! Они ругают все, что есть сегодня; они крестятся от страха перед тем, что будет завтра, но они молчат, как могила, о том, что было вчера. Они умывают руки, они грозят, они лгут и снова молчат. Нет, мне придется сдаться. Они вообще не понимают, чего хотим мы. Это невероятно, но они этого действительно не понимают. Они так чудовищно тупы, ты можешь выть от тоски, они все равно не заметят, чего мы, собственно, хотим. Мы хотим настоящих учителей! Учителей, которых можно обо всем спросить.

И которые ответят. А этот Буйвол сидит за своей кафедрой, хвастается жизненным опытом, весь протух от безделья, хрюкает от удовольствия, что мы в его власти, и читает из учебника биологии о модификациях. «Учителя вроде этого вовсе не так уж плохи, — сказал Лорд. — У них я могу заниматься тем, что меня действительно интересует, и могу не опасаться каждую минуту, что мне помешают». Но если бы это зависело от меня, то весь класс бы взбунтовался! Открыто возмутился бы тем, что ему вот уже сколько лет каждое утро вместо уроков преподносят всякую ерунду. Надо поговорить с Грёневольдом. Как — уже звонок? Ведь только двенадцать. Ах, да, у них педсовет.

— Принеси-ка мне бутылку колы! Да поторопись, одна нога здесь, другая там! — сказал Нонненрот в коридоре.

— Я хотел у вас кое-что спросить.

Руль остановился на лестнице и посмотрел на зажатые в ладони тридцать пфеннигов.

— Мне некогда. Педсовет — ты же слышал!

— Я не задержу вас.

— Валяй, да побыстрей! — сказал Нонненрот на ходу. — Ну, выкладывай!

— Вы действительно не слышали, что я читал?

— Что я, Бетховен, что ли? Конечно, слышал!

— Да, но вы ничего не сказали!

— А что я должен был сказать? Ты поднабрался словечек от какого-то бунтаря-одиночки и теперь бьешь стекла в ратуше и хочешь изменить мир. Правильно я говорю?

— Это было не мое сочинение.

— Так я и думал. Я уже это где-то слышал!

— Но то же самое мог бы написать и я.

— Ну все равно тебе повезло! Парень, тридцать лет назад нас до тошноты накачивали Шиллером, Клейстом и Гельдерлином. Потом мы орали «Пора, камрады!» и «О святое сердце народов, отечество», и нам казалось, что это сочинили мы сами! А семнадцать парней из моего класса даже в братской могиле все орали: «Германия будет жить, даже если мы погибнем!»

— Да, но сейчас речь идет о...

— Знаю, знаю, приятель! Не думай, что мы, стари-



ки, все *mente captus*<sup>1</sup>. Но одно запомни: мир никогда не изменится. Он был, есть и будет дерьмо.

— Да, но так нельзя жить! — сказал Руль.

— Как?

— Ну, без чего-то, во что можно верить, что помогает человеку, ради чего стоит... — с трудом проговорил Руль. — Справедливость, гуманность, свобода — этому учили нас шесть лет. Не может же все это...

— А теперь вот что, Парцифаль, — сказал Нонненрот. — Кое-как дотяни здесь еще три недели, а потом забудь все это поскорее и становись продавцом автомобилей, маклером по продаже домов или монтируй холодильники!

— Но это...

— Это материализм в его западной форме. Здесь все друг друга пугают материализмом, чтобы успеть самим слизать сливки. А потом идут в храм и молятся: «Господи, не дай красному материализму завладеть нами! Сохрани нам черный!» Европа, христианство, принципы гуманности и милый, милый капитализм этого бы не пережили!

Руль пристально взглянул на Нонненрота.

— Да, но... — сказал он снова и посмотрел на отделанную под дуб дверь учительской.

— Что в жизни действительно имеет цену, парень, так это кошелек! Кошелек, и только кошелек. Все остальное — это отвлекающие маневры.

— Дерьмо, — сказал Руль и отвернулся.

Нонненрот снова засмеялся и открыл дверь.

— Тащи колу! — крикнул он. — Да похолоднее! Валяй!

Руль медленно поплелся дальше. На лестнице его обогнал Адлум.

— Пойдешь сегодня после обеда в бассейн?

— Нет. Мне надо поискать себе другую работу, — сказал Руль и потащился к выходу.

— Я поручил уважаемому коллеге Випенкату разработать новый школьный распорядок, — сказал Гнуц, перекаывая сигару между большим и указательным пальцами. — К сожалению, нельзя больше игнориро-

---

<sup>1</sup> Повредившиеся в уме (*латин.*).

вать тот факт, что положение с дисциплиной в нашей школе поистине катастрофическое! Мы, то есть педагогическая коллегия и я, вынуждены поэтому сильнее натянуть вожжи! Вам уже удалось создать комиссию для обсуждения этой жгучей проблемы, дорогой коллега?

— Очевидно, в комиссии будут сотрудничать господин Хюбенталь и, возможно, господин Грёневольд.

— Возможно?

— Именно возможно.

— Ну, хорошо. Буду ждать и надеяться, а вам, коллега Випенкатен, я был бы чрезвычайно признателен, если бы вы — ну, скажем, в течение двух недель — представили мне свои предложения. Так как большая школьная реформа, к нашему общему сожалению, я даже могу сказать, к нашему глубочайшему огорчению, заставляет себя ждать, давайте — я имею в виду каждого из вас в отдельности, господа, — давайте по крайней мере подвергнем школьный распорядок пересмотру и будем выполнять его, руководствуясь двумя главными принципами всякой педагогики: любовью и строгостью! Любовь и строгость в разумных пропорциях — это две колонны у входа в любую академию, в Афинах времен Платона или сегодня...

Гнуц вдруг запнулся, сердито стряхнул пепел со своей сигары, озадаченно посмотрел на безмолвного попугая и сказал подчеркнуто любезно:

— У нас же есть комната для учебных пособий!

— Мне этот бывший говорун нужен каждое утро для урока биологии, — сказал Нонненрот. — А Куддевёрде он нужен как модель для рисования. И потому нет никакого смысла таскать его каждый раз в чулан.

Гнуц великодушно махнул рукой.

— Ну, хорошо. Итак, вот все, что касается пересмотра школьного распорядка. Перейдем к пункту второму. В начале нашего заседания — собственно, я бы предпочел сказать: нашей встречи, но, пожалуйста, продолжайте вести протокол, коллега Матушат, — вы, очевидно, заметили, что я опоздал на несколько минут. Прошу извинить меня за это. Причина носит отнюдь не личный характер: я говорил по телефону с правительством. Как вам уже известно, каждой школе полагает-

ся из специального бюджета для усовершенствования и модернизации методов обучения тысяча марок, которые можно сразу же использовать. После, так сказать, установления личных контактов с ответственным референтом, мне удалось добиться, что мы — и здесь наша школа явится исключением — получим не тысячу, а полторы тысячи марок.

— Браво! — сказал Нонненрот.

— Я, со своей стороны, предлагаю купить на эти деньги телевизор.

— Неужели мы истратим на это полторы тысячи марок, господин директор? — спросил Харрах.

— Дорогой коллега, мы не должны ничего жалеть для наших детей.

Куддевёрде кивнул в знак согласия.

— А теперь *ad hominem*<sup>1</sup>. Господа, я имею удовольствие представить вам нашего нового коллегу, учителя английского языка и истории, преподавателя реального училища господина Йоттгримма!

Йоттгримм поднялся, застегнул пиджак и слегка поклонился во все стороны учительской.

— Я искренне рад, господин директор, что мне выпала честь трудиться вместе с вами и вашей педагогической коллегией на благо нашей молодежи, — сказал он.

Гнуц растроганно кивнул и продолжал:

— Господин коллега Йоттгримм до этого преподавал двенадцать лет в реальном училище в Дюссельдорфе. Он, так сказать, уже старый возница. Я думаю, его не надо учить, как управляться с лошадью. Кстати, если позволите упомянуть: в последней войне коллега Йоттгримм был офицером подводной лодки. Как он общил, он потопил много сотен тысяч брутто-тонн!

Йоттгримм с горделивой скромностью ответил на полдюжины восторженных взглядов.

— Я всегда считал, что в педагогической коллегии, которая стремится к полному согласию, необходима некоторая откровенность в частной сфере, контакт между людьми, — пояснил Гнуц. — Может быть, господин коллега Йоттгримм, вы будете столь любезны и расскажете нам, чтобы, так сказать, завершить церемонию вступления в должность, кое-что о вашей тогдашней

---

<sup>1</sup> О человеке (латин.).

деятельности? Я полагаю, это интересует всех нас, верно ведь, господа?

— О, это было так давно, — быстро сказал Йоттгримм и покраснел. — К тому же есть много причин, чтобы не воскрешать в памяти события тех лет.

В глазах присутствующих отразилось сочувствие или разочарование.

— Ну, мы, разумеется, не ждем, что вы развернете перед нами всю трагическую картину ваших походов на врага, — сказал Гнуц. — Есть раны, которые нельзя бередить: это понимает каждый. Но хотя бы одно из многих сохранившихся у вас воспоминаний — быть может, ту историю вашего неудавшегося, к сожалению, побега, историю, полную необыкновенных приключений, — что касается меня, я бы с удовольствием послушал ее еще раз. И я уверен, что среди членов коллегии вы найдете благодарных слушателей.

— Что ж, если господа коллеги действительно... — Натренированным взглядом Йоттгримм сразу уловил численное превосходство кивавших и начал: — После высадки союзников на полуострове Котантен — это было шестого июня сорок четвертого года — меня с моим экипажем перевели в морскую пехоту. Девятого июня мы попали в плен к американцам. А в порту Шербур еще находилось несколько наших подводных лодок. Вы, возможно, не знаете, господа, что перед самым концом войны мы так усовершенствовали свою технику, что, с одной стороны, могли действовать незаметно для вражеских радаров, а с другой стороны, со дня на день могли ожидать применения атомных торпед.

— Значит, все-таки они были!

— Да, так вот, сначала мы три дня вылеживали в нескольких километрах позади фронта на земле, под дождем. Есть было почти нечего.

— Крестовый поход!

— Так вот, однажды ночью — мерзли мы, как собаки, — я говорю моим людям: «Лагерь плохо охраняется. Американцы бросили всех на фронт. Смоемся!»

— Мы тоже так сделали, — сказал Хюбенталь. — А когда они нас схватили, черномазые отобрали наши обручальные кольца. У одного парня вместе с пальцем. Я видел своими глазами, господа. Штыком — вот так.

— И они еще разыгрывают из себя судей!

— Да вы только вспомните Дрезден. Вы бывали в Дрездене до войны?

— Да, так вот, я говорю своим людям: «Смоемся! Раздобудем «джип», до Шербура сплошь выжженная пустыня — посмотрим, может, удастся захватить лодку, камрады!»

— Но я об этом где-то читал, уважаемый коллега! — сказал Матцольф.

— Да, потом об этом писали во всех солдатских газетах. Дело в том, что мы действительно пробились до Шербура! И даже захватили лодку. Но потом...

— Покуда несут плавники, — сказал Нонненрот.

— Когда это было, господин Йоттгримм? — спросил Грёневольд.

— Это было девятого июня сорок четвертого года, в два часа сорок пять минут ночи. Мне кажется, что это было сегодня.

Грёневольд встал.

— Извините, пожалуйста, что я уже ухожу, — пробормотал он. — Я жду срочного известия.

— Я ведь не выдам секрета, — довольно сказал Гнуц. — Господин коллега Грёневольд после пасхи снова нас покидает.

— Это еще не решено окончательно, — сказал Грёневольд и подошел к вешалке.

Директор Гнуц ободряюще улыбнулся новому коллеге. Грёневольд поднял воротник пальто, бросил короткий взгляд в сторону Криспенховена и Виолата и попрощался.

#### IV

После полудня Рульь отправился в квартал, расположенный за главным вокзалом. Здесь с улиц словно была содрана маска всеобщего процветания. Здесь были трущобы, бараки и развалины. И где-то между ними затерялась детская площадка с дорожкой для катания на роликовых коньках и площадкой для минигольфа. Рульь остановился, положил руки на ограду небесно-голубого цвета и стал смотреть. Дети с ликующим упрямством

убивали друг друга наповал из своих посеребренных браунингов. На голливудской качалке сидела девушка лет двадцати, держа перед собой вытянутую ногу в гипсе, то и дело покрикивая: «Томас! Петра! Маркус! Габриела!» — и читала затрепанный роман.

— Не можете ли вы мне сказать, где здесь бордель? — спросил Руль.

Девушка посмотрела на него с бешенством и сказала:

— А ну убирайтесь сейчас же отсюда, свинья!

Руль сунул сжатые кулаки в карманы своей черной куртки и поплелся дальше по улице вдоль покрытых коростой фасадов. Он подошел к закусочной, купил бутылку колы, очень медленно выпил ее и зажег над вибрирующим пламенем газовой свечи сигарету. Выпрямившись, он увидел напротив, на углу улицы, первую проститутку.

— В пять, — сказал Затеми́н. — Тогда в церкви не будет столько народу. Мне еще надо подготовиться к письменной по математике.

Он заправил свой шейный платок в ворот куртки, провел щеткой по волосам и взял из шкафа молитвенник.

— Не забудь помолиться за свою мать, Хорсти!

— Ну конечно, дядя.

Жилой вагончик для дорожных рабочих стоял в конце наполовину вымощенной дороги, в желтом песке за поселком, расположенным в городском лесу. Шанко сел на цементную трубу и стал ждать. Он услышал, как забулькала в горлышке бутылки можжевелевая водка, увидел свет в замочной скважине и понял, что теперь Макс скоро начнет петь.

Она стояла на лестнице пивного бара, зевала и терлась спиной о стену. Длинные, до плеч, желтые крашенные волосы упали ей на лицо, когда она наклонилась и принялась рассматривать свою подметку; тыльной стороной ладони она откинула волосы назад, вы-

прямилась, сунула руку в карман своих коротких джинсов, повернулась к стеклянной двери и стала причесываться.

Руль заплатил за свою колу и пересек улицу. Проститутка обернулась, увидела, что он к ней подходит, спустилась, стуча каблуками, вниз по лестнице и пустила в ход свою подержанную улыбку.

— Нет, меня совсем не удивляет, что ты идешь на исповедь, — сказал Клаусен. — Ты знаешь так же хорошо, как и я, что нет ничего более страшного в жизни, чем лишиться божьей милости.

Камрады, мы видели мир большой,  
святые места и Париж ночной,  
мы в море плевали, в синь за кормой,  
у Ямайки душа уплыла с волной<sup>1</sup>, —

пел Макс слегка приглушённым, мощным баритоном.

Полбутылки, подумал Шанко. Больше он не выпил. Можно еще рискнуть.

Он встал, приложил голову к двери вагончика и постучал.

Руль плелся к ней, засунув руки еще глубже в карманы куртки, опустив голову; он видел только нижнюю ступеньку лестницы, на которой стояли в туфлях шоколадного цвета на высоких и тонких, как лезвие кинжала, каблуках белые ноги проститутки, без чулок, левая была согнута в коленке и отставлена под углом к правой; ступенька приблизилась к Рулю, зеленая, диабазовая, выщербленная ступенька, полная окурков; Руль увидел черную волосатую родинку на икре отставленной в сторону ноги; он попытался идти быстрее, но шел еще медленнее, зажав в губах погасшую сигарету, холодную и горькую; Руль скользнул через край воронки в середину водоворота, что-то тяжело и мягко закружилось в его теле, он сбоку придвинулся к поросшим черными волосами ногам, ощу-

---

<sup>1</sup> Перевод А. Исаевой.

тил острый запах окурков, духов, пота и пудры, в его сознание проник голос проститутки:

— Пойдешь со мной?

Затемин положил руки на багажник велосипеда Клаусена и сказал:

— Ты можешь мне коротко сформулировать различие между коммунизмом и христианством?

— Христианин думает: «Все мое — твое!» Коммунист: «Все твое — мое!»

— Тебе хотелось бы, чтобы они так думали? — сказал Затемин и засмеялся.

— Это не моя формулировка. Я слышал ее от патера Нейгауза.

— А капиталист думает: «Все твое — мое, а до моего тебе дела нет!» — сказал Затемин.

— Это ты сам придумал?

— Конечно!

— Капиталиста, к которому относится твоя фраза, сегодня вообще не существует!

— Где?

— Здесь у нас.

— Фраза третья спорна, — сказал Затемин. — Как и вторая. Полуправда, полуложь. Насквозь лжива только одна твоя фраза — первая.

— Первая? Почему?

— Если бы она была правильна, Пий, тогда ни вторая, ни третья не могли бы быть сказаны.

— Ты понимаешь эту мысль ложно. Это заповедь...

— Христианина, к которому она относится, больше не существует.

Клаусен поставил свой велосипед на стоянку возле церкви святого Антония.

— И все же ты идешь к исповеди, — сказал он.

Затемин посмотрел на него удивленно.

— Извини! — сказал Клаусен и пропустил Затемина вперед.

Они опустили руки в сосуд со святой водой.

Пение прекратилось.

Шанко постучал еще раз и тут же быстро отскочил на три шага назад. Дверь распахнулась от пинка. Макс, большой и спокойный, стоял на пороге.



— How much is it? <sup>1</sup>

— Хэлло, Джимми! — сказала проститутка, бросила на Рулля быстрый и холодный взгляд, спустилась, покачиваясь, с последней ступеньки и повисла у него на руке.

— Twenty marks for you, darling! Right?

— Yes.

— But without extravagances, you understand?

— Yes.

— Come on, baby! <sup>2</sup>

Руллер мелкой рысцей трусил рядом с ней, взбешенный от сознания, что стыдится; повернуть назад он стыдился тоже.

— Благословите меня, святой отец. Я согрешил.

— Да будет господь в твоём сердце и на твоих устах, чтобы ты исповедался в своей вине. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

— Сосунок! — сказал Макс и ухмыльнулся. — Я тут пропустил стаканчик.

— Ничего. Все равно уже шесть часов пробило.

На длинном костлявом лице сразу появилось выражение замкнутости.

— Заткнись, — сказал Макс. — Будешь дерзить, я тебе врежу как следует.

Он повернулся и поднялся в вагон. Шанко полез за ним.

Руллер стоял у окна возле маленького столика и ощущивал розы из пенопласта. Они были шершавые, податливые и липкие. Три пенопластовые розы: красная, белая и желтая с ноздреватыми листками на ядовито-зеленых стеблях, из которых торчала проволока.

---

<sup>1</sup> — Сколько? (англ.).

<sup>2</sup> — Двадцать марок для тебя, милый. Согласен?

— Да.

— Но без экстравагантностей, понятно?

— Да.

— Пошли, малыш! (англ.).

«У Хюбенталя точно такие же в машине», — подумал Руль и выглянул в окно.

По улице, ковыляя, прошла за угол хромая девушка. Одной рукой она тащила за собой маленького ревущего мальчишку, в другой держала свой истрепанный роман. Возчик, развозивший пиво, подождал, пока они пройдут, и вкатил в подвал бара две короткие пузатые бочки. Его ржаво-коричневый передник был насквозь мокрый. В этот момент Руль совершенно точно вспомнил, какой вкус у льда в кружке пива.

— Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti! Amen<sup>1</sup>.

— А почему ты не желаешь носить серо-черно-зелено-сине-коричневое почетное одеяние нации, сосунок?

— Ты ведь тоже смылся!

— По ту сторону зональной?

— Да. Из политических соображений.

— Говорят.

— Что?

Макс откусил кончик сигары, одной из тех, что принес Шанко, зажал в губах, потом покрутил, облизнул ее и пустил в ход свою универсальную зажигалку.

— Мог бы уж дать выпить, — сказал Шанко.

— Ни глотка, пока я здесь еще что-то значу.

— Почему?

— Я против водки.

— Но ты сам...

— Заткнись!

Шанко слегка отодвинулся на своем стуле и, покосившись, посмотрел на Макса поверх керосиновой лампы, но Макс сидел безучастно и холодно, глядя прямо перед собой.

— Твое здоровье, сосунок! — сказал он.

— Lets go, Jimmy! — сказала проститутка. — Time is money!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> — Отпускаю тебе грехи твои, именем отца, и сына, и святого духа! Аминь (латин.).

<sup>2</sup> — Начнем, Джимми! Время — деньги! (англ.).

Руль медленно повернулся. Проститутка лежала на кушетке. Парадные подушки она аккуратно переложила на стол. Она рассматривала свои ногти.

— There the elephant! <sup>1</sup>

Руль посмотрел на презерватив. Он лежал чистенький и нарядный в своей золотой фольге. «Проверено с помощью пневматических аппаратов!» — прочитал он. Он засмеялся клокочущим нервным смехом, передернулся и сказал, запинаясь от смеха:

— Give me a cigarette, please! <sup>2</sup>

Затемин вошел в боковой неф.

В часовне пресвятой девы стоял на коленях Клаусен. Затемин, прислонившись к колонне, смотрел на него. Четыре звука наполняли зал: шарканье шагов в исповедальне, слабое потрескивание мерцающих свечей, едва слышное постукивание перебираемых четок, бормотанье молящегося.

«Te Deum laudamus! Te Dominum confitemur» <sup>3</sup>.

Макс поднял бутылку, придвинул стакан к чадающей лампе и налил до последней отметки.

— Что значит: говорят! Я слышал, что ты участвовал в событиях семнадцатого июня? — спросил Шанко.

— Участвовал, сосунок. Твое здоровье!

— Будь здоров! — мрачно сказал Шанко.

— Но не с великомучениками. Эти еще только родились на Западе, когда те, другие, на Востоке подышали как преступники.

— С кем же ты был?

— С ребятами с дорожного строительства, которым хотелось утром лишний часок понежить свои усталые кости в постели.

— Последний раз ты рассказывал эту историю совсем по-другому!

— В следующий раз я расскажу ее опять по-другому, — сказал Макс.

— А что в ней правда?

— Я.

---

<sup>1</sup> — Вот слон (англ.).

<sup>2</sup> — Дай мне, пожалуйста, сигарету! (англ.).

<sup>3</sup> Тебя, бога, хвалим! В тебя, господа, веруем! (латин.).

Макс опрокинул в рот свою можжевелевую настойку и сжал стакан в руке, как орех.

Руль снял очки, положил голову между ее мягких, как губка, белых грудей и сказал:

— Как чудесно.

Проститутка натянула ему капюшон куртки на лицо и вздохнула:

— Всемогуший боже! Еще один чудака, который ищет чистую непорочную деву.

Затемин неподвижно стоял у колонны четверть часа и наблюдал за Клаусеном, который все еще молился сосредоточенно и серьезно. Потом он взял большую восковую свечу со столика, где они были выставлены для продажи, зажег ее и поставил к другим мерцающим свечам перед мадонной.

Клаусен поднял голову и улыбнулся.

Затемин отвернулся, снова подошел к столику, помедлил, сунул купюру в карман брюк и пошел к выходу.

— Значит, не хочешь в солдатчину?

— Нет!

— И ищешь дырку в сети?

— Да.

— Слушай! — сказал Макс. — Был однажды, еще при Адольфе, один человек, НГ — так его называли люди, которые пользовались его услугами.

— Что это значит — НГ?

— Не годен к военной службе. Никогда не слыхал?

— Нет.

— Смотри, услышишь, а уже поздно. Этого НГ, стало быть, мог нанять всякий, у кого было достаточно монет или кто был симпатичен этому НГ. Дело делалось так: когда клиенту, который не жаждал стать героем, наступало время идти на призывной пункт, он ненадолго переезжал в другой город, нанимал НГ и посылал его вместо себя на призывной пункт.

Этот НГ был гением по части болезней. Ни одному

из тех, кто давал путевки на тот свет, в голову не приходило записать НГ годным, а это тогда кое-что да значило. Если только НГ хотел, он на себя напускал все болезни, какие только знает мир, вплоть до родильной горячки.

Тридцать семь раз был НГ на комиссии и спас жизнь тридцати семи людям, которые не очень-то торопились умирать! Это составляет, если считать в среднем по двое законных и двое внебрачных детей на каждого, сто сорок восемь немцев по ту и по эту сторону железного занавеса, а если принять во внимание преобладающее количество женщин, то семьдесят два и ныне годных к военной службе немецких ландсера, то есть если закалькулировать количество населения здесь и там, получим пятьдесят четыре солдата бундесвера и восемнадцать солдат народной полиции, и если учесть последние данные о беженцах...

— Но ты же не станешь уверять, что твой НГ никогда не попадался!

— Однажды на него донесли.

— Разочарованный клиент?

— Идиот! У НГ не было разочарованных клиентов. Конкурирующая фирма.

— Ну и что дальше?

— И НГ взяли на фронт! В штрафную роту. Операция «Поездка на тот свет».

— Ну и?

— НГ, сосунок, это я.

Шанко встал.

— Все это сплошные враки.

— Но зато все это было бы правдой, если бы я лежал на Дону и надо мной цвели бы подсолнухи.

— Не понимаю.

— Где уж тебе понять! Иначе мне пришлось бы поделить с тобой последнюю водку, сосунок.

Шанко подошел к двери.

— Кончай морочить мне голову, Макс. Дело серьезное.

— Если серьезное, тогда скажи мне в двух словах, почему ты не желаешь надевать коричнево-красно-зелено-сине-черно-желто-серое в клеточку почетное одеяние нации!

Макс поднялся с места, маршируя, прошел по вагончику и взял бутылку, как ружье, на караул.

— Перед смертью самой не отступит назад, настоящий мужчина — только солдат! — проревел он.

— Не желаю, потому что мне совесть не позволяет, — сказал Шанко.

Макс поперхнулся, отвел бутылку ото рта и посмотрел на Шанко отсутствующим взглядом.

— Что не позволяет?

— Совесть.

Макс опустил на скамейку и сказал:

— Поцелуй меня в задницу! Это единственная болезнь, которую не придумывал себе НГ.

— Но в конституции, параграф...

— Послушай, сосунок: есть только одна причина, по которой я отослал бы тебя на родину, причем немедленно!

— И эта причина?

— Трусость.

— Ты что, ненормальный?

— Послушай, пойдя к ним и скажи: «Товарищ по несчастью, господин агент по найму героев, я слишком труслив, чтобы даже думать о войне, не говоря уже о том, чтобы проходить военное обучение. Дело в том, что я многое повидал: во-первых... нет, вы же ничего не видели, — заорал Макс. — Ни ты, ни твой агент! Ничего!»

Она пошарила рукой на столике и нащупала горящую сигарету в пепельнице.

— Ты слишком хороша для этой работы, — пробормотал Руль.

Проститутка оттолкнула его и начала натягивать чулки.

— Чепуха на постном масле! — сказала она. — Ты ошибся номером. А теперь отчаливай!

«Если бы в последний момент все же удалось реформировать христианские церкви, — думал Затемин, — дорога, по которой идут коммунисты, наверное, наполовину бы опустела».

Сидя на скамейке у реки, он увидел, как Клаусен выходит из церкви и медленно пересекает бульвар.

— Эй! — крикнул Затемин и поднял руку.

Клаусен прищурил близорукие глаза, свернул с дороги и направился к скамье.

— Посиди немного, — сказал Затемин. — Я хочу сказать тебе, какое основное возражение вызывает великий эксперимент на Востоке: цель, требующая несправедливых средств, не может быть справедливой целью.

— Это хорошая мысль.

— Даже если она ставит на ноги истину, которую иезуиты поставили на голову?

— Иезуиты никогда не утверждали, что цель оправдывает средства! — сказал Клаусен. — Это клевета, причем клевета протестантского происхождения.

— Ну, о клевете мы не будем спорить, Пий!

— Там можно жить, — сказал Макс. — Если ты сохранишь голову. Наверху, разумеется. Но не слишком высоко.

— Это не так уж много.

— Как сказать!

Макс положил руки прямо перед собой на стол и растопырил пальцы. Потом сжал кулаки.

— Послушай, сосунок: одному человеку однажды пришлось расчищать снег на шоссе, в Польше, вместе с несколькими парнями, в четыре утра. Потом парни пошли в расположение своей части, шоссе было пусто, а тот уселся один за сугробом и стал ждать, что будет с двадцатью тремя поляками, которые стояли за баракком. Те подошли к шоссе, удивились, что оно расчищено без них. «Бог знает почему, а я не знаю», — подумал тот, один, за сугробом, посмотрел на машину, которая выехала из гаража, МЕ-109, при этом он так же мало ждал хорошего, как и двадцать три поляка, которые вдруг стали орать, и действительно: ни один из них не сохранил головы на плечах!

— Что это были за поляки? — спросил Шанко.

— Поляки.

— А немцы в МЕ-109?

— Немцы.

— Я не о том!

— А в остальном, я думаю, между ними не было разницы.

Шанко взял стакан Макса и выпил одним глотком.

- Будь здоров! — сказал Макс.
- Почему же они не нагнулись? — спросил Шанко.
- Кто?
- Поляки.
- Потому что у них в заднице были колья, на которых им приходилось сидеть!
- Свиньи!
- Кто?
- Эти нацисты.
- С ними можно было жить. Только надо было иметь голову. Но не держать ее слишком высоко.
- Эта история — правда?
- Такая же правда, как то, что я мертв.

Проститутка натянула чулки, села у туалетного столика, взяла щетку для волос, опять положила на столик и набросила сверху халат.

Она порылась в своей сумочке.

— Вот тебе десять монет обратно, — сказала она. — Разделим затраты пополам.

Руль смял в кулаке бумажку.

— Till we meet again! <sup>1</sup> — сказал он и поплелся к двери.

— Shut up, baby! <sup>2</sup>

Только теперь Руль увидел, что она старше, чем его мать.

— Ну мне пора домой! — сказал Клаусен. — Твои аргументы...

— Контраргументы!

— Контраргументы я тоже должен сначала как следует обдумать.

— Я могу тебе предоставить целый натовский арсенал, полный идеологического оружия против Востока, — сказал Затемин и посмотрел мимо Клаусена на байдарку, которая плыла вниз по реке. — Кстати, выражение, которое тебе так понравилось, принадлежит Карлу Марксу.

— Цель, требующая несправедливых средств...

---

<sup>1</sup> — До новой встречи!

<sup>2</sup> — Проваливай, малыш! (англ.).



— Не может быть справедливой целью! Да.

Клаусен покачал головой и медленно пошел по бульвару домой. Затемин остался сидеть у реки.

— Но ты же из Берлина, Макс?

— Так точно.

— И все-таки...

— И все-таки я предпочитаю быть поделенным, но живым, чем воссоединенным, но мертвым.

— Мне надо отчаливать, — сказал Шанко.

— Пошли как-нибудь открытку с Плетцензее.

— Может быть.

Шанко вылез из вагончика и тяжело зашагал по обочине шоссе к городу.

Позади него приглушенным, мощным баритоном снова запел Макс.

Руль остановился на перекрестке, застряв в плотной человеческой грозди, *street-corner society*<sup>1</sup>, это были главным образом взрослые, они толпились на тротуаре, запрокинув головы, лица, словно после сигнала тревоги.

Плакат висел так, что был виден всем, большой плакат, три на пять метров, на высоте второго этажа, в деревянной раме, прибитой к стене. Лестница, на которой стоял художник, качалась, но это только придавало ему вдохновения, он был в ударе, его кисть, исполненная фантазии, словно заводная, металась взад-вперед по полотну, слева на тротуар капала черная краска, справа на тротуар капала красная краска: ошарашенные зеваки отступали назад.

— «И после плахи», — прочитал Руль красную сочащуюся надпись наверху; потом посмотрел на плаху, черную колоду для рубки дров, на которой лежала отделенная голова, и из обрубка шеи фонтаном била сильная струя крови; посмотрел на геркулесову руку палача с топором мясника; «поможет», — писал художник заклинающей черной краской, — «электрическая няня фирмы Миллер!» Руль затрусил дальше, слыша позади себя хохот, вздохи, болтовню. Руль спустился в подземный переход. Руль снова выбрался на

---

<sup>1</sup> Общество на углу улицы (англ.).

свет. Руль пошел по Моцарталлее. Руль купил в киоске возле общественной уборной пачку жевательной резинки. Руль насвистывал.

Гегельштрассе, словно широкий, заасфальтированный конвейер, бежала под его ногами в противоположную сторону. Грёневольд не продвигался вперед: он маршировал по сцене, декорации справа оставались все те же: вильгельмовский ампи́р, обнаженная фигура Германии, с нами бог, год тысяча девятьсот тринадцатый. Декорации слева оставались все те же: классика времен процветания, фасады из алюминия, стекло и бетон, бог без нас, год тысяча девятьсот шестьдесят третий. Справа эпоха грюндерства, слева эпоха грюндерства, улица разделена бомбами ровно на две эпохи, между которыми течет поток машин. Грёневольд остановился, прислонился к стене дома, словно ощущая некую тягостную точку плавления действительности; пространство и время потеряли реальность, стали условными, как на сцене: призрачные, иллюзорные и замкнутые.

Подошел автобус, остановился. Грёневольд влез последним, стал в дверях у выхода.

«Двадцать пять лет назад, — думал он и смотрел на тяжелое, отдающее синевой мясистое лицо водителя, — что бы ты сделал двадцать пять лет назад, если бы перед тобой вот здесь, в автобусе, стоял мой отец с желтой звездой? Что бы ты сделал тогда?»

Грёневольд сунул правую руку во внутренний карман пиджака и ощутил кончиками пальцев глянцеви́тую, вселяющую чувство уверенности бумагу визы.

Он протиснулся ближе к двери, перевел взгляд: в заднем зеркале плыло лицо девушки, юное, чистое, улыбающееся непонятной улыбкой.

«А что ты сделаешь, если вдруг над тобой в громкоговорителе властный голос объявит, что в этой жизни, в этой стране, в этом городе, в этом автобусе нет места для евреев, или негров, или для христиан, или для коммунистов? Что ты сможешь сделать?»

По радио передавали известия. Водитель был недоволен тем, что творилось в мире, и переключил на другую станцию: *human memory is short*<sup>1</sup>... три католиче-

---

<sup>1</sup> У людей короткая память (англ.).

ских священника отправились со спасательной командой в шахту... радарные аппараты для слепых... *bien des Françaises et des Algériens s'irritent*<sup>1</sup>... как необходимо было, чтобы федеральный канцлер вызвал министра обороны из отпуска в Бонн... Шлягер номер один в Таиланде в настоящее время... Здоровое, естественное, чистое... Лондон разочаровался в Марии Каллас... Талейраны с неба не падают... *L'homme est la seule créature parlante*<sup>2</sup>. Но господь хранит верность, братья мои... В эпоху барокко труды Галилея, Кеплера, Декарта, Хьюгенса, Герике, Лейбница и Ньютона... Когда на углах поджарится олений филей... Сейчас вы услышите *Concerto grosso in F-Dur*<sup>3</sup>... Розничная торговля считает его требование... *I tacchi sono troppo alto*<sup>4</sup>... Кубический метр воды стоит от тридцати пяти до пятидесяти пфеннигов на... *human memory is short*...

Автобус остановился. Грёневольд вышел. И тут он увидел Рулля и девушку.

Девушка стояла у каштана, согнувшись, и ковыряла прутиком в колесе своего велосипеда — у него соскочила цепь. Прут сломался, девушка растерялась. Руллер поставил велосипед на седло, опустил на колени, кое-как надел цепь на шестерню, спрятал свои измазанные маслом руки за спиной.

Девушка облегченно вздохнула, улыбнулась, взялась за руль, нажала на левую педаль, одернула юбку. «Спасибо», — сказала девушка, взобралась на седло и поехала в город.

Руллер сунул перепачканные руки в карманы джинсов, потом снова взял в рот жевательную резинку, зашвистел и качающейся походкой, подняв левое плечо, пошел вниз по аллее.

Только когда Грёневольд повернул ключ в своей двери и увидел внезапно появившегося Рулля, только тогда он, охваченный какой-то странной вибрирующей болью, пришел в себя; но тягостная правда давила на него, словно гряда пепла.

<sup>1</sup> Многие французы и алжирцы возмущаются (*франц.*).

<sup>2</sup> Человек — единственное говорящее существо (*франц.*).

<sup>3</sup> Большой концерт фа-мажор (*итал.*).

<sup>4</sup> Каблуки слишком высокие (*итал.*).

— Входи! — сказал он.

— Вот, принес вам, — сказал Руль, поставил на стол бутылку и положил рядом пластинку.

Грёневольд сидел на кушетке еще в пальто. Он не слушал Рулля.

— Я сегодня заработал, — сказал Руль и разразился своим похожим на ржание смехом.

Грёневольд посмотрел на него отсутствующим взглядом.

— В ящике на кухне есть штопор, — сказал он наконец. — Стаканы в шкафу.

Он услышал, как Руль открывает бутылку, снял пальто, хотел повесить его на вешалку, но тут же сел снова и положил пальто на спинку кресла.

Руль вернулся из кухни, поставил бутылку и стаканы на столик возле кушетки и спросил:

— Можно поставить пластинку?

— Да, пожалуйста.

— Go down, Moses...

Грёневольд быстро опустошил свой стакан, наполнил снова и снова выпил.

— Вам нехорошо? — спросил Руль.

— Нет, ничего.

Руль расхаживал вдоль книжных полок.

— Скажите что-нибудь хорошее о Федеративной республике!

— Что? — рассеянно спросил Грёневольд.

— О Федеративной республике. Или о ней нельзя сказать ничего хорошего?

Грёневольд поднял звукозаписывающую аппаратуру.

— На другой стороне...

— Нет, оставь, я бы хотел послушать это еще раз.

— Go down, Moses, go down in Egyptland...<sup>1</sup>

— Почему же! — сказал Грёневольд. — Много можно сказать. Много хорошего.

— Что?

Грёневольд снял очки, сомкнул веки и потер виски.

Руль сел в кресло напротив Грёневольда, внимательно посмотрел на него, положил руки на подлокотники и сказал:

— Можно, я прочту вам одну историю?

— Сочиненную тобой?

---

<sup>1</sup> Иди, Моисей, иди в Египет... (англ.).

— Да.

— Хорошо, прочти!

Руль вытащил из своего свитера два скомканных листка, положил их на стол, разгладил кулаком, перевернул, не находя начала, и, наконец, начал читать тихим, жестким, сухим голосом:

— «Я был новичком в классе и еще не бывал на уроках штудиенрата Шварца. Когда он вошел в класс, было шумно. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ты новенький, не так ли? Я сразу вижу, ты не годишься даже на фарш! Ты глупый булочник-подмастерье!

Я ответил, что он ведь меня совсем не знает. Это подло — говорить, что я не гоюсь даже на фарш, и он должен мне объяснить, почему я глупый булочник-подмастерье.

— Что, ты еще мне дерзишь! — заорал на меня штудиенрат Шварц. — Ну-ка выйди за дверь!

За дверью наши глаза встретились. Его были зеленые и моргали. Потом он стал бить меня по лицу. Он делал это неуверенно и неточно. Я не плакал. Удары становились сильнее, я споткнулся и упал. Штудиенрат Шварц прижал меня коленями и стал колотить по спине. Я все еще не плакал, потому что удары пока были не сильными. Я пытался заглянуть ему в лицо, но это мне не удавалось. Мне было его жаль, потому что он был человеком, который бьет кулаком по столу, но столу не делается больно, а человек ранит себе руку. Штудиенрат Шварц бил меня очень долго. Я не знаю, длилось это четверть часа, или несколько минут, или просто несколько секунд. Вдруг он с ухмылкой посмотрел на меня и сообщил, что бить учеников запрещается. Пусть я только попробую донести на него. Я сел на ступеньку лестницы и заплакал.

Штудиенрат Шварц как раз собирался вернуться в класс, но тут он увидел, что я плачу. Он подошел ко мне и посмотрел на меня. Теперь я заметил, что он гораздо меньше меня ростом. Его лицо было потным и мясистым. Из зеленых, мигающих глаз лились слезы. Он сказал, что я могу четыре недели не делать уроков по его предмету.

Позднее один из моих одноклассников рассказал мне, что штудиенрат Шварц всем новеньким говорит: «Ты не годишься даже на фарш!»

Но никто до сих пор не решался ответить ему».

— Неплохо, — сказал Грёневольд.

— В самом деле? Вы действительно так считаете?

— Да. Но...

— Но?

— Несколько странно.

— Странно?

— Да.

Руль снова спрятал листки под свитер.

— Это с тобой случилось? — спросил Грёневольд.

— Это случается почти с каждым в классе. Почти с каждым в школе.

— У одного и того же учителя?

— Почти у всех!

— Извини: я не верю.

— Почему?

— Эти времена прошли. Я не могу представить...

— Вчера точно так разделались с Гукке. Сегодня с Курафейским.

— Избили?

— Нет. Да дело и не в этом, это не самое страшное. Но то, что в школе каждый неудачник может стать жертвой каждого удачливого, — это чертовская несправедливость, господин Грёневольд!

— У тебя случайно нет сигареты? — спросил Грёневольд.

— Вот, пожалуйста.

— Спасибо.

Руль подошел к вешалке и взял свою трубку.

— Можно?

— Да.

— Школа — это же просто питомник, где разводят хомяков! — сказал Руль. — Чему нас хотят научить? Только одному: чтобы мы пополняли армию удачливых, чтобы мы стали первоклассными инженерами, первоклассными избирателями, первоклассными делателями денег! Кто всю эту науку быстро схватывает и старается применить на практике, господин Грёневольд, тот хороший, приятный ученик. И он станет хорошим, приятным гражданином! Он деловой человек, он умеет бить быка за рога! Как стать удачливым — вот чему учат в школе. А если какой-то простака, вроде Гукке или Нусбаума, этого не умеет, то никто не спрашивает: а может быть, у него есть другие качества, может быть, это хо-

роший друг, на которого можно положиться, или просто честный трудяга? Нет, с ним рано или поздно раз-  
делаются — и на свалку его, в утиль.

— В одном по крайней мере, в одном ты очень не прав, Руль. Ты считаешь, что школа не осознает всей сложности этой проблемы. Но это же не так! Конечно, каждый учитель должен как следует обучить ученика своему предмету, информировать его в своей области как можно лучше, но тогда...

— Если бы они хоть это умели, господин Грёневольд! Вы себе даже не представляете, до чего недалекие люди многие учителя! И за последние тридцать лет у них знаний не прибавилось.

Грёневольд покачал головой и протестующе поднял руки, потом рассмеялся, но так ничего и не возразил.

— А самое ужасное, что они буквально затапывают человека в грязь! Как недавно Мицката. У нас было домашнее сочинение по пьесе «За дверью»<sup>1</sup>. Я ему помог немножко. И ему поставили кол. Мицкат подошел к Немитцу и спрашивает: «Господин доктор Немитц, извините, пожалуйста: почему мне за сочинение единица?» Тогда доктор Немитц говорит: «Садись!» — и продолжает читать «АДЦ». «Но, господин доктор, мне бы очень хотелось знать, почему мне за сочинение единица!» Тогда Немитц его записал в журнал и выгнал!

Я считаю, что это подло, господин Грёневольд! Сочинение, наверное, было плохое, но он должен был сказать Мицкату, чем оно плохо. Иначе нельзя. А я был его единственным другом. Я знаю, как старался Мицкат, когда писал это сочинение, и как переживал, что у него ничего не вышло.

Грёневольд встал и открыл окно.

— Конечно, я веду себя дерзко и неуважительно, — сказал Руль.

— Нет.

— Вы можете меня выгнать, господин Грёневольд, но я должен вам это сказать. Кроме вас, господина Криспенховена и господина Виолата, нас ведь никто не слушает. Остальные слушают только самих себя. Это ужасно, вы понимаете?

— Да.

---

<sup>1</sup> Известная антивоенная пьеса Вольфганга Борхерта.

— И потом за четыре недели до получения выпускного свидетельства, подтверждающего нашу так называемую «зрелость», они вдруг приходят и начинают нас просвещать. Появляются два священника — католик и протестант, появляется окружной попечитель молодежи, появляются старший советник медицины вместе с учителем биологии и быстренько сообщают нам великую новость, как старики произвели нас на свет. А чтобы все это нас не слишком увлекло, нам показывают снимок влагалища крупным планом. Вид снизу, да еще с сифилитическими гнойниками. Вот так нас просвещают, господин Грёневольд! Остерегайтесь и всегда верьте в господа бога — вот примерно и вся религия, которую мы здесь постигаем!

Вы думаете, в нашем классе, кроме Клаусена, который фанатически верует, и Затемина, который фанатически не верует, и, может быть, еще Адлума, есть хоть один человек, который знает, что такое христианство? Мы хотели бы во что-нибудь верить, мы только не знаем как. Ведь на уроках закона божьего мы учили главным образом двенадцатистрофные песнопения и изречения из библии и кое-что из истории церкви, часть класса — евангелической, часть — католической.

— Одной христианской добродетели, пожалуй, самой великой, у тебя определенно нет, — сказал Грёневольд и наполнил свою рюмку. — Снисхождения! Снисхождения к своим учителям. Нам это очень нужно!

— Да, но представьте себя на нашем месте, господин Грёневольд. Мы ведь действительно ничего не знаем. Мы входим в жизнь как первобытные люди. С нами можно делать что угодно. Например, в смысле политики: ведь до тех пор, пока вы не пришли, мы вообще не имели представления, откуда ветер дует! Мы только и годимся на то, чтобы нас, словно скотину, гнали к избирательным урнам! Или заставляли маршировать в красных, черных или коричневых колоннах. А в истории искусств? Один учитель застрял где-то на Гансе Тома, а для другого существует только Матье, потому что он как-то видел его в Париже. А по физике...

— Хватит, — сказал Грёневольд. — Только не становись одержимым, Руль! Этим ты ничего не добьешься. И учти вот что: к справедливому возмущению многими непорядками в школе ты добавляешь собственную несправедливость, ты оперируешь вывернутыми наиз-



нанку аргументами, выстреливаешь ими, словно из пушки.

— Господин Грёневольд, вы не знаете, как это ужасно, чувствовать себя такими одинокими! — сказал Рулль и пригладил волосы.

— Нет, Рулль. Я думаю, что во многом тебя понимаю. И мы поговорим об этом с другими ребятами тоже, в кружке и на уроке. И я попытаюсь заговорить об этом на следующем педсовете, изложить свою критику и свои предложения. Изменить что-то. Я все еще в это верю. Но мы натолкнемся на одну фразу, одну невероятно живучую фразу, затасканную, но искреннюю: все они хотят вам добра. Родители, учителя, все, кто вас воспитывает. Все они хотят добра. Сколько трагедий — больших и малых — связано с этими словами.

Рулль выколотил трубку и сказал:

— Все, что с нами происходит, мне напоминает больницу. Вы когда-нибудь лежали в большой палате?

— Да.

— Там есть новички, которые и рта не смеют раскрыть, и старички, которые лежат уже давно. От них спасу нет, они задают тон. Но постепенно новички начинают понимать, что и эти тоже не играют никакой роли, что они тоже всего-навсего больные; в лучшем случае — просто кальфакторы. Роли они, безусловно, не играют. Только хвастаются своим опытом. Да, есть еще в отделении один-два врача, которые помогают, как могут, дают, что имеют, только имеют они не очень-то много; это еще не настоящие врачи, только ассистенты. Ассистенты заведующего отделением. Этот может помочь по-настоящему и помогает действительно, у него есть что дать больным, и он дает: но только уколы или что-нибудь в этом роде. Ему чего-то не хватает, он уже слишком долго не лежал сам в большой палате, он уже слишком продвинулся на пути к посту главного врача. Вы понимаете? Он прячется за своими знаниями, интеллигентностью, иронией. Но чего-то ему не хватает, и нам в нем чего-то не хватает тоже, в таком человеке — особенно.

Грёневольд напряженно, с горьким вниманием вглядывался в Рулля.

— Чего же именно? — спросил он.

— Господин Грёневольд, это ведь просто наглость, — сказал Рулль, — что я сижу здесь и...

— Нет! Ты хотел мне сказать, чего же недостает этому врачу.

— Дорогой господин Грёневольд, если бы я только мог выразить, что думаю! Но я не умею находить точных выражений.

— Вполне умеешь.

— Так вот, этот заведующий отделением, он никогда не говорит, что думает. Он всегда говорит только то, что, как ему известно, думают другие. Своего не хватает, собственной точки зрения, вы понимаете? Все это как у художника-фальсификатора, который владеет всеми стилями, но не нашел собственного.

— Ни к чему не обязывает, — сказал Грёневольд.

— Совершенно точно. Это ни к чему не обязывает.

Руль съехался в кресле.

— Не думай, Руль, что учителю всегда все ясно, что у него на все есть готовое решение, — сказал Грёневольд. — Не обижайся на меня, но я еще не знаю, что тебе ответить. День был довольно тяжелый.

— У меня тоже был не очень легкий, — сказал Руль. — Пожалуйста, скажите только еще что-нибудь хорошее!

Грёневольд отвернулся и взял в руку бутылку.

— Столько хорошего, сколько тебе хотелось бы слышать, я не знаю, — сказал он.

Руль встал, подошел к книжным полкам и взял с полки коробку. Плоский черный футляр, в котором под стеклянной крышкой лежал Железный крест первой степени. Руль внимательно посмотрел на него и залился своим раскатистым, похожим на ржание смехом.

— Положи на место! — сурово сказал Грёневольд.

— Простите!

Грёневольд не ответил. Руль поставил коробку на место и опустился в кресло.

— Скажите еще что-нибудь о Федеративной республике. Что-нибудь хорошее! Почему здесь надо жить, — сказал он неуверенно.

— Попытайся хоть раз сформулировать, что ты имеешь против нее!

— Я считаю, то, что я сказал о школе, относится не только к школе. В деталях — да, но не в главном. И я считаю: школа типична для всей Федеративной республики!

Грёневольд сказал:

— Это как-то не очень ясно.

— Но, дорогой господин Грёневольд, здесь ведь тоже расправляются с теми, кому не везет, то есть общество расправляется с ними, бойкотирует их! Только удачей, только удачей они определяют цену человека, его достоинство. А удачу они меряют по кошельку. Есть у тебя деньги, значит ты удачлив, чего-то стоишь.

Грёневольд засмеялся.

— Возьмите хотя бы хромого Вебера — двадцать лет от него все в городе старались избавиться, как от фальшивого пятака. Был никчемный и никому не нужный бродяга. Каждый норовил обдурить его, поиздеваться над ним. Слово он родился только для того, чтобы те, кто рядом, могли убедиться в собственной нормальности!

Грёневольд подошел к буфету, налил себе стакан минеральной и запил таблетку.

— Не кричи так, — сказал он.

Руль замолчал, но только на секунду.

— Да, а теперь он выиграл в лотерею и строит новый дом. И вот он уже уважаемый человек — ведь у него есть «мерседес» и он строит дом!

— А может быть, не только за то, что он строит дом и у него есть машина, Руль?

— Не машина, а «мерседес»! Именно «мерседес». Если бы у него был «фольксваген», его уважали бы в половину меньше.

— Может быть, все же и за то, что он не швыряет свои деньги на ветер, Руль! Здесь, в этой стране, у людей есть здоровое стремление к деловитости.

— Ах, не понимаете вы меня, господин Грёневольд! Престиж и приличие — вот о чем идет речь. «Надо соблюдать внешние приличия!» — любимое выражение господина Гodelунда. Как я ненавижу эти слова! Целых семь лет я слышу их здесь...

— Шесть, Руль.

— Нет, семь! Я же оставался на второй год.

— Почему?

— По глупости. Семь лет я непрерывно слышу: «Надо соблюдать внешние приличия». Вот и получается: внешняя видимость морали. Внешняя видимость гуманности. Видимость христианства. Видимость культуры. Единственно, что не является видимостью, это деньги,

господин Грёневольд! Деньги, которые приходят вслед за удачей; они одни принимаются во внимание. Здесь это единственная валюта, которой оцениваются люди, с которой они считаются.

— Ты думаешь, в какой-нибудь другой стране дело обстоит по-другому? — спросил Грёневольд.

— Дорогой господин Грёневольд, два года назад я поехал во время летних каникул в Грецию, в самую глубь страны. В прошлом году я отправился в Ирландию — там это было не так. Какой-нибудь бедный трудяга там тоже человек, а не изгой, и его принимают как равного на каком-нибудь празднике или там еще где-нибудь. Он тоже получает что-то от жизни, не только это мерзкое сочувствие. Вы понимаете, там само собой разумеется, что люди его не отвергают, хоть он и неудачник и ему нечем козырнуть!

— Это бедные народы...

— Тогда лучше бы мы тоже были бедные.

— Ты знаешь, чего бы мы тогда хотели, Руль? Снедаемые честолюбием и завистью, мы хотели бы одного, и как можно скорее: быть удачливыми и солидными, как немцы в Федеративной республике, то есть как мы!

Руль с досадой посмотрел на Грёневольда, налил себе еще полстакана вина, выпил и сказал:

— Да, тогда я, пожалуй, двинусь.

Грёневольд усадил его обратно в кресло.

— Что тебе не понравилось в моем ответе, Руль? Руль вскочил.

— Можно мне еще раз поставить «Go down, Moses»? Грёневольд кивнул.

Руль поставил пластинку, сжался в своем кресле и принялся покусывать кончик трубки.

— Вы теперь тоже уклоняетесь от ответа, — буркнул он.

— Ты еще не договорил.

«Go down, Moses, go down in Egyptland! Tell old pharaoh: «Let my people go!...»<sup>1</sup>

— Есть у вас клочок бумаги? — спросил Руль.

— Вот!

Пока пластинка прокручивалась, Руль яростно царапал на бумаге какие-то фразы.

---

<sup>1</sup> Иди же, Моисей, иди в Египет! Скажи старому фараону: «Пусть мой народ идет!...» (англ.).

Потом он сказал:

— Жизнь здесь похожа на сплошную пьянку: все словно пьянеют от работы! Здесь нельзя быть неудачником. Поражение и потерпевших поражение здесь не любят. Кроме того, я считаю ужасным, что никто не старается помочь другому, поддержать слабого. Каждый норовит использовать свои преимущества, обойти другого. Совершая какой-то поступок, люди спрашивают себя: «А что на этом можно заработать?» И все их самосознание зиждется на уверенности в том, что другой — это дерьмо. Каждый радуется, что он лучше! Нет ничего, ради чего стоило бы стараться всем вместе. Сегодня человек, отдельный человек — как мне кажется, господин Грёневольд — ничего не значит. Если он один, ему крышка! Решает общность. Стремление людей к коллективному труду. Вот такая общность — это коммунизм. Это по крайней мере что-то!

— Что именно? — спросил Грёневольд.

— Да, может быть, то, что они сейчас делают там на Востоке, — это плохо. Но в социализме, в социалистической общности людей что-то есть, господин Грёневольд!

— Я только не совсем понимаю, Руль, почему ты ищешь эту свою общность именно на Востоке?

— Господин Грёневольд, здесь я должен работать на фирму. Чтобы она могла построить еще одну фирму!

— А там?

— Там я мог бы, например, строить дороги. Пусть бы это было для... ах, дерьмо, до чего банально!

— Ну скажи же!

— Я одно время выписывал себе такой журнал о строительстве шоссейных дорог — на Востоке издают. Там было сказано: «Мы строим для мирной жизни!»

— И ты веришь, что это действительно так?

— Я не знаю. Самое ужасное, господин Грёневольд, что кругом неправда. Здесь неправда и там неправда.

— Руль, и тем не менее ты не можешь — хотя это было бы для тебя проще и легче — даже на миг поверить: там строят дороги для мира, а здесь их строят для войны. Или наоборот. Это просто неправда, Руль.

— Да, но так ужасно, что мы не можем быть за что-то, а только против чего-то! Быть за Федеративную республику не потому, что любишь Федеративную республику, а потому, что не любишь ГДР.

— Это только наполовину правда, — сказал Грёневольд.

Руль уже не слушал.

— Я как-то читал одну книгу о Федеративной республике, — сказал он. — «Страна без мечты». Это неправда. Все они мечтают об одном, все видят одни и те же сны: заработать — построить дом — купить «мерседес» — поехать на Коста Брера. Но должны же они когда-нибудь пробудиться.

— Я вот о чем подумал, — сказал Грёневольд. — Кроме Германии, я довольно хорошо изучил еще Швейцарию и Соединенные Штаты: если бы я не знал, что ты говоришь о ФРГ, то все, что ты сказал, могло бы относиться и к другим странам.

— Но отвратительнее всего Федеративная республика казалась мне из Ирландии! Я подумал, что здесь, у нас, собственно, даже нет времени для сна, что здесь люди, когда спят, всегда должны бояться, что зря теряют время! Каждый час, когда они ничего не производят, здесь потеря. Здесь как-то все время надо быть в напряжении, все время начеку — здесь нельзя отставать. Здесь ничего нельзя делать просто ради удовольствия, ведь в конечном итоге все упирается в успех, удачу. Если ты неудачник, ты погиб.

— Все? — спросил Грёневольд.

Руль мрачно посмотрел на него.

— И здесь не чувствуешь себя дома, — сказал он. — И в прямом и в переносном смысле. Все словно потеряло смысл. В школе, дома, в церкви...

— А свобода, гуманность, христианство, демократия? — спросил Грёневольд.

— Свобода! Свобода есть, но только в витрине. К ней не подступишься, ею не воспользуешься, если у тебя нет денег, нет власти. И вот потому, мне кажется, школа так типична! В школе вроде бы свобода, и все-таки тебе каждый день навязывают чужое мнение и ты вынужден соглашаться с ним, иначе ты пропал. Большинство учителей даже и не пытается хотя бы понять стремления учеников, господин Грёневольд! Не говоря уже о том, чтобы их поддержать, а ведь учителям это легко, поскольку они наверху, над учениками. Нет, личность здесь насилуют!

— Ты хочешь сказать: заставляют чувствовать себя свободной?

— Нет, именно насилуют, господин Грёневольд! Первое впечатление, которое возникло у меня — когда я еще был ребенком там в Силезии, Саксонии и Тюрингии, — что человека насилуют. Так все и осталось; если не считать каких-то нюансов. И это главное, что определяет человека сегодня: его насилуют. Здесь и там.

Грёневольд молчал.

— А теперь скажите все-таки что-нибудь хорошее о Федеративной республике, — упрямо повторил Рульль.

— Она позволяет тебе задавать все твои вопросы и не предписывает мне ответа, — сказал Грёневольд.

Рульль вскочил.

— Но ведь этим не проживешь, господин Грёневольд.

— Этим нет, Рульль, но с этим. Федеративная Республика Германии — государство, которое не навязывает мировоззрения, к счастью, она этого не делает или по крайней мере еще не делает.

— Я не вижу тут никакого счастья!

— Почему же?

— Хорошо, пускай это государство, которое не предписывает ответа. Но ведь ответа и нет! Нет ответа, за который можно было бы ухватиться.

Грёневольд подошел к масляному нагревателю, увидел, что масло в нем выгорело, и взял себе шерстяное одеяло.

— Рульль, я знал одно государство, которое давало ответы! Ответы, которыми жили люди, — миллионы людей жили ими. Удивительная жвачка из готовых ответов — двенадцать лет подряд. А цена за нее — пятьдесят пять миллионов погибших, не считая калек и людей с загубленной жизнью. И сколько еще поколений, ищущих ответа — как твое, да и мое, Рульль?

Рульль не ответил, подошел к вешалке в прихожей и взял свою куртку.

— У тебя же наверняка есть несколько учителей, которые тебе симпатичны, ну, например, ваш классный руководитель? — спросил Грёневольд.

— Да. Есть учителя, которым хочется подражать...

— Хорошо. А теперь скажи мне, каков он, твой образцовый учитель?

Рульль подумал и, запинаясь, ответил:

— Он не злопамятен. Терпеливо относится ко всяким глупостям. Всегда находит время. Всегда готов что-то объяснить. Имеет основательные знания по своему предмету. Подготовлен к занятиям. И главное — он выснавшийся, уравновешенный, без заскоков. Он никогда не затаптывает учеников в грязь. Он скромен. Честен, в том числе и по отношению к нам. И ему можно все рассказать.

Грёневольд встал, провел рукой по волосам Рулля и сказал:

— А теперь тебе пора.

— Поймите меня, пожалуйста, правильно, — сказал Руллер. — Но вы, господин Криспенховен и господин Виолат — единственные, кто нам действительно что-то дает. Не только математику, химию, историю и французский, но и нечто важное — помощь. Другие учителя вечно прячутся за своими скудными знаниями и своим скудным жизненным опытом, но скоро замечаешь, что это просто трюк. В действительности они застряли на одном месте — еще двадцать или тридцать лет назад; и, когда поймешь это, становится страшно! И потому те двое, трое нужны нам вдвойне.

Руллер рисовал винной каплей по столу. Они прошли в прихожую. Руллер надел свою черную куртку.

— Сегодня утром обо мне не говорили в учительской? — спросил он.

— Нет.

— В самом деле нет, господин Грёневольд?

— Да нет же, Руллер. Почему ты спрашиваешь?

— Вы помните цитаты, которые я показал вам вчера?

— Да.

— Сегодня утром я повесил их в школе.

— Где?

— Одну на дверь шефа. Одну на дверь учительской. Одну в нашем классе. А две я написал на доске.

— О! Без сомнения, ты был кроток, как голубь, Руллер, но был ли ты мудр, как змея, мне пока не ясно.

— Вы что-нибудь уже слышали?

— Нет.

— В самом деле нет, господин Грёневольд?

— В самом деле.



Грёневольд зажег свет на лестнице.

— Мне надо теперь заявить, что это я сделал? — спросил Руль.

Грёневольд помедлил с ответом.

— «Свобода заключается в том, чтобы иметь право делать все, что не вредит другим!» — сказал Руль. — Декларация прав человека, статья четвертая. Это мы проходили на ваших уроках.

— Неплохо. Но выводы, которые ты делаешь из того, чему вас пытаются обучить, слишком прямолинейны.

— Если будут кого-то подозревать, я, конечно, заявлю, что это я, — сказал Руль.

— Если ты так решил, оставайся при своем решении. Но об этом нам надо будет с тобой еще поговорить.

Они попрощались в подъезде.

«Из парня может выйти толк, — подумал Грёневольд. — Надо надеяться, что все синяки, которые он получит, стучаясь об острые углы, будут не напрасны. Для него и для углов».

Руль был уже на противоположном тротуаре, когда Грёневольд крикнул ему вслед:

— Подожди минутку! — Он перешел на противоположную сторону, дошел вместе с Рулем до ближайшего фонаря и сказал: — Я так и не ответил тебе.

— Ничего. Зато вы слушали меня.

— Мне кажется, в том, что ты сказал, многое верно. Но много и путаного, неточного или направленного не по адресу. Это касается не только нашей школы или ФРГ, но и мира, в котором мы живем и с которым всегда было много хлопот у каждого, кто принимает его всерьез. Мне кажется, я понял, что тебя угнетает, Руль. Но в то же время я понимаю, правда с горечью, горечью, которую сам не одобряю, бессилие многих нынешних учителей. Нашу усталость, нашу трусость, недостаток любви, знаний и сил. Это не только их личная вина, Руль, поверь мне! И не только вина этой страны, которая, право же, не более несовершенна, чем всякое другое человеческое общество. По существу, и ты и полмира вместе с тобой, вы ищете авторитета власти, который лишает людей свободы, той самой свободы, ради которой они много столетий подряд боролись против всякого авторитета. Другая половина мира уже этого добилась. Но жажда авторитета — слабость, по-

верь мне, Руль. Потрясающая, вполне понятная и в твоём возрасте более чем прощительная слабость. Когда двадцать четыре года назад — мне было столько лет, сколько тебе сейчас, — я пересек границу и убийцы остались позади, тогда я понял, что такое свобода. Она означала: не надо бояться. Это ощущение до сих пор ещё не совсем улетучилось, Руль! События тех лет не остались моим единственным опытом соприкосновения со свободой, а только лучшим из них, и все же я тогда решил любить свободу больше, чем авторитет, который у нас все отнимает. И поэтому год назад я приехал сюда... И хотя сегодня я знаю ещё лучше, чем тогда, как тяжело, как нечеловечески тяжело бывает иногда жить здесь одной только свободой, я бы не стал отнимать её у тебя.

Здесь в распоряжении каждого отдельного человека в каждой отдельной ситуации имеется просто иллюзия свободы: сохранить свой крохотный шанс. Разве мы не должны, несмотря ни на что, быть этим хоть в какой-то мере довольны?

Они попрощались.

Сделав несколько шагов, Руль обернулся и спросил:

— Если бы вы жили не здесь — где в Европе вы хотели бы начать?

— В Европе?

— Да, все остальное слишком далеко.

— Во Франции, — сказал Грёневольд. — Все ещё во Франции.

— А где на Востоке?

— В Польше, — сказал Грёневольд, помедлив.

— Почему?

— Я думаю, именно там немец должен прежде всего загладить свою вину. Если не считать Германии.

Общественная уборная стояла наискосок от школы, павильон из желтого клинкера, современный и гигиеничный. Теперь, когда наступила ночь, из окон под плоской крышей зазывно и уютно пробивался приглушенный свет. Вода с нежным журчанием омывала унитазы.

Шанко стоял в дверях и глядел на улицу. Улица была пуста. Шанко, беззвучно крадучись, обошел павильон и встал у торцовой стены, выходящей на неосвещенную часть школьного двора: американские солдаты

со своими девушками еще не начинали здесь своих обычных дел. За линией, где кончалась темнота, тоже было пустынно.

Шанко вернулся в уборную, отключил установку для спуска воды, взял свой портфель из одной кабинки и снова подошел к двери. Три-четыре минуты он прислушивался, потом быстрой рысцой направился к фасаду уборной, глядящему на погруженное во тьму здание школы, открыл свой портфель, достал кисть, окунул ее в банку с краской, которая тоже была в портфеле, и шестью штрихами нарисовал слева на голой желтой стенке из клинкера не очень ровную, красную, затекающую свастику. Шанко осторожно поставил портфель с краской на землю, положил в банку кисть и еще раз крадучись обошел павильон. И, только оказавшись у неосвещенной торцовой стены, он услышал твердые шаги и одновременно голос:

— Стой!

Голос стеганул его, словно плетью. Шанко не обернулся и не стал раздумывать. Он побежал короткими тяжелыми прыжками к линии, где кончался свет, и скрылся на темном конце улицы.

— Да, — сказал Грёневольд, держа трубку у самого рта, и посмотрел сквозь стеклянную стенку телефонной будки на шоссе, которое пересекал голубой товарный поезд, двигавшийся из города, — да, Криспенховен, все совершенно точно: я получил визу.

Затемин стоял у пустынного портала школы и прислушивался к шагам убегающего Шанко. Он смеялся, не разжимая губ, смеялся так, что его начало трясти и длинные стекла в окнах тихо задребезжали. Он дождался, пока тяжелые шаги затихли в темноте, тогда он отделился от темного портала, пересек улицу, поднял портфель, разглядел неровную, в потеках, свастику, хотел уходить, но вдруг остановился. Он взял кисть и написал острыми, прямыми, как стрела, печатными буквами: ПРОСНИТЕСЬ, ТРЕВОГА! Он поставил банку с краской в портфель, закрыл его так, чтобы кисть не болталась, и медленно пошел к цепи фонарей, назад в город.

— Только сейчас выбрал время, чтобы позвонить, простите, Виолат! Но день был просто потрясный, как сказали бы ребята.

Грёневольд прислонился головой к белой, перфорированной стене кабины, но, заметив, что от усталости даже перестает слышать голос собеседника в трубке, тотчас выпрямился.

— Конечно, мы еще об этом поговорим! Нет, я не буду действовать опрометчиво. Итак, до завтрашнего утра спите спокойно. Спасибо.

Руль трусил мелкой рысцой, втянув голову в плечи и засунув руки глубоко в карманы куртки, вдоль по улице и насвистывал: «Go down, Moses». Он подошел к перекрестку, от которого вела улица к школе, голубой состав затормозил у светофора. Водитель кивком головы подозвал Руля и спросил что-то насчет подъезда к автостраде.

Руль посмотрел вслед тяжелому, громяющему составу, сверил свои часы с электрическими часами у почты и обходным путем направился к школе. Длинный фасад с сеткой оконных проемов казался в темноте безжизненным и загадочным. Даже в комнате дворника не горел свет. Внезапно из-за узорчатой расщелины облаков показался белый, как лед, кусок луны и осветил улицу и здание школы бледным холодным светом. Окна фасада ярко заблестели. Руль повернулся и пошел к уборной. Голая стена из клинкера стояла перед ним, словно стенд для плакатов. Только у самого входа он заметил красный фриз. Руль остановился, нагнулся; присел на корточки, захохотал своим похожим на ржание смехом, сел на землю, загготал так, что из-за углов покатились эхо, вскочил на ноги, подошел к разризованной стене и обрызгал ее высокой, дугообразной струей.

Позади него, на неосвещенной части дороги, кто-то выругался. Руль застегнул брюки и пошел, все еще заливаясь своим гогочущим смехом, на голос — Бекман потрясал тощими кулаками перед американским солдатом и его девицей и орал:

— Пьяные рожи, тоже мне союзники!

Американец пожал плечами и стал рассматривать свою портупею, висевшую на заборе. Девица обалдело глядела в сторону. Потом она сунула руку в сумочку и протянула Бекману начатую пачку сигарет. Руль успо-

каивающе похлопал его по плечу, и дворник, спотыкаясь и бормоча что-то, поплелся к школе.

— Let's go! — смеясь, сказал Рульль солдату. — Make the best of it!<sup>1</sup> — И затрусил в город.

## V

Серая коробка из стекла и бетона, втиснутая в базальтовую ограду, ждет сигнала тревоги.

Мимо длинного ряда домов, пестрящих рекламой, сквозь марево холодного рассвета, погромыхая, ползет к вокзалу почтовый поезд.

Дымчатый щенок беззаботно носится среди мусорных корзин.

Небо гудит от колокольного звона — густого, тяжелого, властного: кафедральный собор, церковь Сердца Иисусова, лютеранская церковь, Богоматерь-заступница.

И вдруг стеклянная клетка школы вспыхивает огнями: яркие лучи рассекают двор на сотни золотисто-черных ромбов.

На всех этажах петухами заливаются звонки.

Без четверти восемь.

— Символ арийского солнца на стене нужника! — верещал Мицкат. — Что вы об этом думаете, господин Випенкатен, это нацисты?

Випенкатен еще на мгновение задержал свой взгляд на графическом произведении красного цвета, потом повернулся и залепил Мицкату две громкие пощечины. Раз по левой, раз по правой щеке.

— Убирайтесь! Сейчас же на школьный двор, олухи! Его голос сорвался на дискант.

— Муль, сейчас же приведи дворника!

— Он уже сам идет, господин Випенкатен.

Бекман загребал обеими руками, словно веслами, пробираясь сквозь поток школьников. Они расступались нехотя и с ворчанием.

— Здравсьте, господин Випенкатен! Я как раз в котельной был, вдруг...

Бекман протянул заместителю директора правую руку, посмотрел на нее внимательно и смущенно, когда

---

<sup>1</sup> — За дело! Желаю удачи! (англ.).

она одиноко повисла в воздухе, и медленно спрятал ее в карман брюк.

Випенкатен отступил на шаг, склонил голову набок и скривил губы, резко выделявшиеся на чисто выбритом лице.

— От вас опять несет водкой! — сказал он с отвращением.

Бекман сделал удивленные глаза.

— Быть того не может, господин Випенкатен! Не может быть. У меня за весь день ни капли в глотке не было. Может, разве что бутылочку пива...

— Я вовсе не намерен сейчас дискутировать по поводу вашего крайне безответственного — и в отношении вас лично и перед лицом молодежи — алкоголизма! — сказал Випенкатен. — В надлежащий момент я поговорю об этом с господином директором, можете быть уверены! Короче говоря: сейчас вы останетесь здесь, у главного входа, и воспрепятствуете тому, чтобы у этой позорной стены собирались орды. Я сегодня дежурный, ясно?

— А как же, — присмирив, сказал Бекман и вытащил из-за уха окурки. — Я ведь знаю, чья это работа. Випенкатен вздрогнул.

— Что вы сказали? — спросил он, на сей раз близко подойдя к Бекману.

— Я? Я просто сказал: я ведь знаю, кто нарисовал на стене нужника эту штуку.

— Господин Бекман, — сказал ошеломленный Випенкатен, — я надеюсь, не кто-нибудь из наших?

— Да что вы, господин Випенкатен, напротив, то есть...

— Что, Бекман?

Бекман посмотрел на заместителя директора внимательно, словно стараясь что-то припомнить.

— Об этом я хотел бы, как время придет, поговорить с господином директором, — сказал он медленно, — а он будет только ко второму уроку.

Випенкатен в бешенстве взглянул на дворника, резко повернулся и быстро зашагал к школьному двору.

Попугай, черно-красно-коричневый и обработанный евланом, чтобы не сожрала моль, стоял на столе, за которым проводились заседания. Его мертвые глаза глядели на мир с достоинством, не оставлявшим сомнения в том, что когда-то ему случалось присутствовать на весьма важных беседах.

— Это позор для всей школы! — сказал Випенкатен, адресуясь к спинам трех коллег, которые стояли у закрытых окон и смотрели вниз на стену общественной уборной.

— Я не склонен придавать этому значения, — сказал Гаммельби. — С дураков какой спрос?

Годелунд задумчиво покачал головой.

— Сначала необходимо выяснить, есть ли какая-нибудь связь между этим мерзким рисунком и надписью. Что касается меня, то я не могу усмотреть тут взаимосвязи.

— Глупая мальчишеская выходка! — резюмировал свои впечатления Нонненрот. — Главное — не проявлять еврейской нервозности. Самое разумное, если мы замнем все это дело.

— То есть как?

— Пускай дворник возьмет щетку для чистки уборной и сотрет всю эту идиотскую мазню. Пусть покажет, как он умеет убирать. И на этом инцидент исчерпан.

— Ну, я лично не уверен, господин Нонненрот, правилен ли этот метод с педагогической точки зрения.

— Мое мнение таково, что тут только руководство школы может принять правильное решение, — сказал Випенкатен официальным тоном.

— А дуче уже появился?

— Господин директор придет только ко второму уроку.

— Детки, не делайте из неприличного звука в ванне грозу в бундестаге. Поговорим друг с другом по-свойски, — сказал Нонненрот. — Кто-нибудь знает, этот маляр из наших оболтусов?

Випенкатен похолодевшим взглядом выразил свое несогласие.

— Дворник в курсе дела, — сказал он коротко.

— Кто?

— Дворник Бекман.

— Одну минуточку!

Годелунд подошел ближе.

— Я не понимаю. Почему именно дворник...

— Он застал этого паршивца на месте преступления.

— Когда?

— Вероятно, вчера вечером.

— Старина, да ведь по вечерам он все видит в двух экземплярах! — рывкнул Нонненрот. — Пусть докажет,

что видел двух паршивцев, тогда я ему поверю, что он видел одного.

— И кто это был? — невозмутимо продолжал Гodelунд.

— Это он хочет сообщить только господину директору. Во всяком случае, так он выразился.

— Вот это номер.

— Пролетарий и есть пролетарий, — пояснил Нонненрот. — Даже если у него в уборной телевизор.

— По моему скромному разумению, этот человек абсолютно не пригоден для занимаемой должности.

— Скажите лучше: он невыносим. В конце концов все мы знаем, в чем тут дело.

— В чем же? — спросил Нонненрот.

— Ну, у него где-то есть рука, иначе его уже давно привлекли бы к ответственности.

— Где-то, господин коллега, где-то? Не смешите! — сказал Випенкатен. — Зачем нам играть в жмурки? Когда об этом все воробьи чирикают в городе.

— Черт подери! В чем дело? — спросил Нонненрот.

Дверь открылась, и, с трудом переводя дыхание, вошел Крюн.

— Я уж думал, опоздал, — сказал он, задыхаясь.

— Сюда ты никогда не опоздаешь, камрад, — сказал Нонненрот.

Гodelунд посмотрел на часы над портретом федерального президента и взялся за свой портфель.

— Что ты думаешь об этой афере? — спросил Нонненрот.

— Какой афере? Я ничего не знаю!

— Афера «Писсуар»!

— Ничего об этом не слышал. А в чем дело?

— Типично для товарища Крюна, — сказал Нонненрот. — Забыл, что среди шмоток, оставшихся со времен службы на зенитной батарее, еще хранит портрет фюрера, не слушает свою жену, когда спит с ней, и является на собственные похороны в плавках.

— Вы только бросьте взгляд вниз, сюда, пожалуйста! — сказал Випенкатен, сопровождая свои слова трагическим жестом.

Крюн поспешил к окну.

— Колоссально! А уже известно, кто?

— Во всяком случае, кто-то из наших кандидатов на Нобелевскую премию из шестого «Б».



— Из шестого «Б»? Наверное, Курафейский?  
Випенкатен сдержанно пожал плечами.

— Что касается меня, — сказал Гodelунд, — то я пошел на урок.

Они посмотрели ему вслед, когда он, ритмично помахивая руками, вышел из двери, оставив ее полуоткрытой. Нонненрот ухмыльнулся. Потом они потихоньку взяли свои учебники и пошли за Гodelундом.

— Плебейская шутка, — сказал Фарвик.

— А ты что скажешь, Петри?

— Последняя сенсация.

— А мне это вовсе не кажется таким уж идиотизмом, — сказал Руль. — Вы все разве не чувствуете, что за этой выходкой кроется? Дело не в том, что кто-то намалевал свастику, это само по себе бред собачий, а вот что он ею украсил нужник, общественную уборную...

— Ха-ха-ха, — проблеял Муль и зевнул во всю мочь. — Одна идиотская шутка другой стоит.

— Символика!

— Да вы что, до сих пор не усекли?

— Нет, сэр!

— В самом деле?

— Очень сожалеем, сэр!

— Попробуем подойти к этому делу по-другому, — сказал Затемин. — Предположим, что, руководствуясь любовью к ближнему, автор своей акцией на стене нужника преследовал какую-то цель: что это была провокация, клевета или протест! Кто в классе был бы способен на то, чтобы по одной из этих причин нарисовать на стене свастику?

Тиц поднял обе руки. К нему присоединились Курафейский и Гукке.

— А ты, Шанко, не смог бы? — спросил Затемин.

— Конечно, нет.

— Почему?

— Почему?

— Вопрос был сформулирован так: чтобы спровоцировать, оклеветать или выразить протест.

— Все равно нет.

Затемин вновь бросил на Шанко короткий взгляд, потом кивнул и спросил:

- А ты, Тиц, почему?  
— Убежденный фашист!  
— Гукке?  
— Потомок древних воинов.  
— Курафейский?  
— Из любви к искусству.  
Мицкат вдруг тоже поднял руку.  
— Ты тоже?  
— С вероятностью ноль целых три тысячных.  
Но только после водки!  
— Муль?  
— Чтобы своевременно попасть под действие параграфа пятьдесят один.  
Затемин подождал, пока затихнет смех.  
— А кто из нас мог бы независимо от обстоятельств написать на стене: «Проснитесь, тревога!»  
— Без голосования демократия не доставляет никакого удовольствия, — сказал Нусбаум.  
— Итак, кто?  
На сей раз руки подняли все, кроме Адлума, Клаусена и Фарвика.  
— Путч пьяных ухарей, — устало сказал Фарвик.  
— По-моему, это просто свинская пачкотня, — сказал Клаусен.  
— Значит, цель не оправдывает средства?  
— Нет.  
— Нота бене!  
— Детки, ваша игра кажется мне чересчур инфантильной, вы уж извините, — пробормотал себе под нос Адлум.  
— Без голосования демократия не доставляет никакого удовольствия, — напомнил Нусбаум. — Если бы только вы слушались папашу.  
— Хватит!  
— Продолжай!  
Затемин сказал:  
— Напоследок возьмем комбинацию: свастика плюс «Проснитесь, тревога!»! Кто поддерживает такую форму провокации, клеветы или протеста?  
И сам поднял руку. Кроме него, руку поднял только Руль.  
— Почему? — спросил Шанко.  
Затемин открыл свой учебник химии.  
— Свастика знаменует эпоху, в которую большин-

ство учителей начало глотать бонанокс<sup>1</sup>, — сказал он и взялся за учебник.

— Ты тоже так считаешь, Фавн?

Рульь закатал рукава своего растянувшегося свитера и сложил губы трубочкой.

— Я считаю прежде всего, что надо, что мы должны что-то делать, не то мы все обростем жиром, у нас у всех сонная болезнь, надо не просто что-то вякать и умничать, а действительно что-то делать!

— Что, например? — спросил Адлум.

— Ну, протестовать, например, против того, что они заставляют нас тут подыхать со скуки.

— Кто?

— Ну, Пижон, Буйвол, Нуль, Рохля, Медуза, Рубецаль — в общем все, кроме двоих-троих.

— Особо гуманных типов, — добавил Адлум.

— Все только хотят покоя! — закричал Рульь. — Но это же дерьмо!

— Что ты имеешь против покоя? — спросил Адлум. — И чего ты разбушевался? Не понимаю тебя! Я уже однажды сказал: с этими умильными идиотами мне не нужно быть настороже, совершенно ясно, что у них ничего нет за душой, и потому я могу без страха и дрожи заниматься более важными делами.

— Какими?

— Ну, читать, писать письма, думать...

— Также точка зрения, — с отчаянием сказал Рульь.

— Горячо рекомендую последовать моему примеру: это сберегает нервы и гарантирует пятерку по поведению. Никак себя не вести — и пятерка обеспечена.

— Зачем ты вообще ходишь в школу, с твоими-то принципами? — спросил слегка озадаченный Клаусен.

— Школа — это как корь, — терпеливо ответил Адлум. — Так как ею должны переболеть все, если не считать немногих избранных, то лучше для здоровья перенести ее в нежном детском возрасте. Взрослым справиться с ней гораздо труднее.

— Школа — это интеллектуальный тренировочный лагерь! — пропищал Муль.

— Нет, это как брачная ночь: ты ничего от нее не получаешь, но она должна быть, чтобы ты от нее что-нибудь получил, — возвестил Тиц.

---

<sup>1</sup> Снотворное средство.

— Фу!

— Старый развратник!

— Нет, это как кабинет восковых фигур!

— Лотерея! Каждый второй билет — пустой!

— Это не относится к учителям, — сказал Адлум.

— Паломничество в Лурд! Шуму много, а толку мало! — закричал Мицкат.

В класс вихрем ворвался Петри.

— Тихо! Удар гонга дается в восемь часов двадцать пять минут. С минуты на минуту ожидается нашествие учителей.

Гукке подошел к окну.

— Ребята, Забулдыга взял свой складной стульчик и бутылку пива, — объявил он. — Сунул ее, как всегда, в карман штанов.

Почти все ринулись к наружной стене, чтобы их не видно было со двора.

Бекман принялся читать газету.

— Правильная работенка для Забулдыги, — сказал Мицкат. — Смотритель писсуара берет по бутылке за вход.

— И почему он до сих пор не стер эту мазню? — спросил Фарвик.

— Наверное, приказ свыше.

— Да, но они тоже не могут просто так от всего отмахнуться, — сказал Руль.

— Почему не могут? Им плевать.

— Ты так думаешь? — сказал Затемин.

— Внимание! Из-за угла появился босс! — вдруг закричал Петри.

Все бросились на свои места.

— Ну-с, что вы тут подделываете?

Бекман, вздрогнув, прервал чтение, щелкнул каблучками и помахал газетой.

— Охраняю, охраняю, так сказать, вот это безобразие, господин директор! По распоряжению господина Випенкатена.

Гнуц сложил руки на набалдашнике трости, с яростью взглянул на стену уборной и заскрипел зубами.

— Это же... это же неслыханное оскорбление! — выдал он.

Бекман напряженно глядел на него.

Гнуц повернулся и стремительно направился к подъезду школы.

— Одну минутку, одну минутку, — пролепетал Бекман и поспешил за своим директором, едва не наступая ему на пятки. — Я ведь знаю, кто это сделал. То есть...

— Что вы сказали?

Гнуц стоял на лестнице главного подъезда, тремя ступенями выше Бекмана и наблюдал за ним с брезгливым любопытством.

— А дело было, стало быть, так, — начал Бекман и сунул газету в карман, чтобы освободить руки для жестикуляции. — Вчера вечером, так около половины одиннадцатого, иду я, значит, по школьному двору...

— Трезвый, господин Бекман?

— Ну, по маленькой я это, значит, пропустил, господин директор!

— Так!

— И впрямь совсем маленькую, малюсенькую, господин директор! Четыре-пять кружек пива и такую же геопатическую дозу можжевельной. Двойная водка и...

— Дальше, Бекман!

— Вот, значит, только я вышел на неосвещенную часть дороги, гляжу: опять парочка делом занимается!

— Каким делом?

— Ну, это... спариваньем, господин директор. Вы уж на меня не обижайтесь. Ясное дело, ами со своей девкой. То есть, конечно, главного-то они еще не успели, но к тому шло. В общем коротко и ясно: схватил я, значит, американца за портупею, парни эти, я вам скажу, медлительные такие, им нужно...

— Дальше, Бекман!

— Так вот, я ему, значит, как раз выговариваю, вдруг, вижу, здесь, возле, значит, уборной, один нужду справляет. Я еще никак не решусь, американец ли виноват, или та фигура, она мне сразу подозрительной показалась, — а тот уже сам подходит ко мне и говорит: «Здрасьте, господин Бекман!»

— Кто, Бекман?

— Ну, тот подозрительный тип, который был возле писуара.

— Но кто, кто это был, Бекман?

— Кто был? Да из шестого «Б», Руль, вот кто был.

Гнуц ударил тростью по земле и с шипением выдохнул воздух.

— Вы уверены, Бекман? Абсолютно уверены?

— Так же уверен, как в том, что в церкви надо аминь говорить, господин директор! Голову готов дать на отсечение. Ошибка исключается: паршивец еще напоследок помочился, прямо на масляную краску! Гляньте, вот следы мочи.

Гнуц наклонился.

— Руль, — прошептал он. — Кто бы мог подумать?

Гнуц выпрямился, борясь со своим смятением.

— Вон коллега Грёневольд, — попытался Бекман отвлечь директора. — Он нынче тоже ко второму уроку.

Грёневольд направлялся к ним, свернув с Гегельштрассе.

— Доброе утро!

— Приветствую вас, коллега! Ну, что вы скажете?

Гнуц протянул руку в направлении уборной.

— Эта отвратительная история, к сожалению, касается и вас, уважаемый коллега!

Грёневольд бросил быстрый взгляд на стену, повернулся и сказал:

— Надо знать подробности, чтобы разобраться в этой истории.

— Подробности? Разве вам недостаточно этой подлой пачкотни?

— Нет.

— Это был один из наших птенчиков! — пробормотал Бекман, используя короткую паузу, пока оба переводили дыхание. — Из шестого «Б». Я лично видел, своими собственными глазами!

— Хватит! — оборвал его Гнуц. — Вы, разумеется, понимаете, я ничего не имею против вас лично, коллега Грёневольд, но сначала я хотел бы сам расследовать это дело! В конечном итоге я несу ответственность за школу.

— Прошу вас! — сказал Грёневольд и открыл перед директором дверь.

— Можете быть уверены, что я досконально разберусь во всем, — сказал Гнуц на лестнице. — И на сей раз я приму решительные меры, самые решительные, чтобы другим неповадно было! В моей школе всегда царит порядок, а кто не желает ему подчиняться, с тем я разделаюсь самым решительным образом! Желаю удачи, коллега.

Гнуц захлопнул за собой дверь кабинета.

Грёневольд уже второй раз слышал, как кто-то стучится в дверь учительской, но он продолжал стоять у окна, стараясь побороть неудержимый приступ отчаяния, которое охватывало его почти каждое утро. Только когда постучали в третий раз, он подошел к двери и открыл.

Это был Руль.

— Доброе утро, господин Грёневольд. Может быть, мне уже сейчас пойти сказать?

Грёневольд обхватил ручку двери.

— Это ты сделал? — спросил он, показывая большим пальцем через плечо.

— Это — нет!

Грёневольд выпустил дверь и схватил Рулля за руку.

— Правда нет, Руль?

— Правда.

— Но разве дворник тебя здесь не видел вчера вечером?

— Когда Забулдыга меня видел, это уже было, господин Грёневольд. Правда! Я только проходил мимо, возвращался от вас.

Грёневольд с облегчением вздохнул, засмеялся и хлопнул Рулля по плечу.

— Ну, слава богу!

— Но, может, мне все-таки пойти сказать, что я вчера утром...

— Да, скажи, Руль! И немедленно. Пойдем, я зайду вместе с тобой к директору.

Он закрыл дверь, помедлил и сказал:

— Нет, я думаю, будет разумнее, если ты пойдешь один.

— О'кэй!

Руль сунул руки в карманы и пошел, шаркая ногами.

— Доброе утро, господин директор. Я хотел...

Больше Руль не успел вымолвить ни слова. Гнуц влепил ему две резкие, звонкие пощечины. Очки Рулля полетели в угол. Дужка сломалась. Руль поднял очки и попытался укрепить их на переносице.

— Я хотел сказать вам, что это сделал я, вчера...

— Плебей! — выдохнул Гнуц и снова ударил Рул-

ля, сбив с него очки. На этот раз разбилось стекло. — Подлый, грязный плебей!

Он открыл дверь, ведущую в комнату для посетителей, и втолкнул туда Рулля.

— Останешься здесь, пока я не придумаю для тебя наказание, мерзавец! — прорычал Гнуц. — Твои дни здесь сочтены, можешь на меня положиться! Я сотру тебя в порошок, свинья!

Руллер сел в кресло.

— Встать! — заорал Гнуц. — Такой негодяй, как ты, не заслужил того, чтобы сидеть в порядочном кресле!

Гнуц стремительно промчался к двери, обернулся и спросил с угрозой:

— Кто еще? Кто еще участвовал в этой мерзости?

Руллер пытался скрепить свои очки. Но ничего не получалось.

— Я был один, — сказал он.

— Кто еще? А ну признавайся! Наверное, твой приятель Курафейский?

— Нет. Я один, господин директор! Честное слово.

Гнуц брезгливо отодвинулся от него.

— У такого подлеца, как ты, нет честного слова!

Он захлопнул за собой дверь и дважды повернул ключ в замке.

— Фрейлейн Хробок! — закричал он на всю лестничную клетку.

— Да, господин директор?

Фрейлейн Хробок испуганно выпорхнула из приемной.

— Сейчас же позовите сюда господина Випенкатена, господина доктора Немитца и господина Криспенховена!

— Доктор Немитц как раз разговаривает с кем-то по телефону, у него была небольшая автомобильная авария. Господин Криспенховен придет только к третьему уроку, господин директор.

— Тогда обойдемся без него. Шестой «Б» может идти домой. Учителя нужны мне здесь. Скажите господину Випенкату, пусть позаботится, чтобы все шло по заведенному порядку.

— Слушаюсь, господин директор.

Гнуц, задыхаясь, поднялся на второй этаж и сразу же исчез в своем кабинете.



— Ребята, мы что же, отмечаем семнадцатое июня уже сейчас, в марте?

— Спорим, это именно то, что радует маленького человека!

— Кто со мной к Тео, пропустить кружку-другую?

— Тебя что, амбарным замком трахнули? Я двигаю в бассейн!

— А я ведь ни черта не сделал по английскому.

— Такое расписание, как сегодня, и я готов остаться здесь пожизненно.

— Эх, поспать бы часок-другой!

— Камрады, у меня идея: у девок сейчас урок гимнастики!

— У каких? Из пятого или из шестого?

— Из шестого! На Янплатц!

— Красота!

— Ребята, надеюсь, у них будет семидесятипяти-метровка! Тогда Лолло покажет класс!

— Или гимнастика!

— Ча-ча думает, что он — это Янплатц.

— Двинем туда, произведем фурор!

— Ты что, у старушки училки удар будет, если мы заявимся!

— Вы не знаете, зачем Фавн пошел вниз? — спросил Адлум.

— Пижона позвать.

— Не думаю, тогда бы он вернулся.

Адлум, Затемина, Клаусен, Фарвик и Шанко остались на школьном дворе одни.

— Может, педсовет по поводу этих художеств? — спросил Клаусен.

— Потрясающая логика, — сказал Затемина.

Фарвик покачал головой.

— Не могу представить себе, чтобы это было делом рук Фавна.

— Когда наш бычок видит красное, от него можно всего ожидать, — сказал Адлум.

— Да, но почему именно он должен...

— Поэтов нельзя выбирать старостами класса, — сказал Адлум. — От этого никогда не было проку.

Они увидели, как из подвала вышел Бекман со шваброй и ведром.

— Может, Забудыга что-нибудь знает, чего мы не знаем?

Они отправились следом за Фарвиком через двор, обогнули здание школы и подошли к уборной.

Дворник поставил ведро у желтой стены, обмакнул швабру и начал стирать красную масляную краску. Дело подвигалось медленно.

— Свинство! — ругался он. — Если бы это был не клинкер, мне бы до самой пасхи изображать здесь уборщицу отхожего места.

Шанко дал ему сигарету.

— Пускай собирает манатки и сматывается, — бурчал Бекман. — Шеф-то рвет и мечет. Кипит, как котел со смолой.

— А кому собирать манатки? — спросил Шанко.

— Ну, этому паяцу из вашего класса, Руллю!

— Неужели это действительно был он? — спросил Затемиин.

— Ясное дело! Я ж его с поличным поймал вчера, этак около половины одиннадцатого вечера.

— Я вам не верю, господин Бекман, — сказал Затемиин.

Бекман швырнул швабру в ведро так, что щелочной раствор фонтаном выплеснулся из него.

— Ты что, думаешь, у меня бельмо, что ли, на глазу? Вот тут, на этом самом месте, я его и поймал! Под конец этот поросенок еще помочился на свою мазню. Пускай радуется, что так дешево отделался, что вокруг него мировая политика не закрутилась. А то сперва по радио бы про него передали, а потом на девять месяцев в кутузку. Знаем мы таких.

— А ведро с краской и кисть вы тоже видели? — спросил Затемиин.

— Он их спрятал в свой портфель, зеленый такой портфель с оторванной ручкой! А теперь шасть отсюда, куда старику на глаза не попались!

Они медленно поплелись к перекрестку.

— Может, пойдем ко мне, в мое ателье? — сказал Фарвик. — У меня есть каталог выставки Пикассо и несколько новых магнитофонных дисков.

— Без четверти девять, — сказал Клаусен. — Я пойду с тобой.

Адлум колебался.

— Собственно говоря, кому-то надо подождать Фавна.

— Мы с Шанко останемся здесь, — сказал Затемиин.

— Ну ладно. Если что случится, дайте знать Дали.

— А теперь? — спросил Затемина, когда они остались одни.

— Что «теперь»?

Затемина медленно смерил взглядом Шанко с головы до ног.

— Можешь сегодня забрать у меня ведро с краской и кисть, — сказал он равнодушно.

Шанко быстро посмотрел на него.

— Ах, вот оно что, — сказал он, растягивая слова. — Это был ты? Я так сразу и подумал.

— Пойдешь к шефу? — спросил Затемина.

Шанко встал вполоборота к нему.

— Это я предоставляю сделать тебе, товарищ.

— Я пока еще подожду.

Шанко ослабился.

— Вот видишь. Ты вообще не забывай, сколько всякой всячины мне известно! И кстати, «Проснитесь, тревога!» — это не я намалевал!

Затемина сжал кулак, размахнулся, но не ударил и сунул руку в карман.

— Дуй отсюда, ты, идиот, — сказал он тихо. — Да побыстрее!

Он повернулся, прошел через школьный двор к стене, подтянулся, уселся на гребень и вынул свою записную книжку.

— Господа, — начал Гнуц, кивая направо и налево. — Вам известно, о чем идет речь?

Оба господина кивнули в ответ.

— Отлично. В первую очередь я хотел бы информировать вас, дорогой коллега Випенкатен, о том происшествии, которое разыгралось здесь еще вчера утром, кстати, перед тем, как вы приступили к исполнению своих обязанностей. Господин доктор Немитц в курсе. В надлежащее время я поставлю в известность и всю педагогическую коллегию! Вы оба уже опытные, так сказать, вожаки и понимаете, несомненно, что я — разумеется, при полном уважении к принципу коллегиального руководства школой, — действуя единолично, возвращаю, так сказать, в правильное русло многое в этих стенах и забочусь, чтобы все это не становилось достоянием гласности. Кое-где это могло бы только вызвать ненужные кривотолки.

Оба коллеги кивнули, изображая единодушное одобрение, и Гнуц открыл ящик своего письменного стола.

— Вчера утром, перед началом занятий, эти сомнительные бумажонки были развешаны на доске объявлений, на двери учительской и шестого класса «Б», — сказал Гнуц и протянул карточки для ознакомления Випенкатену. — К счастью, мне удалось благодаря бдительности дворника положить конец этой непристойной акции прежде, чем она могла возыметь какое-либо действие.

— Кроме того, ведь еще были два текста на доске, — сказал д-р Немитц.

— Ах да, вот они.

Випенкатен прочитал цитаты до конца, потом еще раз и, наконец, прочитал их в третий раз.

— Без знания контекста, конечно, очень трудно судить об этом, господин директор!

Гнуц согласился:

— Ну хорошо, я понимаю! О контексте вас может гораздо лучше, чем я, информировать доктор Немитц.

Д-р Немитц откинул голову назад, покрутил большие пальцы обеих рук и быстро заговорил:

— Цитаты, господин Випенкатен, взяты из текстов, которые мы прорабатывали на уроках в шестом «Б». Частично на уроках немецкого языка, частично в кружке по литературе. Но в то время как большинство учеников обнаружило полную духовную зрелость, абсолютно необходимую для понимания этих великолепных произведений современной литературы, и работало, проявляя, если можно так выразиться, экзистенциальный интерес к совместной их расшифровке, — небольшая часть класса оказалась, так сказать, умственными плебеями, людьми без всяких запросов, к которым мне приходилось спускаться, словно пауку на своей нити, на каждом уроке, что, впрочем, как показывает данный эпизод, абсолютно не гарантировало успеха, который хотя бы в отдаленной степени соответствовал моим усилиям. Вот эта-то компания имбицилов и занялась вновь пережевыванием непереваренных мыслей. «Почему?» — можете вы спросить. Но «против глупости сражаются впустую и сами боги», говорит поистине верящий в человека Шиллер.

Випенкатен вернул карточки, и Гнуц аккуратной стопкой сложил их на своем письменном столе.

— У вас есть какие-нибудь отправные точки, чтобы решить, кто мог это сделать? — спросил Випенкатен.

— Есть! — сказал Гнуц с особым ударением.

Д-р Немитц поднял брови.

— Они появились у меня тринадцать минут назад! — сказал Гнуц. — То есть ровно столько, сколько я нахожусь здесь. Раньше меня здесь просто не было. Перед занятиями я посетил по делам школы отдел по охране порядка. Так вот, ровно тринадцать минут назад я узнал не только, кто тот хулиган, который напакостил вчера утром, — у меня в руках и тип, загадивший стену общественной уборной этой омерзительной пачкотней, последствия которой пока даже трудно оценить! На стенах уборной, которая, кстати, несмотря на мои неоднократные протесты, была все-таки сооружена напротив школы! Итак, он у меня в руках. Все это совершил один и тот же тип!

— Вы узнали больше, чем можно было надеяться, — сказал д-р Немитц.

Гнуц молчал.

— А кто?.. — спросил Випенкатен.

Гнуц поднял свои ладони, как две чашки весов.

— Вы знаете класс лучше, чем я, господа! Я не веду уроков в шестом «Б». Кого, по вашему мнению, можно было бы заподозрить в этом совершенно невероятном для нашей школы деле?

— Я преподаю в шестом «Б» только стенографию, — сказал Випенкатен.

Д-р Немитц устремил свой взгляд вдаль и задумчиво забарабанил пальцами по письменному столу.

— Курафейский? — сказал он, решительно и твердо посмотрев на Гнуца.

— После всего, что я слышал о нем в учительской, — снова вмешался Випенкатен, — я бы тоже сказал: Курафейский. Этот парень опасен! Подстрекатель, непременный участник всех беспорядков. Остальные — Тиц, Михалек, Нусбаум и вся эта компания, я считаю, просто у него на подхвате.

Гнуц стал осторожно перебирать карточки. Теперь он строил из них пирамиду.

— Видите ли, господа, — сказал он покровительственно, — я не хочу вас упрекать, людям свойственно заблуждаться; но я тяну лямку немного дольше, чем вы! Зарубите себе на носу, другими словами, никогда не

утверждайте, что кто-то гадит на крыше, пока вы не поймали человека с поличным. Как легко можно совершить несправедливость по отношению к молодым людям, господа, а ведь наша профессия все-таки немислима без справедливости, не правда ли?

Гнуц перестал строить из карточек геометрические фигуры, откинулся в кресле и сказал:

— Это был Руль.

Д-р Немитц безупречными спиралями пускал к потолку дым сигареты.

— Этого я не ожидал, — сказал он честно. — А вы, коллега Випенкатен?

— Тоже нет. Я потрясен.

— Я тоже, господа, — поддержал их Гнуц. — Я тоже. И тем не менее это так.

— Он уже призвался? — спросил Немитц.

— Полностью. Я держу его под надзором в комнате для посетителей.

— Он в самом деле совершил это редкостное безобразие один? — спросил Випенкатен. — То есть я имею в виду вероятность того факта, что в классе у него были сообщники.

— Нет! — решительно сказал Гнуц. — Он сам заварил эту густую кашу. Заварил себе и не в последнюю очередь нам: мне, педагогической коллегии, всей школе.

— А мотивы? — спросил Випенкатен.

Гнуц поднялся с места.

— Я не хотел бы предвосхищать события, господа. До сих пор я только выслушал признание — прошу заметить, десять минут спустя после того, как я выяснил, кто скрывается за всей этой гадостью. Все остальное мы должны выяснить совместно, в процессе допроса.

— Не привлечь ли к участию и классного руководителя?

— Или созвать педагогический совет, — сказал д-р Немитц.

Усевшись за свой письменный стол, Гнуц выпрямился.

— Господин Криспенховен придет только к третьему уроку. А насколько этот случай может явиться предметом обсуждения на коллегии, решает руководство!

Гнуц включил микрофон, связанный с приемной, и сказал:

— Фрейлейн Хробок, приведите-ка сюда этого пар-

ня, Рулля. И включите, пожалуйста, магнитофон — или как вы считаете, господа?

Д-р Немитц сделал вид, что не слышит вопроса.

— Я отдал бы предпочтение стенограмме, — сказал Випенкатен.

— Хорошо. Итак, не надо магнитофона, фрейлейн Хробок. Приготовьтесь стенографировать! Нет, сначала приведите этого Рулля.

— Сядьте, пожалуйста, сюда, чтобы вам было удобнее стенографировать, — сказал Гнуц фрейлейн Хробок.

И тут же Руллю:

— Ты будешь стоять! Там, у окна. Сними эти нелепые очки!

— Но тогда я ничего не буду видеть.

— Тебе это и не нужно! Мы видели достаточно.

Руль снял разбитые очки и сунул их в карман брюк.

Гнуц сел за свой письменный стол, разложил по-новому пять карточек, взял лист бумаги из ящика, ДИН-А4, отвинтил свою ручку, проверил, есть ли в ней чернила, положил ручку на пустой лист бумаги, по диагонали, скрестил руки на груди и сказал отеческим тоном:

— Скажи, тебе не стыдно, ты не хотел бы провалиться сквозь землю от стыда?

— Нет, — сказал Руль.

Д-р Немитц и Випенкатен слегка отодвинули свои стулья. Теперь Руль был в центре точного полукруга.

— Невероятно! — сказал Випенкатен.

Гнуц снова проверил, есть ли чернила в его авто-ручке, внимательно посмотрел, не измазал ли он пальцы, и спросил снова:

— Значит, ты признаешься?

— Да, — сказал Руль, скорей удивленный, чем подавленный.

— Мне стенографировать? — вмешалась фрейлейн Хробок.

Гнуц раздраженно поднял голову.

— Фрейлейн Хробок, для какой цели я вас сюда посадил? Неужели вам все надо повторять по десять раз? Пишите: «В начале вопроса...» Вопроса? Может быть, это не совсем подходящее слово. Как вы считаете, уважаемый коллега Немитц? Вы же специалист по немецкому языку!

— Снятия показаний — нет, пожалуй, расследования! — констатировал д-р Немитц.

— Расследования? Гм, ну ладно. Итак: «В начале расследования ученик Йохен Руль, 6-й «Б», признался, что он, и он один, повинен в непристойной пачкотне...» — ведь так можно сказать, коллега Немитц, если вам подвернется более точное выражение, пожалуйста, перебейте меня!

Д-р Немитц кивнул.

— Итак: «в непристойной пачкотне, имевшей место в четверг...»

— Каковую он и производил, — дополнил Випенкатен.

— Я бы предложил: «каковой он занимался», а уж потом все детали и дату, — сказал д-р Немитц.

— Итак: каковой он занимался.

— Это не совсем верно, — сказал Руль.

Випенкатен выпрямился, словно аршин проглотил.

— Ты еще вздумал грубить? — сказал он с горечью.

На этот раз Руль не ответил.

— Не волнуйтесь, дорогой коллега, — душевно посоветовал Гнуц. — Я признаю: не волноваться трудно! Но из-за такого субъекта? Жаль тратить на это свое здоровье. У него глаза на лоб полезут, когда он увидит, что натворил!

Ну, хорошо. Но сначала вот еще что, фрейлейн Хробок! Нет, не пишите же сейчас, пожалуйста! Не записывайте! О боже, господь Бентхайма, Текленбурга и Бреды — с вами, фрейлейн Хробок, тоже нужно терпение, как с хромым ослом.

Итак, чтобы нам прийти к полной ясности, фрейлейн Хробок, вы будете кратко записывать мои вопросы и дословно ответы этого типа. Больше ничего!

— Почему же? — спросил Руль.

Гнуц изо всей силы ударил по столу ладонями.

— Руль! — сказал директор. — До сих пор я разговаривал с тобой, как родной отец, но если ко всем мерзостям, которые ты натворил, ты еще намерен артачиться, то ты узнаешь меня совсем с другой стороны! — И потом фортиссимо: — Ты понял?

— Да, — сказал Руль. — Но я имел в виду совсем не то.

— А что же? — спросил д-р Немитц.

— Дело тут не в бесстыдстве или там еще в чем-то.



Просто раз уж здесь ведется протокол, то надо записывать все, что скажете вы или директор...

— Что здесь записывать и что не записывать — решаем мы! — отрубил Гнуц, вытянутой правой рукой провел в воздухе резкую горизонтальную линию и подтвердил свои слова ударом по столу.

— Ясно?

— Да, — сказал Руль.

Д-р Немитц сокрушенно покачал головой и взял из портсигара новую сигарету. Руль сунул руку в карман, щелкнул зажигалкой и поднес ее своему учителю немецкого языка.

— Пожалуйста, — сказал он.

— Что еще за дурачество! — резко перебил его Гнуц, как раз когда д-р Немитц уже хотел воспользоваться зажигалкой. Директор откинулся на стуле, выдвинул ящик, достал коробку спичек, предупредительно потряс ею, зажег одну спичку и поднес своему коллеге.

— Благодарю, — сказал д-р Немитц. — Очень любезно с вашей стороны.

Руль погасил свою зажигалку и сунул ее в карман.

— Ну хорошо, — сказал Гнуц. — Пусть у тебя не будет впечатления — при всем том, что произошло, — что мы творим тут суд над тобой без всякого сочувствия, Руль! Может быть, ты думаешь: эти учителя не понимают меня, но ты ошибаешься, мой мальчик. Или ты думаешь: они слишком стары, чтобы понимать наши чувства. Это заблуждение, Руль. Абсолютное заблуждение. Ты ведь думаешь так, Руль. Ну, признайся! Нас ты не обманешь...

— Да, но...

— Ну вот видишь! Я же знаю вас, парней. Лучше, чем вы сами себя знаете. И коллеги здесь тоже вас хорошо знают. Они видят вас насквозь и даже глубже!

Руль вдруг засмеялся.

— Ну, в чем дело? — закричал Гнуц. — С ума спятил, что ли?

Руль вытащил носовой платок и протер глаза.

— Итак, чтобы ты убедился, что мы подходили к вам с величайшим, ну, просто с самым величайшим педагогическим тактом, мы сейчас сделаем эксперимент, так сказать, тест. Вот перед тобой сидит фрейлейн Хробок.

Руль деловито посмотрел на Хробок и сказал:

— Да.

— Фрейлейн Хробок, сколько вам лет?  
— Двадцать, господин директор.  
— Хорошо. А тебе, Руль?  
— Восемнадцать.  
— Восемнадцать — и в шестом классе?  
— У нас есть еще старше.  
— Да, но восемнадцать — как же так получилось, что тебе уже восемнадцать?  
— Во втором классе сидел два года, — ответил Руль.

— Ага!

Гнуц сделал пометку на листке бумаги.

— Ну хорошо. Так или иначе: фрейлейн Хробок почти твоя ровесница. Всего на два года старше. Стало быть, она принадлежит к тому же поколению, что и ты, Руль! — вы предпочитаете, чтобы вас именовали не твены или полузрелые, а *beat generation*<sup>1</sup>.

— Нет, — сказал Руль.

— Нет? Значит, опять что-то новое? За вами не поспеешь: экзистенциалисты, поколение скептиков, юнцы, которым на все плевать, сердитые молодые люди, тинэйджеры, битники и так далее и тому подобное. В наше время все было проще, о нас говорили так: поколение, которое скоро возьмет на себя всю ответственность! Но с тех пор, как процветает психоанализ господина Фрейда...

— Поколение без наставника, — сказал Руль. — Я думаю, вот правильное слово.

— Без наставника? Поколение без наставника? Смотри, пожалуйста! Что вы об этом думаете, господа? У Випенкатена вытянулось лицо.

— Всегда найдется ходовое словечко, с помощью которого удастся завуалировать то простое обстоятельство, что молодежь от поколения к поколению оказывается все более беспомощной.

Д-р Немитц задумчиво покачал головой.

— Итак! — Гнуц постарался продолжить свою мысль. — Я спрашиваю вас, фрейлейн Хробок, вас, человека этого молодого поколения, которое самому себе кажется таким загадочным, я спрашиваю вас и прошу вас ответить мне откровенно, абсолютно откровенно: каково ваше суждение — нет, предосторожности ра-

---

<sup>1</sup> Поколение битников (англ.).

ди скажем не суждение, а мнение, — каково ваше мнение, фрейлейн Хробок, об известном вам происшествии?

— В нашей школе это не могло бы случиться! — честно сказала фрейлейн Хробок.

Гнуц молча посмотрел на сидящих в комнате коллег.

— Все это очень тягостно, — сказал Руль.

— Тягостно? — переспросил Гнуц.

— Это же бесчестно, — сказал Руль.

Випенкатен хотел вскочить, но Гнуц остановил его успокаивающим движением руки.

— Нечестно, так, так. А что ты считаешь нечестным, если можно спросить? Может быть, прямой вопрос, обращенный к твоей ровеснице фрейлейн Хробок?

— Нет. Она и не может ответить ничего другого. Но сам вопрос...

Руль замолчал.

— Могу себе представить, что мой вопрос был для тебя тягостным, мерзкий ты болван! Он тебя загнал в тупик, так сказать! А ответ, естественный, непринужденный ответ — я хочу это здесь подчеркнуть, — он тоже тягостен для тебя, ты, низкая и подлая тварь!

— Я не то имел в виду, — пробормотал Руль.

— Вы всегда имеете в виду не то! — взорвался Випенкатен. — Вечно, когда вас припрут к стенке, оказывается, что вы не то имели в виду! Сначала вы норовите сесть нам на голову, отравляете нам жизнь, безобразничаете, подрываете наш авторитет, устраиваете беспорядки, проповедуете непокорность, а когда кого-нибудь из вас, паршивцев, схватишь за руку, вы начинаете трусливо изворачиваться: «Я не то имел в виду!» Трусливо и коварно. Вот что самое жалкое в вас.

— Ради бога, не волнуйтесь так, коллега Випенкатен! — озабоченно сказал Гнуц. — Подумайте о своем сердце. Не стоит, поверьте мне, не стоит. Я все же на несколько лет дольше вас хожу в упряжке!

— Но это не так, — сказал Руль, подняв левое плечо, и тут же действительно стал изворачиваться: — Вы всё ложно истолковали...

— Вот вам, пожалуйста, — сказал Випенкатен с мрачным удовлетворением. — *Quod erat demonstrandum*<sup>1</sup>. «Вы всё ложно истолковали». Все вас ложно истолковывают: ваши родители, ваши учителя, ваши руко-

---

<sup>1</sup> Что и требовалось доказать (латин.).

водители, все. Нет, дружочек, ложны, лживы вы сами. Лживы и трусливы. Вот как обстоит дело. А нас, нас, которые тридцать-сорок лет жертвовали своими нервами, чтобы из тебя и тебе подобных вышли люди, нас вы вместо благодарности еще пытаетесь опорочить.

Випенкатен откинулся на спинку кресла, схватился рукой за горло и ожесточенно устремил взгляд в пространство.

Д-р Немитц теперь пускал свои дымовые спирали к окну.

— Но вернемся *in medias res*<sup>1</sup>, — сухо сказал Гнуц. — Что, во имя всего святого, с тобой случилось, Руль, что ты наворотил столько невероятных пакостей? Ты что, без царя в голове? Ты понимаешь вообще, что ты натворил?

— Думаю, что да, — сказал Руль.

— Да, но почему, какого дьявола! — вдруг заорал Гнуц. — Сам не знаешь, а?

Руль вытащил свои очки, посмотрел на выпавшие осколки и снова сунул в карман.

— Нет, знаю, но тогда пришлось бы многое сказать. Я не уверен, честно ли это будет.

— Ты можешь говорить здесь все, что хочешь, Руль! При том условии, что это соответствует действительности и выражено в подобающей форме, — сказал Гнуц и решительно посмотрел на своих коллег. — Ученик тоже имеет право защищаться! Я, во всяком случае, всегда придерживался этого правила.

Руль увидел, что все внимательно смотрят на него, и сунул руки в карманы.

Випенкатен возмущенно вскочил с места, но Гнуц успокаивающе подмигнул ему.

— У нас в последние годы просто было такое чувство: здесь ничему не научишься, — растерянно пробормотал Руль.

— Ах! — сказал Гнуц.

— Это же... — потрясенно добавил Випенкатен.

Д-р Немитц нахмурил брови.

— Да, эти учителя ничему толковому нас не научат, все это — *wischiwaschi*<sup>2</sup>...

— Что?

---

<sup>1</sup> К делу (латин.).

<sup>2</sup> Болтовня (англ.).

— Wischiwaschi. Это, кажется, английское выражение и означает...

— Спасибо за поучение, Рулль! — грубо перебил Гнуц. — Но прежде чем распространяться, и с такой невероятной наглостью, о своих школьных наставниках... вы записали, фрейлейн Хробок? Ну, хорошо. Итак, Рулль: кто есть эти мы? — Гнуц запнулся, искоса посмотрел на д-ра Немитца и спросил: — Или в этом случае говорят: кто суть мы, господин коллега? Должен сказать, что эта дерзость совершенно выводит меня из...

— Кто есть мы! — быстро сказал д-р Немитц и тут же запнулся сам.

— Ну, хорошо. Итак, кто есть эти мы, Рулль? «У нас было...» — как там звучало это неслыханное утверждение, фрейлейн Хробок?

— Одну минутку!

— Пожалуйста!

— Ага, вот: «У нас в последние годы просто было такое чувство: здесь ничему не научишься. Эти учителя...»

— Хватит! Я еще раз спрашиваю тебя, Рулль: кто есть эти мы? Может быть, ты теперь дашь нам ответ?

— Да, наш класс...

— Весь класс? Весь шестой «Б»?

— Может быть, не все, но десять-двенадцать человек наверняка.

— Ну разве я не говорил этого постоянно, — проскрипел Випенкатен и ударил кулаком по ладони другой руки. — Этот шестой «Б» просто загнивает на корню!

— Одну минутку, коллега Випенкатен! Рулль, кто из этих десяти-двенадцати человек, как ты изволил выразиться, помогал тебе в твоих непристойных художествах?

— Мне никто не помогал!

— Ты знаешь, лгать абсолютно бессмысленно, Рулль!

— Но мне и в самом деле никто не помогал.

— Ну хорошо. Кто из этих десяти-двенадцати человек знает, что ты натворил, Рулль?

— Никто.

Гнуц вскочил.

— И ты, бесстыжий цыган, осмеливаешься утверждать, что десять-двенадцать мальчиков из твоего класса, то есть в процентах...

— Пятьдесят процентов, — сказал Випенкатен. — А скорее даже больше!

— Итак, что больше пятидесяти процентов шестого класса «Б» разделяют твои идиотские и ничем не оправданные взгляды!

Гнуц пришел в бешенство.

— Да, — сказал Руль. — Десять-двенадцать человек думали примерно то же самое: мы здесь прокисаем.

Випенкатен посмотрел на директора и сказал с трудом:

— Не дадите ли вы мне сигарету, коллега Немитц? Вообще-то я обычно утром не курю — желудок, но то, что происходит здесь, не идет ни в какое сравнение с тем, что я видел и слышал в школе за тридцать три года.

Д-р Немитц положил свой раскрытый портсигар на письменный стол перед Випенкатеном.

— Нельзя ли мне еще раз спички, господин директор?

Руль сунул руку в карман и тут же медленно вынул ее обратно.

— Пожалуйста! — сказал Гнуц. — Можете оставить себе всю коробку. Вы записали, фрейлейн Хробок?

— «Десять-двенадцать человек думали примерно то же самое: мы здесь прокисаем».

— Продолжай, Руль! В демократическом государстве ведь существует свобода слова — ты как раз об этом сейчас думаешь, а?

— Да.

На лице Гнуца, одна за другой, изобразились три-четыре разные улыбки.

— Если действительно десять-двенадцать человек из шестого «Б» придерживались такого же мнения, Руль, то почему они не участвовали в этой акции? — спросил он.

— Я не хотел их впутывать.

— Ага! Стало быть, ты заранее знал, что история эта не очень-то красивая. Иначе ты спокойно мог бы «впутать» своих единомышленников!

— Нет, я надеялся, что и эта история кончится совсем по-другому! Но, конечно, с ней были связаны и troubles<sup>1</sup>. И я не хотел, чтобы другие пострадали, — сказал Руль. — Я был старостой класса.

---

<sup>1</sup> Неприятности (англ.).

— Послали волка овец сторожить, — прокомментировал Випенкатен.

— Тебя класс выбрал своим старостой? — спросил Гнуц. — Или тебя назначил господин Криспенховен?

— Класс меня выбрал, а господин Криспенховен утвердил.

Випенкатен посмотрел на Немитца. Тот покачал головой.

— А почему класс выбрал именно тебя, Руль? — спросил Гнуц.

— Этого я не знаю. Но большинство было так же настроено, как и я, поэтому они...

— Руль! Это наглое заявление мы слышим уже третий раз, — сказал Гнуц, повышая голос. — И я могу, не предвосхищая мнения коллег, сказать: мы тебе не верим! Ты хочешь спрятаться за спинами соучеников. Это старый трюк, приятель. Но у меня он не пройдет. Здесь тебе придется поискать дурачка, который попадется на эту удочку. Кто эти десять-двенадцать твоих сообщников, Руль?

— Об этом мне бы не хотелось говорить.

— Ага! Ну, этот момент — во всяком случае, пока — не представляет особого интереса. Но мне бы хотелось сейчас узнать от тебя: что ты, собственно, понимаешь под словом «прокисать»? Это словечко немецких битников, а?

— Нет. Под словом «прокисать»... ну, неужели вы не можете сообразить, господин директор? Такое настроение было в классе: учителям, в сущности, абсолютно наплевать, что с нами будет, что из нас выйдет, всерьез нами никто не интересуется. Да, мы прокисаем здесь, прозябаем! Мы уже не знали, куда нам податься. Мы ходили каждый день в школу, но толку от этого было мало. Да, толку было мало. Вот в чем дело.

Руль подтянул рукава своего свитера и несколько раз тяжело вздохнул.

Д-р Немитц погасил сигарету и впервые за все время взглянул на Рулля.

Випенкатен снова простонал:

— Это же...

— Ну, продолжай, — сказал Гнуц. — Итак, вы, по вашему просвещенному мнению, в этой школе ничему не научились?

— Нет, господин директор, это не так, мы не то имели в виду. Я...

— Извини, пожалуйста, сейчас я процитирую твои же слова! Три минуты назад мы с изумлением слышали собственными ушами, и потом ты повторил сказанное совершенно отчетливо, только другими словами; как звучала дословно последняя фраза, фрейлейн Хробок?

— «Но толку от этого было мало».

— Вот, пожалуйста, хочешь сам себя уличить во лжи, Руль?

Руль сказал:

— Можно мне сесть?

Випенкатен вздрогнул.

— Как считают коллеги? — спросил Гнуц.

— Но... но об этом и речи быть не может, — в ужасе сказал Випенкатен.

— Продолжай, Руль!

Руль опять поднял левое плечо.

— Я не знаю, как мне объяснить вам это, — пробормотал он. — Я неточно выразился: мы многому научились здесь по математике, истории, французскому, по немецкому, английскому и другим предметам. Почти по всем предметам. Но, если не считать уроков господина Криспенховена, господина Грёневольда и господина Виолата, это было все.

Гнуц протянул вперед обе руки и положил их на стол, слева и справа от белого листка ДИН-А4.

— Этого я не понимаю, — сказал он без всякой иронии.

Руль растерянно посмотрел на него и обернулся к д-ру Немитцу. Тот снова пускал к потолку спирали дыма.

— Может быть, ты переведешь нам все это на логичный немецкий язык, Руль, — сказал Гнуц. — Мы многому научились, почти по всем предметам. Но, кроме уроков господина Криспенховена, господина Грёневольда и господина Виолата, это было все.

Руль продолжал смотреть на д-ра Немитца, который теперь наклонился вперед, осторожно держа сигарету между большим и указательным пальцами.

— Мы учили наизусть бревиарий, но не знаем сущности христианства, — сказал Руль наконец.

— Вот как! Значит, ты говоришь о господине викарии Вайнштоке?



— Нет. Я евангелист.

— Но, Рулль, ты только что, секунду назад, сказал — как звучала эта фраза, фрейлейн Хробок?

— «Мы учили наизусть бревиарий, но не знаем сущности христианства».

— И вдруг выясняется, что ты евангелист! Это же чепуха какая-то, Рулль! Ты нас что же, дураками считаешь?

— Я не хотел ничего сказать о господине Гodelунде! — в ярости процедил Рулль сквозь зубы. — Он, пожалуй, из учителей лучше всех подготовлен. Я сказал бревиарий вместо «Малый катехизис». И кроме того, для нас дело было вовсе не в религии, вернее, не только в одной религии. Или, может быть, все-таки в религии. Но вообще...

— Вообще? — спросил Гнуц и снова посмотрел вокруг.

— Да, мы действительно многому выучились здесь в школе, господин директор! То есть, я хочу сказать, множеству, множеству нужных вещей, для работы там или для чего-нибудь еще. Но мы не научились ничему, что помогало бы жить, понимаете? Ничему, что помогало бы, ради чего стоило бы...

Рулль замолчал и, замкнувшись, посмотрел в окно.

— Ты с невероятным спокойствием говоришь о таких важных вещах, — сказал Гнуц и с ухмылкой посмотрел на своих коллег. — Я, Рулль, тоже мог бы процитировать: «Был темен смысл твоих речей». Но пока оставим это. Меня вот что интересует: как ты пришел к идиотской мысли напакостить именно таким образом?

Рулль присел на корточки, примостившись на собственных башмаках.

— Прекрати это безобразие! — сказал Гнуц.

Рулль поднялся.

— Я подумал: посмотрим-ка, что они на это скажут. Должны же они что-то сказать?

— Они?

— Наши учителя. Хотя бы некоторые. Некоторые из тех, кого это касается в первую очередь. Надо же нам научиться говорить с ними. Пусть они спросят: «А чего вы, собственно, хотите? Что с вами происходит?»

— Можно мне теперь осведомиться, кого ты имеешь в виду под этими некоторыми?

Рулль промолчал.

— Пожалуйста!

— Я считаю, что это нечестно, господин директор, если я сейчас скажу что-то о тех, кого здесь нет, кто не может защищаться.

Гнуц многозначительно усмехнулся.

— Тогда спокойно говори о тех, кто здесь! — сказал он приветливо.

Випенкатен снова выпрямился.

— Но это же невозможно! — сказал он.

Директор сделал вид, что не слышит.

Рульь посмотрел на него, пригладил волосы и пробормотал:

— Ну, например, доктор Немитц.

Обернувшись, Випенкатен посмотрел на своего коллегу отсутствующим взглядом.

— Что ж, прошу, — с насмешкой сказал д-р Немитц.

— У доктора Немитца обычно было так, — сказал Рульь. — Он входил, держа в одной руке «Альгемайне дойче цайтунг», в другой — пачку тетрадей для проверки и бутылку кефиру. «Доброе утро, ребята! Садитесь!» Он садился. Потом мы вынимаем свое чтение — «Процесс» или там что-нибудь другое, что мы как раз проходим, — и начинаем читать. Читаем в среднем по десять страниц. Когда десять страниц прочитаем, доктор Немитц говорит: «Читайте еще раз!»

— Читайте еще раз? — переспросил Гнуц и посмотрел на д-ра Немитца.

Д-р Немитц улыбнулся, подчеркнуто промолчал и изящным движением руки показал на Рулья.

— Чтобы мы лучше усекли, — сказал Рульь.

— А господин доктор Немитц не читал вместе с вами? — спросил Гнуц слегка растерянно.

Д-р Немитц нахмурился. Его улыбка несколько померкла.

— Нет. Он читал что-нибудь другое. «АДЦ». Или проверял тетради. Или пил кефир.

— Продолжай, Рульь! — раздраженно сказал Гнуц.

— Да, а когда урок кончался, он говорил: «Мы читали на этом уроке Франца Кафку, «Процесс» со страницы такой-то по такую-то. Дома напишите об этом сочинение».

— То есть, насколько я понимаю, изложение содержания?

— Да, изложение содержания. Или протокол урока.

Все это зачитывалось на следующем уроке. И потом все начиналось сначала.

— Описанный тобой ход урока ты считаешь типичным для моего метода преподавания? — небрежно спросил д-р Немитц.

— Наполовину, — сказал Руль.

— А вторая половина?

— Вы входили и начинали читать лекцию! Она наверняка была очень умной, но ни один черт не мог в ней разобраться.

— Ни один черт, — весело сказал д-р Немитц.

— Да, иностранные слова и весь набор модных терминов пролетали мимо наших ушей со свистом, так что мы вообще теряли способность соображать, а после лекции знаний у нас становилось еще меньше, чем было! От обилия слов мы не слышали самой речи.

От усталости Руль уже еле ворочал языком. Замолчал, он стал смотреть в окно.

Гнуц положил сдвинувшийся лист бумаги под прямым углом к краю стола и тоже молчал.

— В моем эссе «Schola meditationis»<sup>1</sup> я достаточно подробно говорил как о роли чтения про себя, так и о влиянии дидактических импульсов, — небрежно сказал д-р Немитц. — Среди специалистов эта статья вызвала заметный интерес.

Гнуц перестал двигать лист бумаги.

— Твоя... ну, назовем ее акцией — твоя акция была, стало быть, направлена в первую очередь против доктора Немитца? — спросил он быстро.

— Нет! — решительно сказал Руль. — Это я рассказал просто как пример, потому что доктор Немитц находится тут. Все это направлено против — ну, против всего этого... холостого хода, из-за которого мы здесь прозябаем.

Випенкату стоило немалых усилий сдержаться.

— Теперь мне было бы действительно интересно узнать, что не устраивает господ мятежников в моем преподавании, — сказал он. — О том, что говорилось до сих пор, я могу только сказать: этот камешек брошен не в мой огород.

— Нет, на уроках стенографии все было по-другому, — сказал Руль. — Господин Випенкату всегда был

---

<sup>1</sup> «Размышления о школе» (латин.).

хорошо подготовлен и все такое прочее, но когда кто-то не успевал, его вызывали к доске и ему не объясняли того, что он не понял, с ним просто разделялись, его словно обухом по голове трахали! И обзывали его невеждой, паршивой свиньей, абсолютным идиотом, духовным пигмеем, рахитичным кретином...

— Господин директор! — дрожа всем телом, закричал Випенкатен. — Я констатирую, причем вполне официально, что эта характеристика моих методов преподавания представляет собой клеветническую травлю самого дурного сорта! И если я когда-нибудь терял на уроке терпение, — что, впрочем, легко поймет каждый, кто имеет хоть малейшее представление о школе, — то исключительно потому, что этот шестой «Б», все эти типы вроде Рулля и его гоп-компании — это самые бесстыжие и бездарные люди, каких я встречал за тридцать три года, проведенных на школьном фронте! С таким же успехом я мог бы, вместо того чтобы пытаться обучить эту дикую орду, лаять на луну или метать бисер перед свиньями.

— Но не волнуйтесь так, дорогой коллега, — сказал Гнуц, заметно повеселев. — Я нахожу весьма увлекательным то, что сообщает нам здесь коллега Рулль! Гарун-аль-Рашид умел ценить критику снизу и, что мне лично представляется важным, умел делать из нее должные выводы, не так ли, коллега Немитц?

Д-р Немитц рассеянно закинул ногу на ногу, сунул руку в карман пиджака, вынул три стеклянные ампулы и проглотил таблетку апельсинового цвета.

— Я чрезвычайно сожалею, — сказал Гнуц, — что самому мне не выпало на долю вести преподавание перед этой великолепной элитой шестого «Б». Ваши упреки и порицания, ваши контрпредложения могли бы всерьез заинтересовать меня, Рулль! Или, не утруждая себя знанием дела, вы и мое преподавание включили бы в этот мощный поток реформации?

— Вы у нас никогда не вели уроков, — пробормотал Рулль. — Мне только не нравилось, что вы были так несправедливы в наказаниях.

— Несправедлив?

— Да. Вы появлялись в коридоре, когда в классе становилось шумно, потому что там еще не было учителя, распахивали дверь, хватали беднягу, который сидел на передней парте, даже если он вовсе не кричал,

записывали его в журнал, и потом весь класс получал бессмысленное штрафное задание.

— Бессмысленное! — сказал Гнуц и улыбнулся с некоторым усилием.

— Да, так по крайней мере я считаю. Переписать глав пять из учебника географии или в этом роде. И когда мы сдавали работу — обычно это было около десяти страниц, — вы на наших глазах разрывали листки в клочья. Я считаю, что это бессмысленно.

— Интересно! — сказал Гнуц и с кисло-сладким выражением посмотрел на своих коллег.

Д-ру Немитцу уже удалось снова прочно вооружиться своей снисходительной усмешкой, в то время как Випенкатея продолжал ожесточенно молчать.

— Мой милый Рулль, — сказал Гнуц, быстро повышая голос, — вот уже тридцать семь минут я слушаю эти невероятно вздорные и наглые разглагольствования, которые ты осмеливаешься произносить в нашем присутствии! Никто не может меня упрекнуть в том, что в моей школе не уважают достоинство ученика, никто. Возможно, я даже перешел границу благожелательного терпения моих коллег. Надеюсь, что потом они все же согласятся со мной. А теперь послушай меня, приятель: весь этот детский лепет и твой тон, которому ты научился, безусловно, не в нашей школе, а где-то в бескультурной среде, и который нам незачем принимать во внимание, вся идиотская болтовня ни в коей мере не извиняет, да и не объясняет твоих омерзительных художеств! Ни того, что ты развесил в школе, ни того, что ты намалевал на стенах уборной! Понятно?

— Да, но там это сделал вовсе не я!

— Как? Повтори!

— То, что там, на той стене, сделал не я, господин директор!

Трое учителей посмотрели друг на друга, словно их хватил удар. Гнуц опомнился первым.

— Это уже верх всего! — сказал он прерывающимся басом. — Разве ты не признался мне час назад, что ты, и ты один, виновен в этом хулиганстве?

— Нет, — сказал Рулль. — Я только сказал: это, вчерашнее, сделал я! Я имел в виду надписи! А тут вы мне дали затрещину. И я больше не успел ничего сказать.

— Фрейлейн Хробок?  
— Да, господин директор?  
— Восстановите сейчас же показания этого Рулля!  
— Пока велся протокол, он ни разу не признавался, что он автор этих художеств, — сказал д-р Немитц.

Гнуц обиженно посмотрел на него.

— Ну хорошо, — сказал он. — Итак, ты, ничтоже сумняшеся, утверждаешь, что эти свинские выходки не плод твоих усилий, Руль?

— Нет, это был не я, господин директор, точно не я! Я бы сказал. Когда я проходил здесь вчера вечером...

В дверь постучали.

— Войдите! — прохрипел Гнуц. — А, коллега Криспенховен! Хорошо, что вы пришли. Мы вас ждали.

— У меня только третий урок, — сказал Криспенховен.

— Я знаю, знаю. Это не в упрек! Будьте добры, сделайте мне одно личное одолжение: прежде чем я попрошу вас заняться вместе с нами этим действительно невероятным случаем заговора в вашем классе, пожалуйста, позовите сюда дворника! Фрейлейн Хробок в настоящий момент необходима здесь.

— Дворник сейчас в коридоре, моет окна, — сказал Криспенховен.

— Тем лучше. Пожалуйста, передайте ему. Не принесете ли вы еще один стул из приемной, фрейлейн Хробок!

Гнуц подошел к умывальнику, налил стакан воды, выпил и остатком увлажнил виски.

— Садитесь, пожалуйста, коллега Криспенховен! Господин Бекман, чтобы быть кратким: могу я просить вас повторить свои показания, которые вы сделали сегодня утром? Что вы видели вчера вечером, около половины одиннадцатого, перед общественной уборной: коротко и ясно?

Бекман стоял возле Рулля у окна, держа в руках измятую кепку; сдвинув каблуки, он заговорил:

— Значит, как я шел вчера вечером, около пол-одиннадцатого, по направлению от Берлинерштрассе к моей квартире в школе, вижу, значит, издавдалека, что ученик Руль, из шестого «Б», чего-то делает у стены общественной уборной.

— Вы абсолютно уверены, что это был Руль, господин Бекман? — спросил Криспенховен.

— Ошибки быть не может, господин Криспенховен, — я с ним даже трепался.

— Ну, Руль, — резко сказал Гнуц.

— Да, это примерно так и было. Только я этого не рисовал.

— То есть как?

— Это уже было, когда я проходил. Я только...

— Что?

— Я просто справил нужду.

— Господин Бекман!

— Это он тоже сделал, господин директор! А сперва он, должно быть, и намалевал то слово, масляная краска-то была свежихонька, когда я минуты через три подошел. И к тому ж у него и портфель с собой был.

— Руль!

— Я этого не делал, господин директор. Это уже было там, правда!

— Вы видели своими глазами, как Руль рисовал на стене, господин Бекман? — спросил Криспенховен.

— Нет. Чего нет, того нет! Когда я подошел, он, знать, как раз и кончил. А масляная краска была свежихонька, говорю вам! Я уж в таких делах толк знаю.

— Вы видели, что у него в сумке были кисть и краска? — спросил Криспенховен.

— Нет, я на это не глядел. Я ж тогда и понятия не имел про ту мазню.

— Руль, когда ты проходил мимо, стена уже была запачкана?

— Да, конечно, господин Криспенховен.

— Ты знаешь, кто это сделал?

— Нет.

Криспенховен посмотрел на директора, вздохнул и сгорбился на своем стуле.

— Скажи-ка, Руль, — спросил Гнуц, — откуда ты шел вчера вечером около половины одиннадцатого? Это весьма необычное время для прогулок, если учесть, что ты ученик.

Руль стал раскачиваться всем телом.

— Этого мне бы не хотелось говорить.

Гнуц удивился.

— Но это странно, Руль! Почему же ты не хочешь нам сказать? До сих пор ты был не очень разборчив в своих высказываниях.

— Я считаю, что это к делу не относится.

— Смотри, пожалуйста!

Гнуц потряс свою авторучку и снова что-то записал на листке.

— Вы готовы, фрейлейн Хробок?

— Да.

— Я считаю, много было сказано всяких слов, — резко сказал Випенкатен. — По мне, даже слишком много.

Гнуц какое-то время с омерзением рассматривал Рулля.

— Вы можете идти, господин Бекман, — сказал он решительно. — Этого юнца заприте опять в комнате для посетителей! А сами будьте наготове — возможно, вы снова нам понадобится.

— Сделаем, — сказал Бекман и повернулся.

— До свидания, — сказал Руллер и прошел перед дворником в дверь.

— До свидания, — пробормотал Криспенховен.

— Вы тоже можете идти, фрейлейн Хробок. Перепишите, пожалуйста, протокол сразу на машинку.

— Слушаюсь, господин директор!

— Закройте, пожалуйста, за собой двери!

Д-р Немитц с интересом посмотрел, как фрейлейн Хробок выполняет это приказание директора.

Гнуц молча выждал несколько секунд. Потом он выпрямился, снял очки, положил между ладонями на стол и сказал:

— Господа! Возможно, кто-либо из вас ложно истолковал мое добродушие и терпение. Ну хорошо. Буду краток: я, как руководитель этой школы, предлагаю немедленно исключить ученика Йохена Рулля, шестой класс «Б»...

— Я не думаю, что мальчик лжет, — перебил его Криспенховен. — Хотя я в настоящий момент не совсем в курсе, я все же не думаю, что Руллер лжет. Это такой мальчик...

— Господин Криспенховен, — сказал Гнуц, — в том, какой мальчик этот Руллер, мы успели разобраться, право же, лучше, чем вы! Мы — надеюсь, я могу говорить и от имени доктора Немитца и от имени коллеги Випенкатена — целый час бились с этим бандитом: это чудовищно коварный плебей. Положитесь на меня, самое позднее через пять лет у нас здесь будет лежать запрос по делу Рулля из уголовной полиции. Ко мне это уже не будет иметь отношения. Но пока я сижу за этим



столом, здесь будет порядок. Я это сказал, и сказал не в шутку.

Господа, как руководитель школы, я повторяю свое предложение: немедленно исключить! Мы сами выставим себя на посмешище, если позволим этим наглым негодяям сесть нам на шею. Мое предложение, не в последнюю очередь, сделано и в ваших интересах.

— Для исключения нам нужно решение педагогического совета, — сказал Випенкатен серьезно.

Гнуц с яростью взмахнул руками.

— Я, как руководитель школы, мог бы настоять на том, чтобы решить дело этого Рулля единолично, поверьте мне, дорогой коллега! Но хорошо: пусть ни у кого не создается впечатление, что я не уважаю принципы коллегиального руководства школой! Итак, господин Випенкатен, я возлагаю на вас поручение собрать совещание на — ну, скажем, на десять часов пятнадцать минут.

— Присутствовать должны только учителя данного класса или все?

— Все. Обсуждать так уж обсуждать.

— Но разве не полагается объявлять о совещании за три дня...

— В таких катастрофических случаях — нет, — отрубил Гнуц.

Криспенховен хотел еще что-то возразить, но Гнуц уже открыл дверь своего кабинета, первым вышел из комнаты и через плечо фрейлейн Хробок прочитал на машинке начало протокола.

— Всего хорошего, — сказал доктор Немитц.

— Всего хорошего!

Затемин сидел на базальтовой ограде и смотрел, как в высоких окнах коридора промелькнули директор, доктор Немитц и Випенкатен, направляющиеся в учительскую. Он прыгнул во двор, пригнувшись, пробрался вдоль ограды, спустился в подвал, к уборным, бегом промчался вверх по главной лестнице и постучал в дверь приемной директора школы.

— В чем дело? — спросила фрейлейн Хробок.

Затемин открыл дверь.

— Мы завтра пишем контрольную по математике, и я должен проследить, чтобы тетради у всех были в

порядке, фрейлейн Хробок. А ключ от шкафа — в кармане у Рулля!

Фрейлейн Хробок поднялась из-за своего столика, на котором стояла пишущая машинка, сняла с крючка ключ и молча и угрюмо прошла впереди Затемина к комнате для посетителей.

Она отперла дверь и сказала:

— Нужен ключ от вашего шкафа, Руль.

Руль сидел на полу и писал.

— Нет у меня его, — буркнул он.

— Нет естъ! — убежденно сказал Затемина и появился в дверях рядом с фрейлейн Хробок. — Конечно, естъ. И если дело не уладится, Дину и Лумумбе — каюк! Конечно, эти чертовы куклы заслужили, но все же постарайся сделать, что можешь.

Руль сунул руку в карман брюк, вытащил толстую связку ключей и отцепил один из них.

— О'кэй, — сказал он. — Рад встрече.

— Stand up and fight<sup>1</sup>, — сказал Затемина.

Он повернулся, и фрейлейн Хробок снова заперла за ним дверь комнаты для посетителей.

— Спасибо большое, — сказал Затемина. — Всего доброго.

— Всего, — пробурчала фрейлейн Хробок, вернулась к своему столику, зевнула, одернула юбку и хмуро принялась расшифровывать стенограмму.

— Господа коллеги! Я открываю педагогический совет, посвященный вопросам дисциплины. Единственный пункт повестки дня — дело Йохена Рулля, класс шестой «Б». Я вряд ли сообщу вам что-либо новое, тем не менее хочу еще раз изложить суть дела...

Гнуц сел, аккуратно разложил бумагу для заметок и цитаты и продолжал:

— Ученик Йохен Руль, шестой «Б», вчера утром перед началом занятий развесил на доске для объявлений, на дверях учительской, кабинета директора и класса шестого «Б», а также на обеих классных досках пять записок, содержание которых зафиксировано: вы можете с ним ознакомиться. Мне, совместно с дворником, удалось изъять эти объявления прежде, чем они смогли вызвать беспорядок.

---

<sup>1</sup> — Вставай и борись (англ.).

Тот же Рулль — это факт вполне вероятный, если не сказать, точный, вчера вечером, около двадцати двух часов тридцати минут, на обращенной к школе стене общественной уборной намалевал красной масляной краской свастику и слова: «Проснитесь, тревога!» Эту пачкотню, которая была осмотрена лично мной, коллегами Випенкатеном и Грёневольдом, а также дворником, я велел господину Бекману стереть со стены, дабы это не повлекло за собой общественного скандала. Я сделал это, не забыв, однако, сфотографировать все эти художества! Никогда нельзя знать, как все обернется.

Ученик Рулль между тем полностью признался, что он, причем он один, повесил вчера вечером эти карточки. Виновность в деле замаранной стены общественной уборной Рулль хотя и оспаривает, но показания дворника, который поймал этого парня с поличным возле свежей масляной краски, полностью изобличают Рулля.

Помимо того, названный ученик сам запутался в противоречиях. Так, например, он отказывается объяснить, почему он вчера вечером около двадцати двух часов тридцати минут оказался именно возле общественной уборной. И так далее!

Я, как руководитель школы, допрашивал этого парня в присутствии и при любезной поддержке коллег Випенкатена и доктора Немитца. Моя секретарша застенографировала показания ученика Рулля. Вот они перед вами, отпечатанные на машинке. Впечатление, которое создается у нас в связи с делом Рулля, не может быть истолковано двояко: отношение Рулля к школе чудовищно! Оно абсолютно негативно!

Рулль создал себе чрезвычайно извращенное представление о школе и преподавателях, которое психологически удерживает его, если воспользоваться терминологией Кро, в запоздалом периоде детского упрямства и ведет к фанатичной ненависти ко всему миру, каков он есть, в данном случае — к авторитету и порядку в школе! При этом Рулль не останавливается и перед такими средствами, как клевета и подстрекательство, он подрывает нравственность своего класса, старостой которого он к тому же является, и *last not least*<sup>1</sup>: он чернит доброе имя нашей школы, подрывает репутацию ее учителей. Это означает — вашу репутацию, господа,

---

<sup>1</sup> Последнее, но не менее важное (англ.).

и мою; компрометирует нас перед лицом общественности, создавая угрозу политического скандала. Причем в ходе всей этой подрывной и подстрекательской кампании Рулль ни на минуту не переставал сознавать, что он творит.

Учитывая чрезвычайную тяжесть этого преступления, я решил немедленно исключить из школы ученика Йохена Рулля, пока он не успел заразить и демобилизовать и без того морально весьма неустойчивый шестой «Б».

Я, как руководитель школы, мог бы вынести это решение единолично, но, действуя в духе коллегиальности школьного руководства, которого я всегда придерживался, я хотел бы заручиться вашей поддержкой.

Господа, вы выставите на посмешище себя и меня, а также — и это волнует нас всех гораздо больше — нашу школу, если не сумеете сейчас проявить солидарность, если твердо не осознаете, на какой шаг вы идете и на чьей вы стороне.

Гнуц судорожно разжал кулаки, выпрямил пальцы и положил свои руки, худые и аккуратные, на стол, справа и слева от чистой стопки бумаги.

— Кто-нибудь хочет слова? — спросил Гнуц уже без напряжения. — Коллега Грёневольд, прошу!

— Я прежде всего прошу, господин директор, еще раз выслушать мальчика здесь, на нашем совещании.

Гнуц снова сжал кулаки и удивленно оглянулся.

— Это требование, господин коллега?

— Пожелание, — сказал Грёневольд.

— Очень сожалею, — сказал Гнуц, поднял руки и улыбнулся. — Я, право же, не вижу смысла в том, чтобы мы снова...

— Тогда я свое пожелание высказываю в форме требования, — сказал Грёневольд.

Гнуц слегка покачал головой.

— Я вас не понимаю, дорогой коллега, — сказал он удивленно. — Ведь именно вы по особым, чисто человеческим причинам должны были бы чувствовать себя особенно задетым этим подлым выпадом.

— Я хотел бы столь же почтительно, сколь и настойчиво повторить свое предложение, господин директор.

— Следует ли понимать это так, что вы не доверяете данному протоколу, господин коллега Грёневольд? — неприязненно сказал Гнуц.

— Нет, господин директор. Напротив, я убежден,

что мальчик сказал именно то, что здесь написано. Но, не говоря уже о том, что этот «протокол» вовсе не протокол — метод постановки вопросов, например, остается, по крайней мере для меня, абсолютно загадочным, — совершенно независимо от этого я полагаю, что ответы мальчика были неправильно поняты и фальшиво истолкованы, разумеется непреднамеренно.

— Ну, это уже верх всего, — сказал Випенкатен, отодвинул свой стул и сгорбился.

— Ну, хорошо, — сказал Гнуц, словно перемалывая что-то зубами. — Приступим к голосованию, господа. Каково мое мнение на этот счет, вам известно!

— Смею обратить внимание коллег на то, — сказал Грёневольд, — что по школьным правилам этот педсовет должен был быть созван через три дня.

— О сроках созыва педсовета здесь единолично решает руководство школы, уважаемый коллега Грёневольд, — сказал Гнуц и опустил правую руку на стопку белой бумаги.

— Это было просто формальное замечание, которое я прошу внести в протокол.

— Мы не можем вот так, без всяких, игнорировать эту точку зрения, — вмешался Гodelунд.

Гнуц так и взвился.

— Приступим к голосованию. Господин коллега Грёневольд вносит предложение еще раз допросить на педсовете ученика Йохена Рулля из шестого «Б», хотя сегодня утром Рулля уже был подробно допрошен руководством школы в присутствии коллег Випенкатена и доктора Немитца и частично признался в содеянном. Я прошу поднять руки: кто присоединяется к контрпредложению руководства не допрашивать повторно ученика Рулля?

— Сначала нужно поставить на голосование само предложение, — сказал Гodelунд.

— Господа! В вашем более чем не коллегиальном поведении я усматриваю лишь попытку вставить спицу в колесницу руководства, — сдавленно проговорил Гнуц и забарабанил обоими кулаками по столу. — При случае я не замедлю вспомнить об этом, положитесь на меня! Итак, кто из вас поддерживает предложение Грёневольда? Поднимите, пожалуйста, руки! Четверо. Кто присоединяется к моему контрпредложению? Один, два, три! Три? Это скандал! Кто воздерживается? Одиннадцать. Господин Йоттгримм, вы ведете протокол?

— Так точно, господин директор!

— Я желаю, чтобы этот постыдный результат голосования, который я рассматриваю как выпад против меня лично, был бы запротоколирован точно и с указанием имен, понятно?

— Так точно, господин директор!

— Господин коллега Нонненрот, вы сидите у двери: приведите, пожалуйста, сюда наверх этого Рулля из комнаты для посетителей! Ключ у вас есть? Хорошо.

Гнуц сел.

— Господа, я потрясен. Я относился к каждому из вас в отдельности с чрезвычайной благожелательностью и кое-кого спасал от неприятностей, чего тот даже не подозревал. Но и мое желание идти вам навстречу имеет границы. Впредь вы узнаете меня совсем с другой стороны. Это уже слишком, господа. Повторный допрос ученика Рулля не представляет для меня ни малейшего интереса. Я поручаю вести его коллеге Грёневольду!

— Благодарю, господин директор!

Гнуц откинулся на спинку кресла и стал листать календарь знаменательных дат.

— Руully, ты величайшая скотина нашего века, — сказал Нонненрот в коридоре. — Я-то, парень, полностью на твоей стороне, но весь вопрос в том, как ты будешь выкидывать свои коленца! Если ты намерен в этом вывихнутом, дерьмовом мире лезть со своей правдой на рожон, то ты, дружище, не пробьешься в жизни! Ты и так уже завяз по уши. Я, конечно, не могу затевать склоку со стариком, не то бы я за тебя вступился! Но так — ты же понимаешь?

— Да, — сказал Руully.

Руully вошел вслед за Нонненротом в учительскую, остановился возле двери, посмотрел близорукими глазами на стол, имеющий форму подковы, за которым сидели учителя, и сказал:

— Доброе утро!

На приветствие ответили лишь немногие.

— Можно ученику сесть? — спросил Грёневольд директора.

— Нет!

Грёневольд посмотрел на Рулля.

— Почему ты вчера вечером не пошел сразу домой? — спросил он.

Рулле засунул в карман торчавшие оттуда листки бумаги и сказал:

— Мне хотелось посмотреть, как школа выглядит ночью.

Гнуц обменялся взглядом с д-ром Немитцем и нахмурился. Випенкатен покачал наклоненной головой.

— По пути в школу ты кого-нибудь встретил, с кем-нибудь говорил, Рулле?

— С господином Бекманом.

— А до этого?

— До этого я никого не встречал.

— Ты перед этим еще куда-нибудь заходил?

— Нет.

— А когда ты зашел в туалет, Рулле, стена уже действительно была измалевана?

— Да.

— Ты видел что-нибудь, что позволило бы узнать, кто незадолго до твоего прихода занимался этим безобразием?

— Нет, я ничего не видел.

Грёневольд повернулся к директору.

— Вчера до двадцати двух часов мальчик был у меня, — сказал он.

Випенкатен резко выпрямился на своем стуле. Д-р Немитц тонко усмехнулся, глядя на изумленное лицо директора.

— Дворник показал, что видел Рулля раньше двадцати двух часов тридцати минут возле уже испачканной стены. Чтобы пройти от моей квартиры до школы, нужно двадцать пять минут при быстрой ходьбе. В портфеле, который имел при себе Рулле, не находилось, прошу мне поверить, ни банки с краской, ни кисти. Даже не пытаюсь брать на себя роль детектива, я могу с высокой степенью вероятности сделать отсюда вывод, что мальчик не имеет отношения к пачкотне на стене туалета.

— Это еще не доказано! — сказал Гнуц несколько неуверенно и сделал себе какую-то пометку.

— Это был действительно не я, господин директор!

Гнуц не поднял головы от своих записей, а только сделал жест рукой в сторону Грёневольда.

— К пункту второму: расклеивание цитат! Вот пере-

до мной твои высказывания, Руль. Но прежде чем мы снова будем с тобой об этом разговаривать, я хотел бы знать другое: была ли непосредственная причина, повод, заставивший тебя повесить эти карточки именно вчера?

— Особого повода вчера не было. Я все время хотел это сделать. И с каждым днем это казалось мне все более необходимым.

— Доктор Мартин Руль, — не выдержал Нонненрот. Гнуц неприязненно посмотрел на него.

— А эти цитаты, Руль, — сказал Грёневольд. — Почему ты выбрал именно эти цитаты?

— Ну, я думал так: скажем им однажды то, чему они нас сами учили, что мы читали на их уроках, но что они сами не принимают всерьез, по-настоящему.

— Кто это они? — спросил Хюбенталь.

— Наши учителя.

— Ты, очевидно, имеешь в виду господина доктора Немитца? — спросил Хюбенталь.

— Нет, ведь, по существу, так было почти на всех уроках!

— Я отказываюсь от комментария, — сказал д-р Немитц.

Гнуц кивнул ему головой.

— В этом нет никакой нужды, коллега!

— Итак, эти тексты вы читали в школе? — спросил Грёневольд.

— Мы все эти тексты читали в школе! У меня был в кармане еще один тезис: «Абсурдное не уничтожает человека, оно бросает ему вызов». Да, а абсурдное — это для нас школа.

— Ну, знаете ли... — сказал Випенкатен, но на сей раз не закончил фразу, а удовольствовался тем, что покачал головой, причем казалось, что он никогда уже не перестанет ею качать.

— Руль, чего же все-таки ты хотел добиться своей акцией, если говорить конкретно? — спросил Грёневольд.

— Я думал, ну, теперь им придется с нами поговорить. Тут было только то, чему мы учились у вас. Да, и я надеялся, что у нас, наконец, будет шанс сказать, чего мы хотим.

— И о чем же вы хотели поговорить? — спросил Гodelунд с искренним интересом.

— Ну, о школе без души, например.



— А скажи-ка, Руль, — вмешался Харрах, — вы не думали при этом: «Ну, покажем же мы этим учителям! Поглядим, как далеко можно нынче зайти, оставаясь безнаказанным. Это будет провокация высший класс». Ну что, так было или не так?

— Нет. Мы от них ничего не хотели. Я ведь не сделал ничего такого... преступного, господин Харрах. А насчет провокации — да, я хотел спровоцировать их на разговор! Думал, а вдруг это будет иметь для школы какой-нибудь смысл. Я имею в виду настоящий смысл, который помогает жить, который дает возможность идти дальше.

— У вас есть еще вопросы, господин директор?

— Я уже сегодня утром спросил и услышал все, что хотел, коллега Грёневольд.

— Коллегия?

— Да, у меня есть еще вопрос, — сказал Йоттгримм. — Вы когда-нибудь пробовали нормальным способом затеять со своими учителями — как это лучше выразить? — разговор?

— Мы все время этого добивались, — сказал Руль. — Уже несколько лет. И иногда нам кое-что удавалось. Например, в пятом классе нам удалось организовать семинар «Христианство и коммунизм». Было два занятия, а потом все полетело вверх тормашками.

— Почему? — спросил Йоттгримм.

— Ну, учитель истории, который у нас тогда был, просто не пришел. Он сказал, все равно от этого никакого проку никому не будет, ему, мол, лучше давать уроки отстающим, по крайней мере он сможет отложить что-нибудь на черный день.

— А я и сейчас считаю это абсолютным идиотизмом — обсуждать с пятнадцати-шестнадцатилетними недотепами проблемы христианства и коммунизма! — воскликнул Матцольф. — Мы в этом сами ничего не смыслим, что же говорить о зеленых юнцах.

— Это и мое мнение, — сказал Хюбенталь. — Пусть сперва как следует выучат таблицу умножения.

— Ну, а еще? — спросил Йоттгримм. — Руль, какие еще у вас были попытки?

— Ну, в шестом у нас какое-то время каждую неделю были встречи в «Старом почтовом рожке». Это называлось «вечер установления контактов». Приходили двое-трое учителей и говорили, что они очень рады, что мы та-

кие милые ученики и в этой затхлой атмосфере хоть как-то выражаем свой протест. А потом мы выпивали...

— Есть еще вопросы?

Никто не отозвался, и Грёневольд сказал:

— Благодарю вас.

Гнуц только теперь перестал делать записи.

— Ты можешь идти домой, Руль, — сказал он коротко. — Решение педагогического совета будет передано твоим родителям в письменном виде. Приходить ко мне или к преподавателям абсолютно лишено смысла. А теперь я предлагаю перерыв на десять минут. Согласны?

Раздался грохот отодвигаемых стульев. Гodelунд открыл все окна.

— Вот! — сказал Нонненрот и вынул из своего ящика пустую бутылку из-под кока-колы. — Приятель Руль мне сейчас доставит бутылочку холодненького от дворника. Только быстренько, шевелись!

— Мальчик, почему ты не поговорил сначала с одним из нас? — спросил Криспенховен, прочищая свою трубку.

Он стоял с Грёневольдом и Вюлатом на ступеньках лестницы на первом этаже, а Руль стоял перед ними, вытянув вперед губы, с бутылкой кока-колы в руке.

— Мы же знали, что вам и так трудно приходится в коллегии, — пробормотал он.

— Чепуха. Вот теперь нам будет трудно — вытаскивать тебя из колодца, в который ты бросился очертя голову.

Спичка в руке Криспенховена почти вся обгорела, он взял ее за обгоревшую головку, повернул и все-таки обжег пальцы.

— Да, но не могут же они за четыре недели до окончания вышвырнуть меня! Я же не сделал ничего плохого.

— Могут, — сказал Грёневольд.

Руль заморгал и поднял левое плечо.

— В это я просто не верю. Этого не может быть! Мы не хотели им зла. Мы только хотели поговорить с ними. Неужели они этого не понимают?

— Ты ждешь слишком многого от своих учителей, — сказал Грёневольд. — И не только от учителей!

Руль вертел в ладонях бутылку.

— А вы не можете сказать что-нибудь в мою пользу? — спросил он. — Что-нибудь хорошее.

— Не только что-нибудь, — сказал Грёневольд. — Но я боюсь, что чем больше мы будем за тебя заступаться, тем меньше это поможет. Дело не только в тебе.

Руль пристально посмотрел на Грёневольда и опустил плечи.

— Ну тогда, тогда... — пробормотал он.

— Пока суть да дело, снеси колу господину Нонненроту, — сказал Криспенховен. — Потом иди в город и отдай починить очки. Где ты их опять раскокал?

— Шеф сбил их с меня.

— Вот как?

— Ничего, не беда.

— Ну, во всяком случае, отдай их починить. А дома я, на твоём месте, подождал бы говорить, а поел бы сперва и завалился бы спать. Позже, после обеда, можешь прийти к господину Грёневольду или ко мне. И к вам ведь, наверное, тоже, Виолат?

— В любое время!

— Ну тогда спасибо большое, — сказал Руль, помолчал и, шаркая, поплелся вверх по лестнице.

— Я вами восхищаюсь, господин директор, — сказал Йоттгримм. — Я на вашем месте не смог бы выдержать все это представление. Это неслыханная бесцеремонность по отношению к руководству и всей коллегии. Мы же просто потеряем свое лицо, если будем позволять такие вещи.

— Дорогой коллега Йоттгримм, когда вы просидите столько лет в школе, сколько я, и, быть может, когда-нибудь сами будете руководить школой, как это предстоит с пасхи нашему коллеге Матцольфу — теперь я могу выдать эту тайну, — то вы научитесь понимать, что на этом посту, как вообще на всяком руководящем посту, надо уметь давать говорить другим и действовать самому. Стремительно и бескомпромиссно! Вот тогда-то и выяснится, чье влияние сильнее. Моя обходительность часто бывает непонятна кое-кому из коллег, но ведь она может быть и дипломатическим приемом, приемом умелого руководства людьми, не так ли? — Гнуц улыбнулся.

— Да, но тем не менее этот сосунок вздумал над нами основательно поиздеваться! — загремел Нонненрот. —

Дудки! С Вилли Нонненротом этот номер не пройдет! Без железной метлы у нас в каждом углу полно дерьма будет. Таково, во всяком случае, мое убеждение. В этой трепотне насчет братства и прочего я не участвую. Потом нам, пожалуй, еще придется высказывать свою благодарность за то, что нам дозволено общаться с этими потомками нижних чинов древних германцев.

— Но самое потрясающее, господа, что этот наглый щенок еще нашел себе покровителя — причем среди нас! — сказал Хюбенталь.

— Называется — коллегияльности!

— *Advocatus diaboli!*<sup>1</sup>

— Я, откровенно говоря, не понимаю господина Грёневольда, — сказал Гаммельби.

— Это же старый трюк: втереться в доверие к ученикам и...

— Кривой нос, кривые мысли, — громко сказал Нонненрот.

— Ну, так далеко я бы не стал заходить, — притормозил Гнуц. — Хотя и я должен сказать, что роль, которую играет здесь господин Грёневольд, кажется мне более чем странной.

— С тех пор, как он здесь, в школе у нас бесконечные споры и пререкания, — сказал Хюбенталь.

— Ну, хорошо. Я рад, что фронты, наконец, определились. Я только надеюсь, что коллегия впредь будет знать, с кем она. Кто не за меня, тот против меня, господа!

— Здесь вы вполне можете на нас положиться! — сказал Нонненрот.

— Господа, руководитель школы должен знать, на кого он может опереться, а кто имеет на него зуб. И тут я должен сказать: господин Гюделунд ужасающим образом разочаровал меня. Я не ожидал такого вероломства.

— Не играют ли тут определенную роль соображения вероисповедания быть может даже бессознательно? — спросил Хюбенталь. — Этот Руль ведь евангелического вероисповедания, или нет?

Гнуц махнул рукой, давая понять, что не придает этому значения.

— Можно говорить что угодно, — вдруг вмешался Матушат, — а в Восточной зоне такой бунт невозмо-

---

<sup>1</sup> Адвокат дьявола (латин.).

жен. В их лавочке строжайшая дисциплина. У меня зять учителем в Баутцене, так что я могу себе позволить иметь суждение на этот счет.

— Возможно, вы и правы, уважаемый коллега, — сказал Хюбенталь. — Но я смотрю на всю эту историю еще и с другой точки зрения: наши парни вполне могут помешаться от этих чудовищных программ. Чем мы только не забиваем им головы, какой чепухой! Лишь бы можно было сказать, что наши ребята вполне современные. Но от всего этого в головах у них получается винегрет. Нет, то, что я говорил на последнем собрании, снова подтверждается: *multum non multa*<sup>1</sup>. Мы должны иметь мужество как-то сократить программу.

— Вы знаете, что я придерживаюсь иного мнения, — перебил его д-р Немитц. — Вы недооцениваете рецепторную способность юношеского мозга. А ведь именно современное искусство, если мне позволят исходить из моего предмета, дает такие возможности для интенсивной духовной деятельности, которые мы просто не имеем права игнорировать.

— Блоковое обучение, — сказал Риклинг. — Блоковое обучение — вот единственно правильный метод. Иначе у нас будут бесконечные осечки.

— Кому вы это говорите!

— Это вопросы методики, — резюмировал Гнуц. — Они важны — нет сомнений. Но главным было, есть и остается вот что: из мальчишек, которых нам доверили, должны вырасти порядочные люди.

— Разумеется.

— И порядочные немцы, — сказал Риклинг. — Этого мы тоже не должны забывать.

— Порядочные немцы и порядочные христиане, — добавил Йоттгримм.

— Господа, я думаю, нам надо стараться как можно скорее разделаться с этой неприятной историей, — сказал директор. — Ведь в конце концов у нашей школы есть и другие задачи, помимо того, чтобы четыре, пять часов биться с упрямым, как козел, юнцом.

Нонненрот быстро двинулся по направлению к туалету.

— Шагать врозь, а спать вместе, — рывкнул он.

---

<sup>1</sup> Многое, но не много (латин.).

Годелунд стоял у ворот школы и чистил яблоко.

Когда Рульль вышел из сарая, где стояли велосипеды, учитель закона божьего сказал:

— Я поступил бы против своей совести, если бы одобрил то, что вы затеяли, Рульль. Вам бы следовало немножко лучше относиться к своим учителям. Я думаю, что сегодня должен дать вам этот совет.

— Извините, пожалуйста, — пробормотал Рульль, сел на велосипед и поехал в город.

— Говорить придется вам, — сказал Криспенховен. — Я на педсовете никогда не могу рта раскрыть.

— Говорить — пожалуйста, но к кому обращаться, Криспенховен?

— Апеллируйте к тому хотя и не очень-то развитому чувству справедливости, которым мы по крайней мере намерены руководствоваться, — сказал Виолат.

— Виолат, я ведь даже не верю в то, что коллеги, занимающие противоположную позицию, не жаждут справедливости, что им не хватает доброй воли. Им не хватает совсем другого, того, что в трагической мере вообще отсутствует у этого народа: юмора и благожелательности. Если бы нам удалось дать какой-то импульс их сердцу, всего лишь маленький толчок, чтобы оно не стояло по стойке «смирно» так безупречно и так педантично, тогда вся эта история обернулась бы своей человеческой, юмористической стороной и не вылилась бы, чего я опасаясь, в тяжелую трагедию, замешанную на глупости, муштре и деспотизме.

Они увидели Затемина, который поднимался к ним по черной лестнице.

— Тебе еще что здесь надо? — спросил Криспенховен. Затемин не мог перевести дыхания.

— Кажется, я догадываюсь, — сказал Грёневольд.

— Пойти сказать, что это я? — спросил Затемин и глотнул воздуха. — Что я сделал эту надпись? А свастика уже была до меня.

— Уже была?

— Да.

— Ну, самое время, приятель, — сказал Криспенховен. — Бегом к шефу.

Грёневольд удержал Затемина за рукав.

— Нет, — сказал он. — Во всяком случае, не те-

перь. Судя по всему, Руллю это уже не поможет, а тебе будет уготована та же участь. Нас ты, во всяком случае, поставил в известность. Позаботься-ка лучше о Рулле!

Затемин нерешительно повернулся.

— Могу я на тебя положиться? — спросил Грёневольд.

— Да, — сказал Затемин. — Сегодняшний день меня многому научил.

Они молча смотрели, как он мчится вниз по лестнице.

— Наверное, вы правы, — сказал Виолат.

Криспенховен покачал головой и ничего не ответил.

Гнуц постучал своим перстнем с печаткой по пластмассовой крышке стола. Дебаты быстро затихли.

— Господа коллеги, — сказал он и перемешал пять карточек, — я думаю, у всех нас теперь такое чувство, что в темном деле Рулля мы не пренебрегли ничем, решительно ничем, что могло бы способствовать прояснению и пониманию этого дела. Это хорошее чувство, чувство объективности и справедливости. Но объективность и справедливость являются здесь, в школе, как и повсюду, предпосылкой честного приговора — оцениваем ли мы классную работу или решаем судьбу юноши. К сожалению, сегодня перед нами стоит именно эта задача, и я знаю, как трудно каждому из вас дается такое серьезное и ответственное решение. Гораздо труднее, нежели юнцы, вроде этого Рулля, могут себе представить. Но я хотел бы повторить: мы сделали больше, нежели в человеческих силах, чтобы составить себе объективное и справедливое представление об этом деле. Теперь каждый воспитатель должен руководствоваться двумя главными принципами: любовью и строгостью, чтобы сделать правильные выводы из того, что мы узнали. Разумеется, я бы хотел, прежде чем мы вынесем свое решение, еще раз услышать ваше мнение.

Что касается меня — я сейчас говорю не как руководитель школы, а как ваш коллега, — то я, к моему величайшему сожалению, считаю себя обязанным настаивать на своем требовании о немедленном исключении из школы ученика шестого класса «Б» Йохена Рулля. Недавний повторный допрос Рулля, вести который любезно согласился уважаемый коллега Грёневольд, не дал нам ничего нового, во всяком случае ничего, что снимало бы

с него вину. Я готов согласиться с коллегой Грёневольдом в том, что участие Рулля в паклотне на стене общественной уборной нельзя считать стопроцентно доказанным, хотя я лично, замечу в скобках, в противоположность коллеге Грёневольду отнюдь не убежден в том, что этот поступок не на совести Рулля. Но хорошо, отбросим это — что, в сущности, меняется? Не меняется ничего, кроме, быть может, угла зрения.

Мы ни в коем случае не должны недооценивать значения случившегося. Мы, очевидно, вообще не можем себе представить, господа, какие трудности и неприятности свалились бы на нас, если бы общественности стало известно, что один из наших учеников действительно нарисовал эту свастику. Пресса, комиссия по делам школы и культуры, правительство — боже, у меня волосы встают дыбом, стоит мне только об этом подумать. Ну, хорошо, будем надеяться, что мы избавлены от этих неприятностей, этого позора — но, как и прежде, совершенно несомненно одно, что ученик Руллер пытался оклеветать своих учителей или по крайней мере некоторых из них, пытался затоптать их в грязь, опорочить в глазах соучеников. И что еще больше отягощает его вину — он пытался настраивать своих соучеников против педагогической коллегии, какой бы псевдолитературный характер он ни старался придать своим акциям. Господа, на такую подлость по отношению к нам и школе есть только один ответ: исключение, и немедленное!

Гнуц откинулся в кресле и зажег сигару.

— Прошу, коллега Грёневольд!

— Сначала один формальный вопрос, господин директор. Если я вас правильно понял, то вы настаиваете на своем требовании об исключении даже в том случае, если мальчик не участвовал в этой стенной росписи?

— Именно так, вы правильно меня поняли!

— Благодарю, пока я хотел услышать только это.

— Коллега Випенкатен, — сказал Гнуц.

— Господин директор, коллеги, вот уже три часа я слежу за тем, сколько шуму, сколько суеты может нынче вызвать ученик, который не представляет из себя ничего, кроме того, что он опасный для всех подстрекатель, действующий исподтишка. И который только и делал, что занимался продуманной, клеветнической травлей, направленной против нас.

Когда я — с тех пор прошло уже больше тридцати



лет — посещал семинар, имело хождение загадочное, привлекательное выражение «век ребенка». Я тогда не совсем понимал, что, собственно, оно означало. Теперь я знаю. Вот Его Величество Ребенок, ученик, а вот учителя в роли культурлакеев и если так будет продолжаться и дальше, то в скором времени — и придворных шутов.

Господа, в мое время ученику, у которого столько на совести, как у этого Рулля, директор с треском закатывал пощечину и выпроваживал его за дверь прежде, чем он успевал открыть рот, и никто не проливал по нему слез. Я знаю, что некоторые из вас про себя назовут это прусскими методами или палочной педагогикой, но, господа, в наших школах царили порядок и дисциплина, а нынче Его Величество Ученик сел нам на шею. А почему? Вот уже почти пятьдесят лет в Германии систематически подрывается всякий авторитет.

Мы, старики, пережили это на собственной шкуре, господа. Сначала подрывался авторитет монархии — слева. Потом авторитет Веймарской республики — слева и справа. После сорок пятого всякий авторитет, любой авторитет «третьего рейха» затапывался в грязь, а ведь в конечном итоге речь идет о правительстве нашего германского народа, которое когда-то было свободно избрано по демократическим правилам игры, господа. А нынче каждый кому не лень может безнаказанно порочить правительство нашей Федеративной республики. То, что еще осталось от авторитета к западу и востоку от железного занавеса, ежедневно и ежедневно обращают в прах. Я уже не говорю об избирательных кампаниях.

Таков, господа, исторический и политический фон, на котором разыгрывается трагедия падения нравов нашей молодежи. Ибо, как в большой политике, так и в скромных пределах школы, мы, учителя, — как будто над нами тяготеет проклятие — на протяжении этих четырех, пяти десятилетий оказываемся объектом клеветы и дискредитации! Все равно, исходит ли она от той или другой партии, от той или другой церкви или от родителей. Да, это, быть может, самое ужасное во всей сегодняшней печальной истории: нынче родители не только не могут сами воспитывать своих детей, они пытаются открыто или путем интриг помешать нам, педагогам, выполнять свой долг и принимать решительные меры. Если же кто-то из нас действует решительно, то против него ополчаются родители, пресса и, что самое гнусное, его собст-

венное начальство. Я уже достаточно заработал из-за этого пинков, господа.

— Кто честно делает свое дело, тот всегда остается в дураках, — сказал Кнеч.

— А если говорить о социологической стороне ваших выводов, коллега Випенкатен, то тут нам попросту не измерить возможных последствий, — сказал Хюбенталь.

— Вот именно.

— Господа, — сказал Йоттгримм, — я вполне согласен с мнением коллеги — извините, я еще не запомнил всех имен!

— Випенкатен.

— Господин Випенкатен — мой заместитель, — сказал Гнуц.

— Я разделяю ваше мнение, дорогой коллега: школа обязана бороться с тенденциями к отказу от старых человеческих ценностей — я имею в виду долг, повиновение, приличие, авторитет, порядок. Короче: школу необходимо оградить от чудовищного падения нравственности и ослабления авторитета воспитателей. Это в интересах школы, в интересах нашего народа. Боюсь, что потом будет поздно. Сейчас, так сказать, даже не без пяти двенадцать; уже бьет двенадцать. Кто любит свое дитя, наказывает его вовремя, сказал один великий немецкий педагог. Не поймите меня превратно, господа: я требую всего лишь ласковой, но здоровой твердости. А это, несомненно, предусматривает, что такой партизан, как Руль, должен быть расстрелян!

— Как вы сказали? — спросил Грёневольд.

— Я выразился образно, — сказал Йоттгримм. — Такой партизан, как Руль, просто неуместен в школе. Зачем нам эта слезливая гуманность, если от нее нет никакого проку?

— Да это в конце концов и ученикам не на пользу, — сказал Матушат.

Гнуц вмешался в разговор:

— Слово имеет классный руководитель.

— Я думаю, вы видите мальчика в неверном свете, господин Випенкатен, — сказал Криспенховен и заерзал на стуле.

— Я вижу его в верном свете, можете мне поверить, господин Криспенховен. Такой тёртый калач, как я, не позволит забивать себе мозги псевдоидеалистической че-

пухой, состоящей на одну восьмую из литературы и на семь восьмых из наглости, каковая смесь, кстати, произвела на некоторых господ впечатление, как мне кажется.

— Очень правильно.

— Конечно, пустой треп.

— Прошу тишины, господа, — воскликнул Гнуц. — Первым попросил слова классный руководитель.

— Я знаю мальчика вот уже четыре года, — сказал Криспенховен. — Именно столько лет я в шестом «Б» классный наставник. И веду там математику и химию. Руully не коварен. Он иногда просто как телок, да, как слон в фарфоровой лавке. Он может вызвать раздражение. И у меня тоже. Но, по существу, он добродушный и честный.

— Ну, этих свойств я в нем не подметил! — крикнул Хюбенталь.

— Я вам приведу пример, — сказал Криспенховен. — Мы недавно совершили с классом туристскую поездку в Голландию. Господин Виолат тоже был с нами, он может подтвердить то, что я говорю. В Амстердаме Мицкат сломал ногу, и ему пришлось остаться в клинике. Я еще и сам не успел об этом подумать, а уж Руully является ко мне и говорит: «Господин Криспенховен, мы не можем оставить Мицката одного. Я останусь с ним».

— Выслужиться хотел, — сказал Випенкатен.

В разговор включился Виолат:

— У меня не создалось такого впечатления. Руully не тот человек. Он прямой, непосредственный, бесхитростный.

— Он хитрее, чем вы думаете, — сказал Матушат.

— Проныра он! — подал голос Нонненрот.

Криспенховен попытался снова раскурить свою трубку.

— Я признаю, — сказал он, — что его поступок с вывешиванием карточек просто неуместен.

Д-р Немитц вдруг захихикал.

— Он вел себя неподобающим образом, и его надо наказать, — сказал Криспенховен. — Но я считаю, что мы не должны сразу же прибегать к самому суровому наказанию. Подумайте, что это означает для мальчика: исключение за четыре недели до выпуска. Я предлагаю сообщить его родителям, что при новом проступке ему угрожает исключение.

— Господа, вы слышали предложение классного ру-

ководителя? — сказал Гнуц. — Кто-нибудь еще хочет выступить? Коллега Риклинг.

— Я должен снова вернуться к тому, что недавно сказал господин Випенкатен: ученику, который ведет себя столь строптиво и упрямо, не место в школе. До чего мы докатимся, если каждый ученик будет иметь собственное мнение о преподавании, да еще будет пытаться настаивать на нем? Это теневые стороны демократии, господа, впрочем, не только это. Каждый сопливый мальчишка позволяет себе иметь собственное мнение и еще пытается навязать его нам.

И вот еще что. Тут я должен энергично возразить господину Криспенховену: мальчишка вовсе не добродушен, он не увалень, он совершенно точно знает, чего хочет, он себе на уме. Я этого Рулля заметил еще четыре года назад, когда преподавал в третьем классе географию. Мы проходили Китай, и я его спросил про Гонконг. Но не тут-то было. Знаете, что этот болван мне ответил: «Я Гонконг знаю только по названию. А бывать мне там не доводилось». Я, конечно, тут же его записал в журнал...

— Но это же... — сказал Випенкатен.

— Типично.

— Уже тогда — парню было лет тринадцать-четырнадцать — в нем таилась злоба, — сказал Риклинг.

— Нет, господа, такой нам здесь не нужен. Из всего сказанного может быть только один вывод: вон из школы, закрыть ему путь к дальнейшему образованию! Пускай станет каменщиком, может, на работе уймется.

— Работать эти плебеи тоже не желают, — сказал Кнеч. — Только склоки затевать!

Гнуц с удовлетворением отметил благоприятную перемену в настроении собравшихся.

— Следующим просил слова господин Виолат.

— Мне кажется, мы должны были бы подойти к этому делу и с совсем другой стороны — с точки зрения психологии. Мальчик родился по ту сторону, в Силезии, в сорок пятом, среди поляков. Его отец был в плену. Вернувшись после долгого отсутствия на Запад, он нашел уже пятилетнего мальчика. Отец — я хорошо знаю отношения в их семье — всегда был и так и остался для сына чужим. Кто хоть немного разбирается в психологии, легко может себе представить, как это травмировало его душу.

— Вот этого-то я и ждал, — сказал Нонненрот. — Только психологии не хватало, чтобы все окончательно запуталось. Не будем себя обманывать, господин Виолат: раньше в такой истории все было бы ясно, как при сборе гороха: хороший в корзину, а плохой — свиньям на корм. А нынче по каждому поводу начинается треп с применением психологии. Появится какая-нибудь скотина и наделает тебе на башку, сразу же тут как тут мозговых дел мастер и поясняет, что это вовсе не та милая скотинка нагадила тебе на башку, а что все дело в эдиповом комплексе. Хватит! Этому пророку из Богемии и Моравии, который возвестил о великой миссии нижней части живота, надо было стать торговцем нитками, а не изобретать вопросники для сексуальных преступников и наркоманов.

— Ты прав, — задумчиво сказал Гаммельби. — В скором времени за каждым учителем в класс будет следовать врач-психиатр.

— Прощу спокойствия, — энергично сказал Гнуц. — Господин Виолат, пожалуйста.

Виолат сплел пальцы обеих рук, опустив их между коленями, и смотрел в пол.

— Мальчик, бессознательно конечно, весь еще находится в материнском мире, в области эмоций, в фантазии, в сфере душевных переживаний. Поначалу этот мир душевных переживаний был для него неразрывно связан с материнским началом. Теперь, на грани половой зрелости, он сменяется миром искусства.

— Какое там, наглотался современной литературы, а теперь блюет этот винегрет прямо на нас! — пролаял Нонненрот.

— Чего мальчику недостает, как, впрочем, и многим другим в наше время, — сказал Виолат, — это уважения к отцу, согласия с отцом. Проще говоря: он любит мать и ненавидит отца. И не столько своего собственного, родного отца, сколько вообще мир отцов, мир авторитета, порядка, законности.

— Слушайте, ребята, бросьте вы эту чепуху, — сказал Нонненрот и заломил руки. — Раньше это называлось просто и убедительно: переходный возраст, и было от него прекрасное средство: дать как следует по заднице — так сказать, по заслугам и честь!

— Я попрошу вас все-таки, — сказал Гнуц, с трудом подавив улыбку.

Виолат продолжал, не поднимая головы:

— Если мы пойдем на то, чтобы исключить мальчика, его духовному развитию будет нанесен непоправимый урон, и это, быть может, навсегда толкнет его в состояние психической неуравновешенности и сделает невротиком.

— Говорят, теперь каждый десятый немец — неврастеник, — сказал Кнеч. — Читали об этом?

— Нет, но каждый четвертый американец — точно.

— А в России этого не знают! — воскликнул Риклинг.

— Ну, не скажите, — покровительственным тоном сказал д-р Немитц. — Если вспомнить Достоевского... Но уж в Китае-то наверняка дело обстоит по-другому.

— Они в нашей декадентской Европе еще тоже работают хорошие неврозики, — сказал Нонненрот.

— Господа! Кому говорить, пока решаю я. Прошу вас, господин Виолат.

— Мальчик сейчас находится в процессе выздоровления, как ни странно это звучит. Насколько это выздоровление продвинулось вперед, иными словами, насколько он уже выздоровел, я мог убедиться недавно, когда он нарисовал передо мной образ идеального учителя. Это, без сомнения, был его классный руководитель, его он имел в виду, к нему впервые было адресовано его признание, его духовное согласие с отцовским миром.

Мне кажется, нам следовало бы прежде всего разобратся в психологии этого юноши! Это не означает, что мы должны одобрить все, к чему приводят его многочисленные комплексы. Но мы прежде всего должны его понять. И главное: мы должны ему помочь.

Нонненрот поперхнулся.

— А эту задачу мы сможем выполнить только в том случае, если дадим мальчику возможность сбалансировать силы, которые разрывают его; и надежда на это допустима лишь в том случае, если мы его не исключим. Поэтому я присоединяюсь к предложению классного руководителя.

Виолат вдруг встал, взял ключ от туалета и вышел.

— Несомненно, интересный аспект, — сказал Гнуц. — Кто-нибудь еще хотел бы высказаться по делу Рулля?

— Проголосуем наконец, — вмешался Риклинг. — Время идет к двенадцати.

— Дорогой коллега, это не должно помешать нам соблести чрезвычайную осмотрительность, — сказал

Гнуц. — В такой ситуации, как эта, когда речь идет о радостях и горестях молодого человека, мы не должны скупиться ни на свое время, ни на свои усилия. Господин доктор Немитц просит слова.

— Я не могу избавиться от ощущения, что здесь лежит в родах некая психологическая гора, которая рождает дисциплинарную мышь, — сказал Немитц и взял сигарету. — Конечно, все, что здесь говорилось по... у меня язык не поворачивается сказать по «делу Рулля», я предпочитаю говорить о «руллевском демонстративном поведении»... и сейчас и вообще, — все, что здесь было высказано по этому поводу, очень трогательно: сочувствие просто переливается через край. И я не хотел бы, несмотря на то, что и я принадлежу к тем, против кого ополчился наш юный Катилина, я вовсе не хотел бы задавать вопрос, который в общем-то напрашивается сам по себе: не перестарались ли мы в своем желании делать добро? Нет, перестараться здесь невозможно: ведь в наших руках самый благородный материал, который существует на этой земле, — человек, молодой человек.

Но — и этот вопрос не риторический, я действительно вас спрашиваю: не приписываем ли мы в этой дискуссии нашему фрондеру такой уровень, которым он, просто по бедности мысли, вовсе не обладает? Не проецируем ли мы свои собственные, очень серьезные проблемы на грубый экран?

Для меня этот Руль — классический пример пролетария. Не лишенный способностей, обладающий завидной жизненной силой, он абсолютно не в состоянии вникать в более сложные проблемы и ситуаций. Он не способен различать те промежуточные тона, без которых немислима культура, как сюжет художественного произведения без какого-то общего настроения, атмосферы; но при этом он достаточно чувствителен, чтобы *reu à reu*<sup>1</sup> ощутить свою принадлежность к низам, и потому он, полный неприязни, восстает против всего, что мы в своей школе — как и во всякой другой школе Западной Европы — привыкли ценить, что определяет всю нашу жизнь и за что многие и лучшие из нас готовы были умереть! Уважаемый коллега Випенкатен уже упомянул некоторые из этих элементарных понятий: порядок, справедливость, долг. Я хотел бы этот список дополнить хо-

---

<sup>1</sup> Постепенно (франц.).

тя бы еще такими понятиями, как вкус, стиль и шарм. Все это категории, которые недоступны такому чурбану, как Руль, и всегда будут недоступны.

Д-р Немитц откинулся на спинку, покачался на задних ножках своего стула и посмотрел вверх.

— Господа коллеги, этот недоразвитый мечтатель, вздумавший исправить мир, решил всех нас — себя я ни в коей мере не исключаю — обвести вокруг пальца; он ведет себя как пресловутый слон в фарфоровой лавке, он грубо нарушает правила игры, по которым действует «педагогическая провинция», и не только она. Мы близки к тому, господа, чтобы пасть жертвой одной из самых трогательных слабостей цивилизованного человека: его *faible*<sup>1</sup> к примитиву! Да, я даже склонен видеть здесь некоторую аналогию с амбивалентной симпатией многих интеллектуалов к коммунизму. Господа, позвольте мне нарисовать перед вами гротескную картину: мы со своим разросшимся до самопожертвования благородством растим себе троянского коня! От дальнейших пояснений я, как мне кажется, могу воздержаться.

Д-р Немитц откинул голову и усмехнулся в потолок.

— Уважаемый коллега Куддеверде, — сказал Гнуц.

— Можно мне уйти, господин директор? Мне еще нужно в больницу.

— Прошу вас остаться до голосования, коллега. Я бы не хотел, чтобы из-за чистой случайности мы получили результат, который неточно отразит наши убеждения.

— Я уполномочил господина Нонненрота проголосовать за меня.

Гнуц помедлил, потом быстро сказал:

— Ну хорошо. Это другое дело. Тогда вы, разумеется, можете идти. Пожалуйста, кланяйтесь вашей супруге, коллега. Желаю ей скорейшего выздоровления.

Нонненрот посмотрел на стенные часы и закатил глаза.

— Вот мы уже и в новую эру вступили, — сказал он.

— Еще кто-то просит слова? Господин коллега Грёневольд, прошу.

— Но только уж побыстрее закругляйся, — сказал Нонненрот. — Мы тут взмокли от усердия, и все из-за какого-то недоделанного большевика.

Грёневольд подождал, пока станет тихо.

---

<sup>1</sup> Пристрастия (франц.).



— Я хотел бы прежде всего предложить коллегии выдать ученику Руллю за заслуги в оживлении *spiritus loci*<sup>1</sup> вместе с выпускным свидетельством в награду книгу.

Д-р Немитц перестал рассматривать потолок, зажег сигарету и с интересом повернулся к Грёневольду.

— Мальчик хотел, чтобы между учителями и учениками снова начался настоящий разговор: сегодня такой разговор состоялся, хотя, как и следовало ожидать, после длинных монологов, с нашей стороны была продемонстрирована весьма сильная глухота. Руллю хотелось, чтобы на место передачи мертвых знаний пришла живая и продолжительная дискуссия. Он думал о школе, о том, как приблизить ее к жизни, оживить, вселить дух молодости, чтобы она обрела смысл в жизни и для жизни. Он протестовал против нашей страсти к покою и удобству, против рутины, чванства и заносчивости, против предрассудков, ханжества и деспотизма. Я догадываюсь, что школу призывают проснуться не только из-за спящих учеников.

— Скажите, вы это всерьез? — спросил ошеломленный Гнуц. — Здесь такие шутки неуместны.

— Никакого порядка, — простонал Випенкатен.

Нонненрот взволнованно растирал мочки ушей.

— Крючкотворство!

— Вот уж поистине: если господь захочет наказать...

— Прошу тишины, господа, — строго оборвал всех Гнуц. — Вы кончаете свои странные рассуждения, господин коллега Грёневольд?

— Нет, пока не кончаю. Здесь не раз с пеной у рта говорили о безудержной ненависти Рулля к так называемым нерушимым ценностям и принципам; при этом произносились такие громкие слова, как повиновение, долг, дисциплина, беспрекословное подчинение, авторитет, уважение, порядок, приличие. Великие, волнующие, достойные почитания понятия — я удивляюсь только, с каким знанием дела, с какой непоколебимой уверенностью бросают в бой эти слова. Будто со времен Фомы Аквинского или Канта история не претерпевала страшных, опустошающих кризисов, а застыла в неподвижности, сохранив все свои ценности. Словно не было французской революции, Маркс был благоглупостью, Дарвин — мошенником, Ницше — второстепенным яв-

---

<sup>1</sup> Атмосферы, настроения (латин.).

лением в медицине, «третий рейх» — легендой, атомная бомба не падала на Хиросиму, а мировые войны происходили в далекой Турции.

Я уже давно понял, что основная масса человечества не проявляет интереса к главным проблемам нашего времени; но так отчетливо, как сегодня, эта мысль никогда у меня не возникала. К сожалению, я не разделяю оптимизма тех, кто полагает, что эта основная масса сможет притормозить ужасающее развитие нашей истории.

В школе, и боюсь, не только в ней, процветает столь же трогательный, сколь и опасный культ реставрации. Испокон веков в школе проводятся реформы. Результатом этих реформ являются, как правило, новые планы прохождения материала, то есть программы, древние, как музейные экспонаты, и утопические постулаты. Кризис школы — это не только кризис нашей системы, но прежде всего кризис человека. Кризис учителя, как человека, который должен учить самому важному в наше время и который сам не знает, что важно, не имеет никаких принципов. И кто не испытывает этих страшных сомнений, сомнений в существовании своей миссии, тяжелой и великой миссии учителя — тот субъективно, возможно, и счастлив, но я боюсь, что его преподавание и то воспитание, которое он получил, принадлежат к культу анахронизмов и играют не последнюю роль в том чудовищном спектакле, где каждый делает вид, будто мы живем в тиши, вдали от истории, а не в вихре одной из самых страшных катастроф, которые нам известны, в эпоху, которая знакома нам лишь в трагическом значении этого слова.

Боюсь, что в моральном отношении наша школа удовлетворяет сегодня разве что требованиям девятнадцатого века, но никак не требованиям нашего времени. Мы берем на себя парадоксальную задачу воспитывать граждан, которые, как мы надеемся, выбросят за борт вчерашние революции! При этом я испытываю безграничное уважение к той сизифовой работе, которую каждая школа каждый день начинает сначала; и я знаю трудности учителя, стоящего перед классом, — трудности, которые нередко превосходят возможности человека...

Я, разумеется, не знаю выхода из того трагического тупика, в который мы зашли. И если на пороге ката-

строфы еще можно что-то изменить, то сделает это не поколение, предшествовавшее нашему, и не мое поколение — им слишком злоупотребляли ради преступлений и глупости, но, быть может, поколение таких, как Руль, потому что оно несет в себе новые качества, добродетели — мне хочется употребить это старое хорошее слово, — добродетели, которых нам недостает или которые мы утратили и которые тем не менее символизируют наши последние, действительно живые и живительные силы: искренность, честность, открытость, готовность понять других.

Такие, как Руль, открыты, и честны, и прямолинейны, они не очень-то дают себя увлечь яркой упаковкой устаревших лозунгов; критическим взором они стараются проникнуть в суть вещей; они не погрязли настолько в рутине, чтобы заведомо предрешать исход каждого спора: у них нет еще предрассудков, которыми заражены все мы.

Мне кажется, поколение Руля сделано не из того материала, из которого делаются герои или святые. Но оно — и это ново и непривычно для немецкого народа — не очень-то пригодно для того, чтобы поставлять исправных исполнителей чужих приказов, проницателей тихой сапой, или служак, привыкших стоять навытяжку.

Я думаю, из этой породы людей могут вырасти честные, хорошие мастеровые жизни, если нам, педагогам, удастся преодолеть их пассивность, заполнить пустоту в них и поддерживать их недоверчивость.

Извините, что я на десять минут занял ваше внимание. То, что я хотел сказать — и не только сегодня, а и раньше, — невозможно было изложить короче. И я должен был сказать это, прежде чем уйду отсюда.

Возможно, вы спросите: ну, а где же, так сказать, позитивные начала? Не ищите ответа. Для меня едва ли не все ответы давно стали подозрительными. Правильно поставить вопросы — это уже большой шаг вперед. Так, как их поставил перед нами этот мальчик. Помните, пожалуйста, об этом.

Нелишне заявить, что мое предложение присовокупить к выпускному свидетельству Руля премию — награждать его книгой — было высказано вполне серьезно. Настолько же серьезно, насколько серьезна моя решимость со всей энергией противиться исключению Руля.

— Договорился! — сказал Нонненрот. — Псалом Давида, переживающего великое искушение.

— Хотел бы я иметь такого адвоката, как вы, коллега Грёневольд, тогда можно спокойно воровать серебряные ложки, — сказал Крюн.

Хюбенталь выколачивал свою погасшую трубку.

— Знаете, что это такое? Это педагогический мазохизм.

— Кто своевременно начнет лизать задницы своих учеников, тот имеет шансы выжить, — протявkal Нонненрот и захохотал так, что слезы выступили у него на глазах:

— Тогда поторопись, Вилли. А то место будет занято.

— Стало быть, и на педагогическом фронте бывает дезертирство, — сказал Випенкатен.

— Господа! — воскликнул Гнуц и опять постучал своим перстнем по столу. — Господа! В школе, руководство которой осуществляется на демократических началах, каждый имеет право высказать свое мнение, даже если оно не устраивает большинство членов коллегии или руководство школы. И потому я выслушал речь коллеги Грёневольда в защиту Рулля, не перебивая, что далось мне, впрочем, нелегко. Но теперь я хотел бы заявить со всей решительностью следующее: смотреть на вещи так, как вы, уважаемый коллега, означает ставить школу с ног на голову и объявлять анархию порядком! Со своими педагогическими пристрастиями можно ведь зайти и слишком далеко, дорогой коллега Грёневольд. Я убежден, что, если бы вы проработали здесь у нас лет десять, вы неизбежно уяснили бы себе, что этот дух товарищества между учителем и учениками, который в конечном итоге является целью всех наших устремлений, этот дух является, по существу, абсолютно нереальным и оторванным от жизни. Вы со своими коллаборационистскими идеями совершенно игнорируете то обстоятельство, что ученика, помимо всего прочего, нужно воспитывать, господин коллега Грёневольд! У нас здесь не высшее учебное заведение для одержимых и анархистов. Мы несем ответственность за то, чтобы эти юноши позднее смогли как настоящие мужчины включиться в жизнь и найти свое место в любой жизненной ситуации. Этому они должны научиться, к этому их надо готовить. Иначе мы воспитаем из них не полезных членов нашего общества, а пустых чурбанов и кляузников,

как этот Рулль! Вспомните слова Гельдерлина: «О знаменитости людей! С детьми они подлаживаются под детей, но дерево и ребенок ищут, что выше их». Ну, у вас иные планы на будущее, уважаемый коллега, и, может быть, этот педсовет нечто вроде прощания. Я, во всяком случае, был искренне рад вашему усердию и вашим тесным контактам с молодежью. У кого в нашей профессии нет этой страсти, господи, тому не поможет и опыт, хотя он и растет от года к году.

На этом мы кончаем обсуждение злополучного дела Рулля. Мы с вами, коллега Грёневольд, можем как-нибудь в ближайшие дни еще раз побеседовать об этом за кружкой пива, как мужчина с мужчиной. Если больше никто не хочет высказаться, приступим к голосованию. Ах да, коллега Криспенховен хотел еще что-то сказать.

— О господи, сделай, чтобы наступил вечер, пусть хоть с самого утра, — сказал Нонненрот.

— Господин директор, разве Рулль не будет достаточно наказан, если мы в аттестате поставим по поведению «достойно порицания» и напишем крепкое письмо родителям? Мы можем также обязать Рулля каждый день в послеобеденное время являться на два часа ко мне. Я готов с ним заняться.

— Господин Криспенховен, — сказал Випенкатен, — с вашей нежной терапией вы у этого поколения закоренелых преступников ничего не добьетесь. Вы не можете апеллировать к совести и чувству долга у тех, кто не имеет ни совести, ни чувства долга.

— А на наши выпускные свидетельства промышленность все равно плюет, — вмешался Матцольф.

— Это скандал, — сказал Гнуц. — Мы шесть-семь лет мучаемся с этими мальчишками, а что делают учебные мастерские: проверяют их пригодность, господи. И отнюдь не только в техническом или психологическом плане, нет: господи инженеры проверяют знания по немецкому и истории, по математике и...

— При этом сами они, так сказать, скороспелые специалисты!

— Это же полнейшая дискредитация школы, господи!

Гнуц опять повернулся к Криспенховену.

— Коллега, вы действительно хотите поставить свое предложение на голосование? — спросил он озабоченно.

— Да, я бы этого хотел, господин директор.

— Ну хорошо. Итак, имеются два предложения.

— Три.

— Ну, я полагаю, что коллега Грёневольд в душе давно отказался от своего предложения, которое представляет собой скорее просто благородный порыв...

— Нет, — сказал Грёневольд.

Гнуц опустил глаза.

— Кто еще хочет высказаться? Коллега Гodelунд.

Перед Гodelундом лежала записная книжка.

— Я до сих пор не участвовал в обсуждении, потому что веду в шестом «Б» только уроки евангелического вероисповедания. Но, может быть, именно потому я должен в последнюю минуту внести компромиссное предложение. Я согласен с классным руководителем, когда он вполне разумно говорит: Руль не бандит, хотя я, со своей стороны, отнюдь не склонен, как это делает коллега Грёневольд, видеть его в роли Дон-Кихота. Он не так прост, как кажется. И потому я поддерживаю — *sine ira et studio*<sup>1</sup> — точку зрения, что его следует строго наказать. Но, спрашиваю я себя, возможно ли это только путем исключения? Видите ли, мальчик хотел, продолжив образование, стать учителем...

— Что? — спросил Випенкатен.

— Я случайно узнал об этом: Руль хочет стать учителем.

— В это невозможно поверить!

— Где же? В Восточной зоне? — спросил доктор Немитц.

— Нет, в порядке помощи слаборазвитым странам, — в Конго, — сказал Нонненрот.

— Тогда не удивительно, что наша профессия, с социологической точки зрения, из года в год все больше деградирует.

— Ну, ему я бы не доверил своих детей, — сказал Хюбенталь.

— Как бы там ни было, — продолжал Гodelунд, — если мы сейчас исключим Руля из школы, он согласно правилам не сможет поступить в другую школу, то есть не сможет получить аттестата, и тем самым его планы относительно будущей профессии заведомо обречены на провал. Чтобы избежать такого сурового решения, я предлагаю избрать путь, связанный не с исключением,

---

<sup>1</sup> Без гнева и пристрастия (латин.).

а с переводом. Тогда нам не придется с ним больше мучиться, Руль покинет нашу школу, но он сможет в другой школе, хотя и ценой потери года, получить аттестат.

— Это компромиссное решение, к которому стоит прислушаться, — сказал Харрах.

Гнуц поднял брови и посмотрел на Випенкатена. Тот только покачал головой.

— Если здесь не желают соблюдать элементарных приличий, то я немедленно уйду из школы, пусть даже не дождавшись высшей ставки, — сказал он.

— Господин Грёневольд.

— Коллега Випенкатен только что упомянул слово «приличие». Поскольку все мои попытки вызвать сочувствие к мальчику и призывы разобраться в его и нашем положении не имели никакого результата, я прошу собрание уделить мне еще две-три минуты, — сказал Грёневольд, встал и открыл проигрыватель, который стоял возле него в шкафу для наглядных пособий.

— Свят, свят! — воскликнул Нонненрот, стоя в дверях. — Никак гроб сейчас отодвинут в сторону и танцы будут продолжаться?

Грёневольд вынул из ящика пластинку и поставил ее.

— Приличие, — сказал он, — из всех упомянутых здесь ценностей самая простая, самая естественная, необходимость которой все мы признаем со спокойной совестью, не так ли? Как сказал коллега Випенкатен: «Если здесь не желают соблюдать элементарных приличий». И всем сразу ясно, о чем речь. А Руль пошел наперекор этой основе основ нашей педагогики, и потому он должен быть наказан. Все совершенно ясно...

Грёневольд поднял мембрану.

— Но что такое, в сущности, господа, эта основа основ вашей педагогики? Эти ваши приличия? Ведь даже самое слово потеряло свое значение!

— Если вы не знаете, что такое приличие, — сказал Хюбенталь, — то вам не мешало бы этому научиться!

Грёневольд опустил звукосниматель.

Голос такой же, как их голоса, сказал:

— Выдержать это и — если не считать исключений, порожденных человеческой слабостью, — сохранить приличия, вот что нас закалило! Это не написанная еще славная страница нашей истории...

Грёневольд выключил проигрыватель и вернулся на свое место.

— Никак это глас самого господа бога в среде тернового куста? — сказал Нонненрот.

Грёневольд сел.

— Это была фраза из речи, с которой Генрих Гиммлер выступил перед палачами, когда они осуществляли «окончательное решение» еврейского вопроса, уничтожив шесть миллионов людей.

— Пять и восемь десятых, по последним данным, — уточнил Йоттгримм.

— Повторите это еще раз!

— Пять и восемь десятых.

— Хотели ли вы сказать еще что-нибудь, коллега Грёневольд? — спросил Гнуц.

— Нет, — сказал Грёневольд.

Гнуц поднялся.

— Господа коллеги, поскольку никто больше не хочет взять слова, приступим к голосованию. Предложение номер один исходит от меня и вам известно. Присутствуют ли все господа с решающим голосом?

— Да, кроме викария...

— Этот заупокойную мессу служит...

— Какое там, мальчишка-то евангелист, — сказал Матушат.

— Господин Нонненрот...

— Здесь! Мужчина и птица с победой летят! — рывкнул Нонненрот и подошел к умывальнику. — Посадка на воде.

— А господин Куддевёрде?

— Он же поручил вам проголосовать за него, господин Нонненрот?

— Так точно, к востоку от Эльбы это принято.

— Ну хорошо. Итак, приступим к голосованию: кто за мое предложение немедленно исключить из школы ученика Йохена Рулля, шестой класс «Б», за подстрекательство против учительского состава, подрыв моральных устоев среди учеников и клевету на нашу школу — точный текст приказа мы еще отработаем совместно с господином доктором Немитцем, — итак, кто за то, чтобы немедленно исключить из школы этого Рулля, прошу поднять руки! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! Девять. Я насчитал девять голосов, помогите мне, пожалуйста, проверить, точно ли это, господа! Верно, девять?



— А ваш собственный голос, господин директор? — спросил Грёневольд.

— Нет, я хотел бы воздержаться, уважаемый коллега, — сказал Гнуц. — Проверим еще раз: кто голосует против моего предложения? Один, два, три голоса! Кто воздержался? Один, два, три, четыре, пять! Господа, тем самым отпадают предложения Грёневольда, Криспенховена и Гodelунда. Дело Рулля окончено. Благодарю вас, господа, и желаю всем приятного времяпрепровождения. Всего хорошего!

— Скажите, господа, что это случилось сегодня с коллегой Грёневольдом? — спросил Гнуц в коридоре. — Должен признаться, что моя доброжелательность была подвергнута чрезмерному испытанию.

— Совсем зарвался, — сказал Хюбенталь.

Д-р Немитц ухмыльнулся.

— Я бы сказал скорее: показал свое подлинное лицо.

— Мне кажется, господа, что он в самом деле ожидал, что мы сядем с этим бандюгой за один стол и начнем симпозиум по вопросам педагогики.

— Господа, нам всего этого не понять, — сказал д-р Немитц. — Характеры этих эмигрантов, определившиеся во времена гетто, развиваются по своим собственным законам.

Гнуц рассмеялся от всего сердца.

— Ну, во всяком случае, я рад убедиться, что большинство в конце концов все-таки распознало, с кем ему по пути. И что здоровые чувства в итоге все же одержали победу.

Нонненрот наклонился вперед и понизил голос:

— Между нами говоря, у меня еще раньше мелькнула мысль, когда вы заговорили о педагогических пристрастиях, господин директор: уж не гомосексуалист ли наш Грёневольд? Я, конечно, не утверждаю, но всякий человек, вооруженный своими пятью чувствами...

— Вон он идет.

— С Виолатом и Криспенховеном.

— Второй триумфат после мартовских ид! — громко сказал Нонненрот.

Грёневольд на мгновение остановился.

— Я хотел бы поставить вас в известность, господин директор, — сказал он, — что я намерен обжаловать ваше решение.

— Решение педсовета есть решение педсовета, — сказал Хюбенталь.

— Это не просто... — сказал Випенкатен.

Гнуц усмехнулся.

— Что ж, как угодно, коллега, но только по служебной линии, попрошу вас.

— Разумеется. Всего хорошего.

— Нет, не отсутствие простейших знаний по психологии, даже не ужасающее отсутствие доброты приводит к таким вещам, Виолат, а глупость, подлая, но всеобъемлющая глупость, — сказал Грёневольд. — Вы знаете, врожденная глупость может быть благословенным свойством, особенно для обладателя, но глупость этих людей — это уже не свойство, это порок! Порок чванливых и ничтожных деспотов. И если в каждой школе сидит хотя бы один человек этого сорта, то глупость становится настоящим бедствием, угрожающим жизни человека.

— Что тут можно сделать? — сказал Виолат. — Так было испокон веков.

Стоял солнечный мартовский полдень, они шли вместе по Берлинерштрассе, и дети рисовали мелом «классы» на тротуарах.

— Тем больше причин сопротивляться этому, — сказал Грёневольд.

— Вы действительно собираетесь обжаловать решение педсовета? — спросил Криспенховен.

— Ну конечно!

— Увидите, каким пышным цветом расцветет бумажная волокита, — сказал Виолат. — Сразу чувствуется, что вы здесь недавно, Грёневольд. Безличный деспотизм бесчисленных ведомств подорвет и ваше гражданское мужество.

— Вы слышали, как Хюбенталь сказал: «Решение педсовета есть решение педсовета!» Его не отменит даже министр культуры. Мне, во всяком случае, еще не доводилось наблюдать, чтобы это случалось.

— Дорогой Криспенховен, во всем этом деле я обнаружил столько формальных ошибок, что меня меньше всего беспокоит вопрос о его возобновлении.

— А потом? — спросил Виолат. — Чего вы хотите добиться, Грёневольд? Можете вы таким путем изменить мир? А ведь именно в этом все дело.

— Нет, я не глупец, Виолат. Но я хочу попытаться. Добьюсь я этого или нет — уже другой вопрос, но попытаться я должен: защитить минимум справедливости, счастья, независимости, свободы для себя и тех немногих людей, которые мне доверены. Это нужно мне, Виолат, чтобы я мог жить как человек и сохранять хотя бы каплю достоинства. — Грёневольд отвернулся и сказал: — Пожалуйста, постарайтесь понять, почему это нужно именно мне — после всего, что произошло в моей жизни.

— Еще совсем недавно я считал вас человеком, который ко всему относится с иронией, — сказал Виолат и покачал головой.

— Эх, ирония, знаете ли, для нас просто заменитель толстокожести, которой другие обладают от природы.

— Если не возражаете, я сегодня вечером зайду к вам на часок, — сказал Криспенховен на перекрестке.

— Да, приходите, пожалуйста, — сказал Грёневольд и попрощался.

Бекман открыл в учительской все окна, расставил по местам стулья, сунул окурки в свою жестяную коробку и вытряхнул пепельницу.

Потом он взял под мышку чучело попугая, свистнул Микки, который бродил по коридору, и побрел наверх, в биологический кабинет.

Перед дверью 6-го «Б» он остановился и пробормотал:

— Нынче эти остолопы наверняка забыли покормить свою зоологию.

Он вошел в класс и остановился перед террариумом. Микки сел возле него на задние лапы и завилял хвостом. За грязным стеклом копошились хомяки, замирали на своих кривых задних ножках и неподвижным взором смотрели в одну точку. Глаза их поблескивали беспомощно и голодно.

Грёневольд чуть не споткнулся о чьи-то ноги.

Затемин сидел на лестнице у самой двери, ведущей с террасы в коридор, опершись локтями о колени, обтянутые джинсами, и сжав голову кулаками. Он вскочил только тогда, когда перед ним встал Грёневольд.

— У меня есть письмо для вас, — пробормотал он. — А его я уже не застал.

— Кого не застал? — спросил Грёневольд и открыл ключом дверь своей квартиры.

Затемин ничего не ответил и вошел за ним следом.

— Садись, пожалуйста!

Грёневольд разорвал конверт, прочел, перевернул записку, прочел еще раз.

— Нет! — сказал он. — Нет!

И потом:

— Этого не может быть!

Затемин стал перед книжными полками, повернувшись к нему спиной.

— Ты знаешь, что он написал?

— Нет, но догадываюсь.

Грёневольд сел на зеленую табуретку возле письменного стола. Бросив конверт на лист промокательной бумаги, расстеленной на столе, он увидел, что перед ним лежит виза.

Он еще раз прочитал письмо Рулля, на сей раз вслух:

— «В Польше! Мне кажется, именно там немец должен прежде всего загладить свою вину».

Есть учреждения, в которые можно обратиться, — сказал Грёневольд. — В Берлине есть польская военная миссия. Я сегодня же узнаю адрес. Ему только восемнадцать. Существует негласный обмен.

Грёневольд взял записку и принялся расхаживать по комнате.

— Ты с ним успел поговорить? — спросил он Затемина.

— Нет, он исчез. У нас, то есть у его друзей, всегда был ключ от его комнаты. Было совсем неплохо. Хоть часок чувствовали себя как дома. Даже если его не было. Так вот, когда я пришел из школы, он еще не вернулся. Я двинул домой и самое большее через четверть часа пришел снова, но его уже и след простыл.

— Господи, но почему же он не пришел сюда?

— Вы бы его удержали? — спросил Затемин.

— Ну конечно, я бы его удержал!

Грёневольд взмахнул кулаком.

— Он это знал, — пробормотал Затемин. — Потому-то он больше и не зашел к вам.

Грёневольд еще раз прочитал открытку.

— Ты понимаешь что-нибудь? — спросил он. —

На обратной стороне написано: «Историю про агента я сам сочинил! Я хотел во что-то верить».

Затемин вздрогнул и уставился на Грёневольда.

— Эту открытку я ему положил на стол, — выдавил он. — Чтобы он знал.

Затемин опустился в кресло, сунул руки в карманы и поднял плечи.

— Они же его не пропустят, — сказал он. — И вообще он там не сможет жить. Такому человеку, как Руль, там будет тяжело, вы понимаете?

Грёневольд подошел к столу, отпер ящик, взял оба конверта и аккуратно сунул их в потрепанную папку.

Затемин вдруг вскочил с места.

— Но где вообще можно жить? — закричал он. — Где еще есть смысл быть молодым? И надеяться, что когда-нибудь будут, действительно будут свобода, мир, справедливость?

Грёневольд запер ящик.

— Скажите же что-нибудь, господин Грёневольд!

— Здесь.

— Здесь? — Затемин гневно посмотрел на него. — Почему?

— Потому что здесь, может быть, еще имеет смысл возмущаться! Несправедливостью, ложью, насилием. И добиваться справедливости, правды, свободы.

Затемин подошел к окну, отодвинул занавеску и прислонился головой к стеклу.

— Он вернется, — пробормотал он. — Руль вернется. Я уверен.

— Да, — сказал Грёневольд. — Мы будем его ждать.

